АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС

ПУТЕШЕСТВИЕ В РЕВОЛЮЦИЮ

Albert Rhys Williams

ТЕБЕ В ДОРОГУ, РОМАНТИК

АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС

ПУТЕШЕСТВИЕ В РЕВОЛЮЦИЮ

Перевод с английского

Второе издание

МОСКВА, «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», 1977

Научное редактироваиие и примечания
кандидата исторических иаук П. С. Петрова

Перевод с английского
С. Г. Литвиновой

Вильямс А. Р.
В46 Путешествие в революцию. Пер. с англ. 2-е изд. М., «Молодая гвардия», 1977.

320 с. с фотогр. (Тебе в дорогу, романтик).

Известный американский публицист А. Р. Вильямс рассказывает об исторических событиях Октябрьской революции, очевидцем и участником которых он был.
Выход настоящего издания приурочен к 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Предисловие Бориса Полевого.

В $\frac{70304-130}{078(02)-77}$—228—77 9(С)21

Борис Полевой

Несколько слов об этой книге и ее авторе *

Альберт Рис Вильямс в 1917 году — это молодой перспективный журналист, еще юношей увлекавшийся социалистическим учением. Узнав о крушении царизма в России, с корреспондентским билетом очень респектабельной газеты он пересекает океан и вместе со своим коллегой Джоном Ридом становится свидетелем и участником великой пролетарской революции. А потом, вернувшись домой, он сделался певцом и глашатаем ее идей. Он был среди самых первых людей западного мира, кто познал правду Октябрьской революции и сумел страстно написать о ее движущих силах, о ее героях и о ее великом вожде.

Став свидетелем русской революции, Вильямс в своих корреспонденциях живо и правдиво откликался на все, что видел, слышал, что все больше и больше заинтересовывало и привлекало его самого. Октябрьской революции он посвятил сначала одну книгу, а потом написал вторую — «Ленин — человек и его дело», книгу о великом вожде величайшей из революций. Обе книги — это не просто репортажи с места событий, это бесценные исторические материалы, это глубокие размышления о социалистической революции и ее вожде. Потом, вернувшись на родину, он в течение ряда лет разъезжает по городам Соединенных Штатов, рассказывая уже с трибуны правду о молодой Советской России, участвует в диспутах, отвечает устно и письменно на множество вопросов. Десятки городов, сотни прочитанных лекций. Огромный подвиг, какой, казалось бы, не под силу совершить одному человеку!

Я познакомился с Альбертом Рисом Вильямсом уже на склоне его лет, в последний приезд его в страну, которую он так любил. Огромный, могучего сложения человек этот был уже надломлен тяжелой болезнью. Но память он сохранил острую, глаза его остались живыми и зоркими. И когда разговор возвращался к дням Октября, когда он говорил о Ленине, все лицо его как бы светилось. И молодо, почти по-юношески звучал его раскатистый бас.

— Мы с моим другом Ридом, разумеется, не знали в те дни, куда мчит нас поезд русской революции по не ведомому еще никому из людей пути. Но мы жадно следили за всем, что открывалось перед нашими глазами. Следили, записывали, запоминали, — рассказывал он.

Все, что увидел, услышал, узнал, честно, без всяких прикрас описал Альберт Рис Вильямс в своей главной книге, которую вы, читатель, держите сейчас в руках. Автор мог бы с полным правом сказать стихами Маяковского:

...Мы
диалектику
учили не по Гегелю.
Бряцанием боев она врывалась в стих.

Именно зоркость журналистского глаза, чуткость уха, честность большого сердца навеки сроднили корреспондента респектабельной буржуазной газеты с большевиками, которых его менее зоркие и менее объективные западные коллеги рисовали в те дни в виде зверей в человеческом образе.

И Вильямс не был летописцем. *Он был участником событий.* Недаром Владимир Ильич Ленин особо выделял Вильямса среди его коллег. Однажды, в январе 1918 года, Владимир Ильич выступал в Петрограде, в Михайловском манеже, перед солдатами, отправлявшимися на фронт. Вильямс стоял возле с блокнотом. Подвойский, который вел митинг, подошел к нему и передал просьбу Ленина сказать солдатам несколько слов. Просьба Ленина? Выступить после Ленина? Вильямс до конца жизни помнил, как взволновало его это предложение. Он рассказывал, что стоял и мучительно составлял русские фразы из небогатого набора слов, которые знал. После того как стихла бурная овация, которой солдаты проводили Ленина с трибуны, Подвойский объявил:

— А теперь перед вами выступит американский товарищ.

Толпа настороженно стихла. Вильямс явно колебался. Ленин заметил это, угадал его состояние и, по-дружески пожав ему руку выше локтя, сказал:

— Можете говорить по-английски, я вас буду переводить.

— Нет, я буду говорить по-русски, — ответил Вильямс.

Он действительно начал говорить по-русски, и, когда при этом спотыкался на том или ином слове, Ленин заботливо подсказывал ему эти убегавшие из памяти слова.

— Ну, вот видите, вы умеете говорить, масса вас поняла.

Потом, когда они шли вместе, Владимир Ильич предложил:

— А может быть, вы могли бы поискать каких-нибудь хороших

иностранцев, кто хотел бы помочь нам? Революционный иностранный отряд. Это было бы крайне важно.

24 февраля 1918 года «Правда» напечатала по-русски и по-английски призыв Вильямса к иностранцам, жившим в те дни в России, вступать в интернациональный отряд, чтобы защищать молодую республику от контрреволюции.

Таким вот и был автор этой книги Альберт Рис Вильямс. Одна из его книг в первом издании хранится сейчас в Кремле на полке ленинского кабинета, где Владимир Ильич берег нужные или чем-нибудь дорогие ему книги.

«Путешествие в революцию» — это книга о рождении первого в мире социалистического государства, книга, которую с особым интересом прочтут в год шестидесятилетия нашей страны дети и внуки тех, кто штурмовал Зимний дворец и сражался за Советскую власть на необъятных просторах России.

Предисловие к первому русскому изданию

Почти 60 лет прошло с тех пор, как Альберт Рис Вильямс, вернувшись на родину после первой поездки в Советскую Россию, из конца в конец пересек Америку, рассказывая правду о русской революции и горячо выступая против американской интервенции в России. За эти годы по-разному складывались отношения между нашими странами.

Помню, как однажды, подняв голову от письменного стола, Альберт с грустной улыбкой сказал: «То, что я сейчас пишу, прочтут через сто лет». Он никогда не падал духом: подобно русским, он умел смотреть далеко вперед. Я глубоко верила в дело, которое он считал главным в своей жизни, — в дело улучшения взаимопонимания между нашими двумя народами — и поэтому тоже не падала духом. Но сто лет все же казались мне слишком долгим сроком.

У Альберта был своеобразный метод работы. Он иногда записывал до десяти вариантов одного и того же абзаца, одной и той же мысли, и мне редко удавалось уговорить его просмотреть прежние записи, да и то лишь тогда, когда у него не хватало времени писать заново.

Этот метод ему подсказал его друг Линкольн Стеффенс, который охотно помогал молодым писателям, в том числе Джону Риду. Однажды в гостях у Стеффенса Альберт с любопытством слушал, как тот несколько раз рассказывал одну и ту же историю в кругу восторженных поклонников. Каждой новой группе гостей Стеффенс повторял эту историю по-новому. Когда же Альберт выразил по этому поводу недоумение, Стеффенс сказал: «Видишь ли, у каждого рассказа есть только одна правильная версия, но, прежде чем до нее доберешься, приходится много раз повторять рассказ. Когда по реакции слушателей ты увидишь, что нашел наконец правильную версию рассказа, тогда и записывай его на бумагу».

Это произвело такое снльное впечатление на Альберта — тоже талантливого рассказчика, — что он незаметно для себя приобрел привычку записывать несколько вариантов одного н того же предложения, давать несколько равнозначных эпитетов к одному слову. Когда мы готовили окончательный текст, то оставляли только один варнант, который, с нашей точкн зреиия; лучше других передавал то, что Альберт хотел высказать.

Весной 1922 года Альберт снова приехал в Россию. Я попала туда в декабре того же года и работала над фильмом о России по заданию организации квакеров. В январе 1923 года мы поженились в Москве и оставались в России до декабря 1927 года. В 1929 году в Сан-Фраициско роднлся наш сын Рис, а в следующем, в 1930 году, в самый разгар первой пятилетки, Альберт в третий раз поехал в Советский Союз.

Он снова встретился с Н. К. Крупской, которая помогла ему опубликовать в издательстве «Молодая гвардия» его книгу о Ленине. В тот приезд он отправился в длительное путешествие по Владимирской области и взял с собой трех американских сенаторов.

В 1937—1938 годах Альберт снова в России. Он ездил в Хвалынск — был в доме, в котором мы в 20-е годы жили на Волге, встречался с нашим другом Енукидзе н другими товарищамн. Потом поехал в Испанию, слал оттуда корреспоиденции, призывая Америку прекратить блокаду, от которой выигрывали только мятежники, и чуть было не погиб в Барселоне во время бомбежки.

Известие о неожиданном вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз застало нас на острове Ванкувер, где мы жили в маленьком домике.

Сюда и пришла телеграмма от представителя ТАСС в Нью-Йорке с просьбой сделать заявление для советской прессы. С телеграммой в руке Альберт взволнованно зашагал взад н вперед по дорожке, ведущей к дому, вслух составляя ответ. Я услышала его звучный валлийский голос и вышла к иему с караидашом и бумагой, чтобы записать то, что он говорил. Так мы и ходили вдвоем под огромными канадскими елями. В статье Альберт выразил не только свою любовь к русскому народу, ио и гордость за его стойкость и героизм, которые были ему хорошо известны, свою глубочайшую веру в Красную Армию и в идеалы, за которые она сражалась, и, главное, он выразил твердую уверенность в полиой победе советского народа над фашистами.

Вскоре Альберт отправился в лекционное турне по Канаде и США, н, так же как в 1918—1919 годах, он рассказывал своему народу правду о Советском Союзе.

После Пёрл-Харбора *, когда американцы окончательно стали союзниками русских во второй мировой войне, он писал статьи о Советском Союзе, выступал по радио.

Теперь он был всюду признанным авторитетом по России, интерес к его лекциям чрезвычайно возрос. Он собирал огромные аудитории, и все сборы шли в фонд организации «Помощь России в войне». Вернувшись в Нью-Йорк, он спешно подготовил к переизданию свою книгу «Советы», переработав и дополнив ее современными материалами. Книга вышла в 1943 году под названием «Русские: страна, народ и за что он сражается». По этой книге, которая широко использовалась в войсковых библиотеках действующей армии, американские солдаты составляли представление о советском народе. Друзья Альберта рассказывали, что видели эту книгу на столе у президента Рузвельта.

Вспоминаю, как однажды, много лет тому назад, Альберт сказал мне: «Надо отдать справедливость американцам: они с сочувствием и дружелюбием откликаются на каждое слово правды о русском народе, которое проникает к ним сквозь завесу лживой пропаганды».

Однако к концу второй мировой войны дымовая завеса вновь опустилась на нашу страну. Силы реакции начали новую антисоветскую кампанию, отравляя умы подозрением, извращая факты и не гнушаясь открытой клеветой. Тесное сотрудничество с русскими союзниками в общей борьбе против Гитлера сменилось «холодной войной», которая грозовой тучей повисла над нашими странами. Альберт одним из первых попал в «черные списки», и мы решили вернуться в Канаду, на остров Ванкувер, где работали и жили как простые крестьяне. Мы потеряли контакт даже с нашими советскими друзьями. Казалось, что все забыли имя Альберта Риса Вильямса. Однако он все время твердил: «Мы должны искать и найти способ перекинуть мост через пропасть, разделяющую наши страны».

Наконец в 1951 году мы поселились в местечке Оссайнинг около Нью-Йорка. Здесь Альберт мог, отрываясь иногда от работы, гулять в великолепном лесу. В остальном мы оставались в такой же изоляции, как и в Канаде. Недавно мне попалась написанная от руки записка, помеченная 1956 годом. Под словами «Для себя» было написано: «Как трудно быть писателем — другом Советского Союза, если приходится работать в капиталистической стране. Препятствия: нет никакой уверенности, только туманная надежда увидеть написанное опубликованным. Всегда против течения — всегда борьба».

---

* Имеется в виду нападение 7 декабря 1941 г. японской авиации на американскую военно-морскую базу в Пёрл-Харборе на Гавайских островах.

Эта записка написана в то время, когда лейкемия начала уже подтачивать силы Альберта.

Через год, когда над миром пронеслась весть о запуске первого советского спутника, Альберт был настолько счастлив, что ни о чем другом не мог говорить. «Пошлем русскому народу наши поздравления!» — одновременно подумали мы. Полный идей, Альберт тут же сел за стол и написал статью. К тому времени он старался по возможности не ездить в город. Поэтому вместо него со статьей поехала я. Правила рукопись я уже в поезде. В Нью-Йорке мне посчастливилось встретить редактора газеты «Труд», который на следующий день улетел в Москву. Он никогда обо мне не слыхал, однако согласился передать статью в «Правду» или «Известия». Очень скоро мы получили номер газеты «Труд», где была напечатана эта статья. Из Советского Союза к нам в Оссайниинг начали приходить телеграммы, письма и всякого рода послания. Это вызвало у Альберта такой душевный подъем и интерес к жизни, что его здоровье значительно улучшилось. Он словно помолодел, и к нему вернулись прежний оптимизм и чувство юмора.

В 1959 году мы снова были в Москве, на этот раз как гости Союза писателей. На аэродроме в Москве нас ожидал приятный сюрприз — делегация Союза писателей с цветами и объятиями. Потом нас повезли по новому красивому шоссе в гостиницу «Пекин». В кремлевской больнице Альберта лечили лучшие врачи, и он был убежден, что они продлили ему жизнь по крайней мере на два года.

Альберт был счастлив встретиться со старыми друзьями и приобрести новых. Особый интерес вызывали у него люди того поколения, к которому обращался Ленин в своих речах во время революции и которое с честью и геройством выдержало неслыханные испытания войны против фашизма. Он получал много писем от пионеров и комсомольцев, от учащихся разных возрастов и в них находил свидетельства того, что и самое молодое поколение страны так же предано идеалам социализма.

Близкое знакомство с русской молодежью внушило ему чувство уверенности в светлом будущем советского народа. «Я обнаружил, что и для меня есть место в сердцах и умах молодежи, — писал он. — Ко мне будто вернулась моя собственная молодость».

По приезде домой Альберт сосредоточил все свои силы на том, чтобы дописать воспоминания о Ленине и о своих товарищах по Октябрю, которых он любил называть «русскими американцами»*.

---

* «Русские американцы» — русские революционеры, которые находились в эмиграции в Америке, а после Февральской революции вернулись на родину.

До самого конца своей жизни Альберт оставался верным идеям Октября.

В этом он не менялся ни под давлением обстоятельств, ни под влиянием мировых событий, его не поколебали ни измены, ни разочарования некоторых, ставшие теперь достоянием истории. В его книгах всегда подчеркивались положительные, конструктивные тенденции, в которых заложены семена будущего.

Всю жизнь он честно и преданно служил делу укрепления взаимопонимания и сотрудничества между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Он неустанно боролся против войны, за установление прочного мира и вдохновлял на эту борьбу своих многочисленных читателей. Всем, кто с ним общался, он щедро отдавал часть своей силы, богатства души и своего таланта. Альберт Рис Вильямс был прав, считая, что его слово рано или поздно дойдет до людей. Доказательством тому — публикация этой книги *.

Люсита Вильямс

---

* Главы из книги были опубликованы в журнале «Иностранная литература» № 5 за 1967 г. и № 4 за 1968 г.

С разрешения Люситы Вильямс (вдовы писателя) книга публикуется в сокращении по рукописи, отредактированной и подготовленной ею к печати.

МЫ С ДЖОНОМ РИДОМ ДЕЛАЕМ ВЫБОР

Вспоминая тот золотой сентябрь 1917 года в Петрограде, я очень хорошо себе представляю, что рядом с такими известными знатоками России, как, например, Сэм Харпер *, мы с Ридом ** в глазах большинства членов американской колонии выглядели дерзкими, самоуверенными юнцами. Более того, я уверен, что мы такими и были на самом деле.

У нас были совершенно определенные и решительные суждения по вопросам, ставившим в тупик других американцев, и их, естественно, не могла не раздражать та уверенность, с которой мы противопоставляли свое мнение их мнениям и оценкам.

То, что приводило их в бешенство, — в частности, завоевание большевиками большинства в Петроградском Совете — воспринималось нами как совершенно логичное и правильное развитие событий. То, что вызывало у них тревогу, например неслыханный рост большевистской партии, которая еще совсем недавно, после июльских репрессий ***, казалось, была надол-

* Самуэль Н. Харпер — сын президента Чикагского университета Уильяма Рейни Харпера — по настоянию отца много ездил по царской Росснн, изучал ее и стал профессором русского языка в этом университете. Он, очевидно, был наиболее влиятельным советником по России в государственном департаменте в период правления В. Вильсона. Приезжал в 1917 году в Россию с послом Дэвидом Р. Френсисом, чтобы консультировать его и специальную миссию Э. Рута, имевшую целью не допустить победы пролетарской революции и сделать все для удержания русской армии на фронте.

** Джон Рид (1887—1920) — деятель американского рабочего движения, писатель, публицист. В качестве военного корреспондента в августе 1917 года приехал в Россию, где сблизился с большевиками; горячо приветствовал Октябрьскую революцию. Неоднократно встречался с В. И. Лениным. В 1919 году Рид — один из организаторов Коммунистической рабочей партии Америки. Умер от тифа и похоронен на Красной площади у кремлевской стены. О великих событиях Октября 1917 года Джон Рид рассказал в своей книге «10 дней, которые потрясли мир».

*** Имеются в виду расправы иад участниками демонстраций в июле 1917 года. Демонстрации были иачаты 1-м пулеметным полком 3 июля. К нему примкнули в тот вечер другие части Петроградского гарнизона. На следующий день тысячи рабочих также вышли на

го выведена из строя, доставляло нам искреннюю радость.

Ленин все еще находился в подполье, когда Рид после долгого и сложного путешествия прибыл наконец в Петроград поездом из Стокгольма. Мы встретились через несколько дней после его приезда, где-то в первых числах сентября, и встреча была теплой и радостной *.

Впервые я познакомился с Ридом в 1912 году во время стачки в городе Лоуренсе, штат Массачусетс, потом мы встретились в 1915 году в Бостоне, где Рид выступал на митинге в Тремонт Темпле; позже мы время от времени встречались в разных домах в нью-йоркском Гринич Виллидже. Приезд Рида был для меня поистине счастливым событием. Я уже начинал чувствовать отчуждение от большинства иностранных корреспондентов (исключение составляли лишь Артур Рансом и позднее М. Ф. Прайс **) и в особенности от основ-

---

улицы. Основной причиной выступлений, очевидно, явился приказ о широком наступлении в Галиции, несмотря на провал наступления 18 июня. После обсуждения сложившегося положения большевики — им не удалось удержать массы от выступления, которое Ленин считал преждевременным, — решили возглавить демонстрации, чтобы придать им организованный и целенаправленный характер. Но избежать нападения контрреволюции нельзя было. Она развернула кровопролитную борьбу, установила реакционный режим, в результате чего большевистская партия фактически была запрещена, были изданы приказы об аресте ее руководителей.

* Здесь необходимо объяснить некоторые затруднения, связанные с употреблением разных календарей. В книге я буду указывать даты событий в России, как их употребляли в этой стране, то есть буду пользоваться юлианским календарем до февраля 1918 года и грегорианским после 1 февраля (14 февраля) в соответствии с западным календарем, принятым в январе. Для событий вне России я буду использовать западный календарь. В отношении тех событий, которые часто употребляются по обоим календарям, как, например, 25 октября (7 ноября), буду пользоваться двумя датами. *(Примечание автора.)*

** А. Рансом и М. Ф. Прайс — английские либеральные журналисты — представляли в России буржуазные газеты «Дейли ньюс» и «Манчестер гардиан», непредубежденно относились к Октябрьской революции. Рансом в 1918—1919 годах несколько раз встречался с В. И. Лениным. Свои впечатления от встреч с Лениным и от поездки в Советскую Россию опубликовал в книге «Россия в 1919 году» (в некоторых странах она вышла под названием «Шесть недель в Советской России»), ряде очерков и корреспонденций. Прайс написал книгу воспоминаний о русской революции, вступил в Коммунистическую партию Великобритании, но затем вышел из нее и стал членом лейбористской партии. Приезжал еще несколько раз в нашу страну и также написал об этом книгу.

ной массы сотрудников американского посольства. Я только что познакомился с главой американского Красного Креста Бойсом Томпсоном, но еще ни разу не видел его нового заместителя Раймонда Робинса, о котором ходило столько слухов и легенд. У меня было много друзей среди русских революционеров, вернувшихся из эмиграции после Февральской революции, в основном это были люди, прожившие какое-то время в Америке или в Англии, поэтому я мог общаться с ними на английском языке, но у них теперь оставалось мало времени для меня. Я был рад приезду Рида не только потому, что видел в нем родственную душу, но и потому, что он был более опытным журналистом.

Как истинный репортер Рид сразу же набросился на меня с расспросами — по сравнению с ним я был здесь почти старожилом — и постепенно вытянул из меня все, что я знал, видел и слышал, и даже, по-моему, больше, чем я сам подозревал. Я пробыл в России всего лишь три месяца, но за это время уже успело слететь правительство князя Львова и вот-вот должно было пасть правительство Керенского.

Вопросам Рида не было конца. Что думает Ленин?.. Как бы попасть на собрание рабочих Выборгской стороны? Нельзя ли съездить на фронт, прежде чем он совсем развалится? Джон хотел поскорее окунуться в происходящие события и страшно досадовал, что всего на несколько дней опоздал к мятежу генерала Корнилова. (Меня в то время тоже не было в Петрограде: в июле я ездил во Владимирскую область, а в августе — на Украину; мне хотелось узнать о настроениях в деревне.)

Помню, вернувшись однажды из посольства, где ему доказывали, что неудача генерала Корнилова, двинувшего на Петроград отборное казачье войско, так называемую «дикую дивизию», означает растущую силу Временного правительства, Рид спросил меня, похоже ли это на правду. Я ответил, что все это чепуха. Мятеж был прекращен без боя, почти без единого выстрела, и причина тому решимость красногвардейцев и широких масс народа, откликнувшихся на призыв большевиков отстоять революцию.

А почему Керенский обратился за помощью к большевикам? Да только потому, что нуждался в их силе. Рид скоро сам увидит эту силу, обещал я. Рабочие

объединены в красногвардейские отряды, и на каждом заводе имеется запас оружия. Кроме того, с каждым днем растет их дружба с солдатами петроградского гарнизона. Все надежды рабочих, если они только остались после шести месяцев предательств коалиционных правительств, обращены сейчас к большевикам. Теперешнее Временное правительство, хотя в него и входят умеренные социалисты — меньшевики и эсеры, — остается буржуазным. Несколько дней тому назад кадеты сделали тактический маневр, подав неожиданно в отставку. Авторитет этого правительства никогда еще не падал так низко. И вовсе не любовь к Керенскому вызвала такой быстрый и горячий отклик рабочих на призыв большевиков сплотить все силы для борьбы против Корнилова. Просто рабочие не хотели отдавать завоевания своей революции «человеку на лошади», как окрестили здесь Корнилова. Что же касается Керенского, то придет и его черед. Мне говорили, что Ленин в тот момент определил задачу большевиков следующим образом: не поддерживать Керенского, но пока и не нападать на него, так как главное — это защита Петрограда и революции. Поэтому, что бы ему, Риду, ни говорили в посольстве, провал мятежа Корнилова не помог Керенскому. Он лишь подчеркнул растущую силу большевиков.

Однако в американском, английском и французском посольствах на это смотрят иначе.

Говорят, Томпсон вложил свой личный миллион долларов в одно финансовое предприятие, имеющее целью убедить русских крестьян, что Керенский их человек. Подбил его на это дело Робинс, который не видел тут никакого обмана. Он искренне верил, что уговорит Керенского начать раздачу земли и тем самым удержать Россию в войне. Томпсон и Робинс рассчитывали, что будут получать от американского правительства по три миллиона долларов в месяц, а пока, чтобы не терять времени, Томпсон запросил телеграфом из банка Дж. Пьюпонта Моргана миллион долларов со своего личного счета.

— Выходит, что даже миллион медного магната не может помешать большевикам прийти к власти, — рассмеялся Рид, и глаза его загорелись. Я видел, что вся эта фантастическая ситуация импонирует его чувству юмора. — Нет, серьезно, чем же они надеются загипно-

тизировать крестьян? И что вообще они могут здесь сделать?

Я поделился тем немногим, что знал. Все миссии и комиссии, официальные и полуофициальные, которые сюда приезжают, имеют определенную политическую цель: удержать Россию в войне. И миссия Красного Креста не составляет исключения. Робинса тревожит усиление голода. Он видит спасение в крестьянской кооперации. Керенский — эсер, а Робинсу известно, что партия эсеров — это крестьянская партия и ее программа призывает к распределению земли. Через неделю после своего прибытия — это было в августе — Робинс попал в руки госпожи Брешковской * — «бабушки русской революции», как ее здесь называли. Ветеран эсеровской партии, член ее первых террористических групп, она много лет провела в царских застенках и в ссылке. Робинс все это знал, поэтому ее фигура представлялась ему в несколько романтическом ореоле. Он не знал только, что вместе с этим ореолом прошлого она безнадежно отстала от революции и не понимала, чего хотят сейчас крестьяне, ради которых она шла когда-то в тюрьму и в Сибирь. Для Робинса было вполне логичным предполагать, что правительство, поддерживаемое эсерами и меньшевиками, не ограничится призывами ждать Учредительного собрания и законодательства, по которому крестьяне смогут получить землю на законном основании, а начнет наконец что-то делать для крестьян.

Брешковская убедила Робинса, что для распределения продовольствия, получаемого через американский Красный Крест, необходимо создать женский комитет из рекомендованных ею лиц. Робинс счел это блестящей идеей. Комитет Брешковской стал политическим и разведывательным звеном, с помощью которого миллион Томпсона должен превратиться в газеты, информационные бюро со штатными выездными агитаторами и прочие пропагандистские органы, выступающие в поддержку Керенского и за продолжение войны под лозунгом защиты отечества. Робинс надеялся, что пред-

---

* Е. К. Брешко-Брешковская (1844—1934) — одна из организаторов и руководителей партии эсеров, занимала крайне правые позиции. В 1919 г. уехала в США, затем жила во Франции, вела враждебную кампанию против Советской России.

стоящее Демократическое совещание укрепит позиции Керенского.

— Хорошо уж и то, что Робинс не за Корнилова, которого так обожает наш посол, — закончил я свой рассказ.

— Ну а у кого же все-таки штыки? — спросил Рид. — На чьей стороне армия?

— Этого я и сам толком не знаю, но убежден, что, во всяком случае, не у Керенского. Рабочие, то есть Красная гвардия, имеют свое оружие. Конечно, сразу же после подавления корниловского мятежа Керенский издал приказ о разоружении рабочей милиции. Но не тут-то было!

В те первые дни после приезда Рида, когда мы решили объединить свои силы, мы почти повсюду ходили вместе, от Городской думы в Смольный, где в лабиринтах коридоров, классных комнат и дортуаров бывшего Института благородных девиц большевики обосновали свой штаб, оттуда по вечерам на Выборгскую сторону и во множество других мест. Иногда к нам присоединялись Луиза Брайант и Бесси Битти *. Рид представлял радикальный журнал «Мэссиз» и нью-йоркскую газету «Колл». Я был корреспондентом газеты «Нью-Йорк пост». Луиза Брайант писала для различных женских журналов, выступая везде под своей девичьей фамилией: в те дни ни одна уважающая себя радикалка не носила фамилию мужа. Бесси Битти представляла «Сан-Франциско бюллетин».

Повсюду чувствовалась напряженная атмосфера. Рядом с беспокойным, ненасытным в поисках истины Ридом напряжение усиливалось во сто крат. Были, правда, редкие моменты, когда мы ненадолго забывали о живом дыхании творимой вокруг нас истории и погружались в прошлое. Когда мы проходили мимо того места, где был убит Александр II, или пересекали Дворцовую площадь, где в день Кровавого воскресенья, 9 января 1905 года, была расстреляна мирная демонстрация, пришедшая подать петицию своему «батюшке-царю» Николаю II, когда мы вспоминали, сколько ис-

* Луиза Брайаит (жеиа Джоиа Рида) и Бесси Битти — американские журиалистки — иаходились в России в революциоииые дни 1917 года. Брайаит — автор кииги «Шесть красиых месяцев в России», а Битти — автор кииги «Красиое сердце России» и статей об Октябрьской революции.

торических драм было разыграно на улицах этого величественного города, который волею Петра поднялся из болот на костях крепостных крестьян, нам невольно приходила в голову мысль, что, пожалуй, во всем мире трудно найти более подходящее место для свершения пролетарской революции! И наши думы, естественно, обращались к человеку, который скрывался где-то в подполье недалеко от Петрограда и имя которого будет потом носить этот город. Я рассказал Риду о том, как потрясла меня демонстрация 18 июня и какое смятение вызвали во мне июльские события, в которых я сразу не смог разобраться; о том, как большевики стремились предотвратить июльскую демонстрацию, но, видя, что это им не удается, попытались хотя бы направить ее, и о кровавых расправах, которые последовали за этим стихийным народным взрывом. Временное правительство, тогда еще возглавляемое князем Львовым, отдало приказ об аресте большевиков. Был арестован Каменев. Ленин поначалу хотел было сам отдать себя в руки властей, но товарищи отговорили его от этого шага, и он вместе с Зиновьевым скрылся от ареста, а потом в костюме рабочего, в гриме и парике переехал границу Финляндии. Между тем в Петрограде начались массовые аресты. Были арестованы Луначарский, Троцкий и неустрашимая Александра Коллонтай. Прошло всего два месяца с тех пор, как Ленина обвинили в государственной измене, в том, что он якобы получил золото от немецкого генерального штаба. А теперь, в сентябре, для рабочих не было более высокого имени: по мере того как таяли их иллюзии в отношении умеренных социалистов, росло их уважение к Ленину и большевикам.

Мы с Ридом часто обсуждали и анализировали ход революции, в особенности когда, переехав Литейный мост, попадали в мир рабочих окраин, в мир трущоб, перенаселенных бараков, дымящих заводских труб. Высунув голову из вагона трамвая, Рид внимательно разглядывал этот городской пейзаж и, втягивая носом воздух, говорил:

— Вот тебе и «феодальная Россия»! По-моему, здесь больше пахнет Питтсбургом *. Послушать этих

* Питтсбург — один из центров металлургической промышленности в США.

меньшевиков и эсеров, так можно подумать, что капитализм еще даже не коснулся России! Ну как? Что ты на это скажешь?

Поистине странную картину являла тогда собой политическая сцена России!

Если сбросить со счетов немногочисленную партию монархистов и другие, почти прекратившие свое существование политические группы, то можно сказать, что все крупнейшие партии за исключением кадетов (их возглавлял умный, ненавистный народу Милюков, кабинет которого пал еще до моего приезда в Петроград) провозглашали себя сторонниками социализма того или иного вида. Все деятельно участвовали в подготовке рабочих Выборгской стороны — этого задымленного, трепещущего сердца революции — к происходящим в России переменам. Долгие годы самоотверженные и страстные пропагандисты, используя все легальные и нелегальные возможности, сеяли зерна социализма в эту благодатную почву. (Среди них была и жена Ленина — Крупская, которая снова стала преподавать в вечерней школе для рабочих Выборгской стороны.) Нищенские заработки, длинный рабочий день, убогие клетушки вместо жилья, шныряющие повсюду полицейские шпики и провокаторы, потогонная система труда и штрафы, наконец, неуклонно растущая ненависть к войне сделали все остальное.

Да, именно здесь, в отсталой России, на заводах и фабриках, принадлежавших русскому и иностранному капиталу, вызрели силы, сокрушившие царское самодержавие и Российскую империю.

Февральская революция, судя по всему, застала всех врасплох: ни одна партия не могла назвать ее своим детищем. Она разразилась стихийно. Женщины-домохозяйки, ежедневно простаивавшие долгие часы в очереди за хлебом, однажды утром вообще ничего не получили. Им сказали, что в городе кончились запасы муки; кое-где начали громить хлебные лавки. Домохозяек поддержали фабричные работницы, возникли стихийные демонстрации, к которым присоединились мужчины. Демонстрации становились все более массовыми и не прекращались ни на один день. Солдаты, которым было приказано открыть по толпе огонь, опускали винтовки, слыша призывы рабочих, и в особенности женщин, не стрелять в своих братьев и сестер.

Повсюду почти стихийно стали создаваться Советы — народная форма выборной власти, возникшая во время революции 1905 года, — Советы рабочих и солдатских депутатов в городе и Советы крестьянских депутатов в деревне. При старом режиме Государственная дума, городские думы и различные другие выборные органы, по существу, не имели никакой власти, да к тому же никак не представляли народные массы страны. В местных органах депутатами от крестьян неизменно были кулаки. Если царю не нравилась Дума, он ее просто распускал.

После Февральской революции, по выражению, приписываемому, как мне говорили, Ленину, власть лежала на улице. Но «умеренные» социалистические партии, среди которых партия эсеров была самой крупной, намного превосходившей по количеству членов в ней все остальные, отдала власть в руки буржуазии. Временное правительство ведь никем не избиралось и, по сути дела, существовало лишь с согласия Советов, возглавляемых социалистами.

В составе первого кабинета, где ведущие роли играли Милюков и Гучков, хотя формально премьером числился князь Львов, был только один социалист*. Однако последующие смены кабинетов практически ничего не изменили. Коалиционные правительства также считали необходимым продолжать войну во славу союзников, ради интересов русских помещиков и капиталистов. В кабинете Керенского было уже шесть социалистов. Интересы буржуазии защищало теперь почти столько же социалистов, сколько и кадетов!

Терпению народа пришел конец. Выборгская сторона, как и вся Россия, носила уже в своем чреве солдат новой революции.

— Так ты полагаешь, что дни Керенского сочтены? — спросил Рид во время одной из тех первых наших встреч.

— А что? У тебя есть какие-либо основания думать иначе?

— Да нет, я просто пытаюсь понять, что же все-таки произошло? Ведь еще весной большевики были совсем крошечной партией. Как они добились такого успеха?

---

* Имеется в виду Керенский — представитель партии эсеров (социалистов-революционеров).

— Похоже, что никто, кроме большевиков, по-настоящему не хочет власти. Так, по крайней мере, было на протяжении всего лета.

— Ерунда! — решительно отрезал Рид.

По натуре он был довольно добродушным человеком, в общении с людьми — любезным и вежливым, но иногда в нем вдруг проявлялся кельтский темперамент (хотя, насколько мне известно, его предки были англосаксами), зеленые глаза вспыхивали холодным светом, и он как бы отстранялся от собеседника. Приняв мои слова за неуместную шутку, он так же решительно продолжал:

— Корнилов хочет власти. Керенский хочет власти. Меньшевики и эсеры, судя по всему, тоже хотят власти, иначе они согласились бы на предложение Ленина о сотрудничестве *, а они, как известно, отвергли его.

Между тем я говорил вполне серьезно. Корнилов, да, тот действительно рвется к власти. Он хочет стать «генералом на лошади» и во главе своей армии торжественно войти в покоренный город. Но, как сказал Робинс, у этого генерала не оказалось даже лошади: железнодорожники разобрали пути, и он не смог выехать из своей ставки в Могилеве, а его казаки были остановлены у ворот города не оружием, а словом. Что же касается Керенского и соглашателей — меньшевиков и эсеров, — они не хотят власти, так как боятся ответственности, они понимают, что любое правительство, если оно хочет удержаться у власти, должно решить два главных вопроса: о мире и о земле.

— Все это не так просто, как ты представляешь, —

---

* Имеется в виду выступление В. И. Ленина со статьей «О компромиссах», написанной 1—3 (14—16) сентября 1917 г. Анализируя в ней особенность политической ситуации в России в то время, Ленин обосновал возможность компромисса большевиков, сторонников революционных методов борьбы за установление диктатуры пролетариата, с меньшевиками и эсерами, если они создадут правительство без буржуазии на базе Советов, что могло бы обеспечить переход власти к Советам без вооруженного выступления, то есть мирное развитие революции. «Теперь, и только теперь, может быть *всего в течение нескольких дней* или на одну — две недели, такое правительство могло бы создаться и упрочиться вполне мирно... Только во имя этого... большевики... могут и должны, по моему мнению, идти на такой компромисс» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, с. 134—135).

сказал Рид. — И, главное, не объясняет, почему они отвергли предложение Ленина.

— Да по той же причине, — ответил я. — На всех узловых этапах революции после Апрельских тезисов Ленина, где он заявил, что рабочие сами, без буржуазии, могут управлять страной и экономикой, эти партии тянут одну и ту же песню на тему «эволюция через капитализм». Мы, дескать, не можем перейти к социалистической революции, пока полностью не завершилась буржуазная, то есть пока капитализм не получит в стране должного развития. Однако, встав на сторону буржуазии в вопросе о войне, меньшевики и эсеры оказались в ловушке. Теперь их «революционные принципы» не позволяют им сотрудничать с большевиками. Согласно этим принципам революция зашла слишком далеко, поэтому ей следует остановиться. Вот они и превратились в рабов доктрины!

Мы вернулись к этому разговору через несколько дней, когда Рид узнал о реакции Ленина на отказ меньшевиков и эсеров создать социалистическое правительство. Ленин отмечал, что теряется редкая возможность совершить бескровную революцию, что для этого сейчас сложилась самая подходящая обстановка: через несколько дней будет поздно, а в небольшой приписке печально добавил, что уже и сейчас, наверное, поздно.

— Черт бы их побрал! — выругался Рид. — Впрочем, может быть, из этого все равно ничего не вышло бы.

Мы стали обсуждать, возможна ли вообще бескровная революция или она всегда должна осуществляться силой. Я потом часто думал о предложении Ленина — мы знали его содержание до его публикации — и удивлялся, почему о нем обычно забывают * историки.

— Такое предложение мог сделать только лидер, полностью уверенный в своих силах, — сказал Рид. — Конечно, он не пошел бы на это, если бы не имел подавляющего большинства в Петроградском Совете. Какая глупость со стороны «умеренных» отвергнуть протянутую руку! Было бы еще понятно, если бы они при этом сами начали хоть что-то делать в отношении земли и мира и тем самым лишили бы большевиков их

* Умышленно забывают буржуазные историки.

основного оружия. Но ведь то, что происходит, просто уму непостижимо.

Вечером того же дня мы были на заседании Думы. Джона бесили пустые речи, в которых, казалось, нарочно обходились все животрепещущие вопросы действительности.

— Ну, знаешь ли, по сравнению с меньшевиками даже Морис Хилквит* революционер, — сказал Рид, когда мы вышли в фойе. В коридоре мы поравнялись с рабочим, одетым в плохо сшитый костюм из грубой ткани. Ему, очевидно, тоже надоело слушать болтовню в зале, и он, как и мы, направлялся к выходу.

— Спроси его, — предложил Джон, — правда ли, что никто, кроме большевиков, не хочет брать власть.

Это было весьма характерно для Рида: все мнения и суждения, которые он вокруг себя слышал, он стремился проверить на рабочих.

Спотыкаясь через каждое слово, я обратился к рабочему на своем варварском русском языке. Тот бесстрастно выслушал мой вопрос, окинул нас с ног до головы оценивающим взглядом и медленно ответил:

— Не знаю, чего вы от меня хотите. Это не наше правительство, и война эта не наша. Вам она, может, и нужна, а мне нет. Вы — буржуи, а мы — пролетариат. — И, повернувшись, он пошел прочь.

Рид был в восторге. Ему было бы достаточно даже одной последней фразы. Пустые, банальные речи эсеров и меньшевиков, твердящих о том, что Россия должна продолжать войну, защищая отечество, будут забыты историей, но навеки останутся слова: «Вы — буржуи, а мы — пролетариат!» Возбужденный голос Рида эхом отдавался в коридорах, пугая почтенных привратников, охранявших вход в здание Думы.

— Ну что ж, для классовой борьбы хватит и одной почки! — в энтузиазме воскликнул Джон. У Рида была удалена одна почка, что позволило ему незадолго до приезда сюда освободиться от воинской повинности. Фраза, которую я тогда впервые от него услышал, стала потом любимой его присказкой.

В том, что рабочий посчитал нас обыкновенными

* М. Хилквит (1869—1933) — руководитель Социалистической партии Америки, пытавшийся занимать центристские позиции, затем скатившийся к реформизму и оппортунизму.

буржуями, не было ничего удивительного. Во-первых, мы были американцами, во-вторых, он видел, что мы вышли из ложи прессы, а в-третьих, сказал я Риду, мы на самом деле буржуи, и добавил невинным тоном, что он, Рид, пожалуй, даже «правящий класс». Мы любили дразнить друг друга, и Джон тут же парировал:

— Ну, у тебя тоже мало чего осталось от пролетарских предков — валлийских шахтеров.

Я в ответ сделал несколько нелестных замечаний по адресу Гарвардского социалистического клуба. (Джон хотя и не был членом этого клуба, иногда ходил туда на лекции, а глава клуба — критик и публицист Уолтер Липпман — был его другом и имел на него определенное влияние.) Джон не остался в долгу: ведь стоит ему лишь сообщить в Смольном, что я был религиозным проповедником... Вот будет сенсация! Мне пришлось сдаться. Я согласился забыть о Гарварде и о социалистическом клубе, а он взамен обещал никогда не упоминать о бостонской церкви, в которой я служил одно время священником.

Еще в самые первые дни Рид, естественно, поинтересовался, слышал ли я Ленина и какое у меня сложилось впечатление о нем как об ораторе. Тут я бросил свою первую бомбу. Я не только присутствовал на Всероссийском съезде Советов — это было в июне, вскоре после моего приезда в Петроград, — но и произнес там речь. Рид был сражен. Как! Я стоял на той же трибуне, с которой выступал Ленин! И тут пришла очередь моей второй бомбе. Теперь я уже мог об этом рассказать, так как острота досады и огорчения несколько притупилась.

Многозначительно подчеркивая некоторые слова, я сказал, что, поскольку передо мной американский социалист и поскольку он выглядит сейчас таким же зеленым, каким был я в то время, мне будет не стыдно признаться: я пропустил речь Ленина! Как это могло получиться? Очень просто, ответил я. А разве он, Рид, в июне знал, кто такой Ленин?

— Но я пропустил не только речь Ленина, но и самый драматический эпизод съезда. Я узнал о нем, выражаясь языком профессиональных репортеров, «из самых достоверных источников».

Съезд длился три дня. Это случилось на второй день, как раз когда меня на съезде не было.

И я пересказал Риду знаменитый теперь эпизод, который произошел во время речи министра почт и телеграфа Ираклия Церетели. Меньшевик Церетели был известен тем, что пытался на самом высоком теоретическом уровне оправдать нерешительность Временного правительства. Этот красивый, импозантный мужчина хорошо поставленным мягким и вкрадчивым голосом откровенно говорил о тяжелом положении России: о разрухе на транспорте, о том, что составы со снаряжением и боеприпасами для фронта месяцами простаивают в тупиках, что поезда, идущие в тыл, переполнены бросившими окопы солдатами, которые спешат домой, чтобы успеть к полевым работам, что спекулянты скупают в деревнях зерно и муку, а в городах растут хлебные очереди, что крестьяне самовольно захватывают помещичьи амбары и т. д. и т. п. Ну что против этого можно сделать?

— В настоящий момент, — грустно продолжал Церетели, — в России нет политической партии, которая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место.

Церетели сделал паузу. Высокий, элегантный министр самоуверенно, даже с вызовом оглядывал зал, наслаждаясь реакцией, которую он предвидел: депутаты печально кивали головами в знак согласия с тем, что положение действительно безнадежное и что Временному правительству можно только посочувствовать. Однако с мест, где сидели большевики, послышался гул неодобрения. Я помню, мне объяснили, что большевистская фракция на съезде составляла сравнительно небольшую группу — из 822 делегатов с правом голоса большевиков было всего 105 человек. И дальше мне рассказали то, что было потом подтверждено официальным протоколом: со скамей большевиков из глубины зала раздался уверенный голос: «Есть!» Он прозвучал как грозное предупреждение Временному правительству и всем умеренным. Это был боевой клич. Во многих сердцах он посеял тогда страх и смятение.

Позже Ленин получил для выступления положенные ему по регламенту 15 минут. Когда он заявил, что большевистская партия от власти не отказывается, каждую минуту она готова взять власть целиком, в зале раздались презрительные смешки. А когда он сходил с трибуны, аплодировали только большевики. Однако его

15-минутного выступления было достаточно, чтобы на 24 часа уложить Керенского в постель. Так, по крайней мере, говорил мой друг Михаил Петрович Янышев, ссылаясь на «устный телеграф». Во всяком случае, ленинское «Есть!» стало переломным моментом в ходе революции.

Откинув назад голову, Рид хохотал, как только он один умел хохотать. История эта была совершенно в его вкусе. А потом, как обычно, начались расспросы. Мне пришлось подробно описать помещение, где проходил Первый съезд Советов. Это было военное училище на Первой линии Васильевского острова, и классные комнаты использовались под общежитие для делегатов из Москвы и из провинции. Чтобы попасть в зал, надо было долго идти по длинным, плохо освещенным коридорам.

Что я сказал в своем выступлении? По правде говоря, я как следует не помню, да это и не важно. Это вообще не имеет здесь никакого значения, заверил я Рида, так как переводчик все равно мог сказать то, что, по его мнению, вы должны были бы сказать.

Джон досадливо поморщился: ну конечно, проповедники никак не могут без преувеличений, но он все-таки просит меня строго придерживаться правды. Я поспешил оправдаться. Я действительно не помню точно, что говорил, но в передаче переводчика я будто бы сказал и то, что появилось на следующий день в отчете «Известий». И ему и мне еще не раз предстоит выступать на многих собраниях и митингах, так уж пусть он знает все до конца.

— А что же все-таки, черт возьми, написали про тебя «Известия»?

— Сущую малость. Оказывается, я заявил, что теперь, когда они совершили политическую революцию, им следует перейти к революции социальной! И это, имей в виду, после весьма скромной вступительной фразы, которую, мне кажется, я действительно произнес и в которой, передавая делегатам съезда привет от социалистов Америки, сказал, что не нам учить их, что мы никогда не позволим себе указывать русским социалистам, как им следует поступать, и что социалисты Запада могут лишь испытывать к ним благодарность за героические революционные подвиги, совершенные ими в феврале.

Ни слова не понимая тогда по-русски, я, конечно, пребывал в блаженном неведении относительно того, как перелагает мою речь переводчик. А он превратил ее в простой и ясный призыв к пролетарской революции в духе Апрельских тезисов Ленина. Помню, я еще слегка недоумевал, почему председатель съезда, грузинский меньшевик Н. С. Чхеидзе, который с таким энтузиазмом предоставлял мне слово, в своей ответной речи на то, что я считал простым братским приветствием, был довольно сух и холоден. В то время я еще не разбирался в значении терминов «политическая революция» и «социальная революция», поэтому, если бы даже я и понимал, что говорит по-русски переводчик, ничего бы не изменилось. Рассказывая обо всем этом Риду, я далеко не был уверен, что ему это не кажется таким же сложным, как представлялось в свое время мне. До чего же я был тогда наивен! Ведь прошло всего около десяти дней, как я приехал в Петроград, поэтому, вполне естественно, еще не смог как следует разобраться во всех тонкостях различий между партиями, фракциями и партийными группировками.

Стоя на трибуне съезда перед многоликой массой людей, одетых в рабочие блузы и солдатские гимнастерки, — делегатов фронта и тыла, русских и латышей, татар и казаков, — я чуть не задыхался от восторга и воображал, что все это дружная счастливая социалистическая семья с единой верой в социализм. На самом деле все было далеко не так прекрасно. Правда, тот же самый Чхеидзе как председатель Петроградского Совета официально приветствовал Ленина, вернувшегося в апреле из Швейцарии. В своей приветственной речи на Финляндском вокзале Чхеидзе призывал сплотить ряды в защиту «нашей революции». Однако когда Ленин начал свою знаменитую речь с броневика, обращаясь через голову Чхеидзе к огромной толпе рабочих, солдат и матросов, ожидавших его на площади, стало ясно, что он, говоря о революции, вовсе не имеет в виду буржуазно-демократическую революцию, о которой заботился Чхеидзе.

До приезда Ленина даже кое-кто из большевиков, судя по их публичным выступлениям, казалось, готовы были ограничиться этой революцией. В феврале русские рабочие свергли царское самодержавие. Главная цель вроде бы была достигнута. Но не для Ленина!

И хотя в тот момент он еще не призывал к свержению Временного правительства, его целью была революция социалистическая, то есть такая революция, с помощью которой, как доказывал Маркс, производительные силы и государственная власть перейдут в руки трудящихся, и эта революция должна прийти на смену буржуазно-демократической. Потом я все это понял, но тогда, на съезде Советов, я горячо призывал не более и не менее как к свержению Временного правительства!

Джон смеялся до слез. Успокоившись немного и вытерев слезы, Джон сказал:

— Ну, теперь я понимаю, почему тебя так «любят» в посольстве!

— Не больше, чем тебя, — парировал я. — Наш дорогой посол, наверное, уже наизусть выучил твою последнюю речь перед комитетом конгресса. Ты ведь выкинул номер еще и почище моего, заявил им, что не пойдешь воевать даже под страхом смертной казни и вовсе не по религиозным мотивам. Впрочем, у тебя в запасе была отрезанная почка.

— Да, но одно дело выступать дома, перед своими, а другое — явиться в чужую страну и с места в карьер назвать всех бездельниками, не желающими довести дело до конца. А ведь сами-то мы, избавившись когда-то от короля Георга, до сих пор терпим Генри Форда и Моргана.

Уже в трамвае, когда мы перестали смеяться и молча глядели в окно на пустынные сумеречные улицы с редкими прохожими, укрывающимися под зонтиками от дождя, я вспомнил, что, хотя и не смог ответить на вопрос Рида о Ленине как об ораторе, я все-таки кое-что знаю об этом на основании тех статей и речей Ленина, которые я изучал по требованию моих учителей, — это входило в программу занятий русским языком. Стиль Ленина прост и строг, в нем нет ораторского пафоса и риторики, нет бьющих на эффект образов. Но вдруг тебя поражает какая-нибудь фраза, рассказывал я Риду. Проходит день, другой, а ты все еще возвращаешься к ней, обдумывая содержащуюся в ней мысль. Ну конечно! В этом все и дело! Только так и нужно делать! — думаешь ты. Во всех статьях и речах, которые я изучал, Ленин не только настойчиво призывает продолжать революцию, но показывает, как это нужно делать.

— Ты, я смотрю, заговорил как настоящий большевик, — пошутил Рид, но я почувствовал, что в этой шутке скрывается серьезный вопрос.

Конечно, когда мы приехали в Россию, ни я, ни Рид не только не были большевиками, но даже не знали, что это значит. В 1919 году после выхода в свет моей брошюры «76 вопросов и ответов о большевиках и Советах» один политический фельетонист, некто Генри Л. Слободин, обрушившийся на меня в печати с «разоблачениями» и «опровержениями», в частности, писал, что я приехал в Россию, «не имея ни малейшего понятия ни о большевизме, ни о социализме, не зная ни русского языка, ни русской истории». Что ж, в этом обвинении была доля правды. Понять революцию и оценить ее значение было в те дни очень нелегко. В идеале для этого требовались определенная прозорливость, широта взгляда, довольно солидное политическое образование, некоторый опыт классовой борьбы, знакомство с программами социалистических партий и с тонкостями, отличающими их друг от друга, и, наконец, хотя бы элементарное знание русской истории. Стоит ли говорить, что ни один из американцев, находившихся тогда в России, будь то опытные дипломаты или люди, прибывшие с какой-либо миссией, не обладал всеми перечисленными выше качествами. Среди тех, кто имел хоть какое-то отношение к социалистическому движению, только мы с Ридом не были связаны долгом официальной или псевдоофициальной службы и только мы одни ставили социализм выше «патриотизма», то есть выше обязанности судить обо всех деяниях нового правительства с одной только точки зрения: будет ли оно продолжать войну, в которую Америка формально вступила в апреле 1917 года. Конечно, по сравнению с профессором Чикагского университета Сэмом Харпером, приехавшим в Петроград вместе со мной в июне, мы в отношении русского языка и русской истории были действительно полными невеждами. Однако мы знали кое-что другое, что было, пожалуй, более важным для постижения событий, окончательную оценку которым дала потом история.

Каждый из нас так или иначе считал себя связанным с делом рабочего класса. У нас был опыт личного участия в профсоюзном движении, в массовых выступлениях трудящихся, в забастовках и демонстрациях.

Мы знали Билла Хейвуда, знаменитого вождя горняков и создателя ИРМ *, встречались с Джимом Ларкином, организатором профсоюза транспортных и неквалифицированных рабочих в Дублине, возглавившим там стачку 1913 года. (Он приезжал в США после провала стачки для сбора средств на продолжение борьбы и был арестован американскими властями: его возвращение на родину могло совпасть с ожидавшейся ирландской революцией.) Я участвовал в предвыборной кампании Юджина Дебса, когда он выставил свою кандидатуру от социалистической партии на президентских выборах 1912 года и собрал 800 тысяч голосов. Рид писал о мексиканской революции и был лично знаком с Панчо Вильей **. В своих репортажах из Лудлоу, штат Колорадо, он рассказывал, как отряды национальной гвардии вместе с представителями местной власти расстреливали из пулеметов бастующих рабочих, их жен и детей. Эти репортажи, опубликованные в журнале «Метрополитен», послужили прообразом того нового типа журналистики, который нашел потом свое яркое воплощение в знаменитых «Десяти днях». Кроме того, Рид принимал непосредственное участие в забастовке ткачей города Лоуренса, штат Массачусетс, закончившейся кровавой расправой над рабочими. Во время этой забастовки Рид вступил в ИРМ.

И вот теперь в ответ на его полушутку-полувопрос я, вместо того чтобы, как обычно, отплатить подначкой на подначку, стал говорить серьезно и по существу, решив, что именно такого разговора он от меня и ждет. Не стану делать вид, будто привожу сейчас свои точные слова, но смысл их заключается в следующем: три месяца в России прибавили мне зрелости, которую в других условиях я не приобрел бы и за три года. Я понял, что революция не игра. Из нее нельзя выйти, как выходят из игры. Она захватывает тебя целиком, трясет, ломает, крутит, но не отпускает ни на минуту. Если Рид хотел встать на формальную точку зрения, то я отвечу: нет, я не большевик. В этот момент, еще сам того

* ИРМ — «Индустриальные рабочие мира», профсоюзная организация американского пролетариата, сыгравшая важную роль в истории профсоюзного движения США. Основана в 1905 г. при участии Уильяма Хейвуда (1869—1928).

** Ф. Вилья — руководитель крестьянского движения в период мексиканской революции 1910—1917 годов.

не сознавая, я принял решение. Не знаю почему, но почти с воинственным вызовом сказал:

— Но я все равно буду помогать им, когда они найдут для меня какое-нибудь дело, потому что, как я понимаю, большевики хотят такой же социальной справедливости, какой хочу я. Они жаждут ее более страстно, чем любая другая партия в стране. Они хотят ее сейчас, готовы ради этого пожертвовать своей жизнью, и многие из них, несомненно, так и сделают. Я хочу того же, чего хотят они, — чтобы каждый человек мог пользоваться всеми плодами своего труда и чтобы никто не смел есть пирожные, пока у остальных не будет досыта хлеба. Вот почему я решил встать на их сторону. Если ты найдешь лучший способ помочь революции, дай мне, пожалуйста, знать.

С таким же вызовом, рискуя при этом выглядеть самонадеянным выскочкой, я сказал, что здесь ему не Америка, где мы считали себя революционерами. Ведь, если разобраться, кем мы были на самом деле? Парочкой дилетантов, не более. Так вот, здесь ими оставаться нельзя. Здесь ты или оказываешься в лагере Ленина и его партии, или превращаешься в апологета войны вроде Сэма Харпера или Булларда *. Они сообщают Вашингтону только то, что там угодно слышать: что Керенский останется у власти, а крестьян так или иначе принудят воевать.

Не знаю, что заставило меня тогда говорить в таком поучающем тоне — Рид слушал меня внимательно и серьезно, — но, очевидно, я в то время не очень верил в серьезность Рида и боялся услышать в ответ какую-нибудь легкомысленную остроту. В этом, конечно, я глубоко ошибался. Симпатия, которую мы питаем к человеку, не всегда помогает понять его. Я любил Рида, мне он понравился еще в Нью-Йорке, хотя мы близко тогда и не сошлись, но я любил его не только за его признанные достоинства, но и за те самые качества, которые его ничтожные критики считали недостатками. Если это и были недостатки, то недостатки обаятельные, и я стал жертвой их обаяния. Именно то, чего не мог понять в Риде лишенный юмора Уолтер Липпман,

* А. Буллард (1879—1929) — представитель американского комитета общественной информации в России, противник Советской власти.

находило во мне живой отклик: и его пристрастие к розыгрышам, и его эксцентрические выходки, и необузданная острота языка, и детски невинные шалости. В глазах г-на Липпмана, будущего высокоавторитетного апологета республиканской партии и империализма, эти качества мо́г иметь только отпетый шалопай. Я любил Рида, но я не мог даже отдаленно себе представить, что он будет одним из основателей Компартии Америки, а вернувшись через несколько лет в Россию, умрет здесь и будет похоронен у кремлевской стены рядом с героями революции.

В общем-то, я был не совсем справедлив к Риду и к себе, когда заявил, что мы до этого были лишь дилетантами. Я умышленно преувеличил — это было в стиле той своеобразной игры, которую мы вели между собой и в которой каждый старался дать сдачу той же монетой. Однако за добродушными подтруниванием и подначкой у каждого из нас скрывалось жадное стремление понять себя и других, постичь сложнейшие процессы, происходящие вокруг нас и переворачивающие все наши прежние взгляды, стремление не сбиться с правильного пути и не дать убедить себя прекрасными иллюзиями. И когда наконец мы догадались, что оба обладаем качеством, которое я бы назвал повышенной моральной требовательностью, мы смогли откинуть забрала и признаться друг другу, что целиком и полностью стоим на стороне этой революции. Мы сделали свой выбор.

РУССКИЕ АМЕРИКАНЦЫ

Мои друзья — русские американцы — сразу же полюбили Джона Рида.

Его участие в забастовках было продиктовано искренним и горячим стремлением помочь трудящимся и угнетенным, но его энтузиазм, быстро вспыхнув, мог так же быстро и остыть. В этом смысле он был скорее бунтарем, чем революционером. Октябрьская революция сделала его революционером. Он видел революцию и как поэт, и как драматург, и как сатирик. Однако его целостная натура требовала большего: он хотел проникнуть в самую ее суть, добраться до ее скрытых пружин, постичь законы ее стихий. Эти поиски прервала

лишь трагическая, преждевременная смерть, но они принесли ему мировую славу, сделали его легендарной личностью, вечно молодой и вечно страстной, символом молодого западного интеллигента, вставшего на путь революционной борьбы.

В этих поисках большую помощь Риду оказали русские американцы. Большинство из них вернулись на родину еще до моего приезда, но некоторые смогли приехать лишь накануне Октября и даже после. Должен сказать, что их любовь к Риду была взаимной, и он отвечал им доверием на доверие.

Многие, хотя и не все русские американцы, с которыми мы общались, — переводчики, учителя русского языка, товарищи по работе в Наркоминделе — были большевиками. Поэтому даже в чисто человеческом плане (сначала в Петрограде, а позднее во Владивостоке) они заняли в моем сердце особое место. Помимо Михаила Петровича Янышева, наиболее выдающимися из них были В. Володарский, Якоб Петерс, который был скорее русским англичанином, и Семен Восков. Среди владивостокских друзей-большевиков самой яркой личностью был для меня Александр Краснощеков. Он — единственный из русских политэмигрантов достиг в Америке довольно высокого общественного положения — был преуспевающим адвокатом и видным лектором-просветителем — и покидал ее под фамилией Тобинсон. Приехав во Владивосток в июле 1917 года, он сразу же вступил в большевистскую партию и вскоре был избран председателем исполкома краевого Совета Дальнего Востока. Местная буржуазная газета немедленно назвала его «заморской птичкой» и заявила, что ее читателям «стыдно находиться под началом чикагского носильщика и мойщика окон». Никто не отреагировал бы на это так, как отреагировал Краснощеков. Оскорбленный выпадами газеты, он тут же написал опровержение и понес его в редакцию. Однако будучи прежде всего политиком, он по дороге в редакцию решил заглянуть в местный Совет рабочих депутатов. Как только он вошел, все присутствующие вскочили с мест и бросились к нему с возгласами: «Наш! Наш!» Радостно смеясь, они сказали ему: «Мы-то думали, ты буржуй, а ты, оказывается, свой человек, настоящий рабочий!» Письмо так и осталось в кармане, пока он его тайком не уничтожил.

Когда белые захватили власть, они бросили Краснощекова в иркутскую тюрьму. В январе 1920 года восставшие рабочие освободили его, а через три месяца избрали на пост главы Дальневосточной республики.

Янышев был механиком, работал и в гамбургских доках, и на австрийских угольных шахтах, в Токио и в Марселе, в Бостоне и в Детройте и еще во многих городах Америки. Володарский начал профессиональную революционную деятельность чуть ли не с четырнадцати лет. В 1913 году он эмигрировал в Америку и вступил там в американскую социалистическую партию. Вернувшись в Россию в 1917 году, стал одним из большевистских лидеров «среднего звена», членом Петроградского Совета, был великолепным оратором и любимцем Выборгской стороны. Ему в значительной мере принадлежит заслуга в том, что 40 тысяч рабочих Путиловского завода отвернулись от эсеров и перешли на сторону большевиков.

Восков перед отъездом на родину был в Нью-Йорке секретарем профсоюзной ячейки № 1008 рабочего союза столяров и плотников. До этого он прошел на Среднем Западе школу стачечной борьбы и на собственной шкуре знал, как обращается полиция с рабочими агитаторами во время забастовок.

Несколько позже других приехал в Петроград Арнольд Яковлевич Нейбут, который стал потом моим другом и товарищем по Интернациональному отряду. Нейбут был руководителем Чикагского отделения социалистической партии, в 1916 году работал в Калифорнии, куда я приезжал с лекциями, а последний год жил в Нью-Йорке в Гринич Виллидже. В каком-то из этих трех мест мы и познакомились. Но в моей памяти сохранилось не первое знакомство, а один незабываемый день в марте 1917 года, когда, выйдя из подземки на Кристофер-стрит рядом с домом, где я снимал комнату, я увидел у газетного киоска человека, который, стоя посреди движущегося людского потока, читал газету, держа ее почти у самого носа, хотя на глазах у него были очки. Его обходили, задевали, толкали, но он ничего не замечал вокруг, уставившись в огромные буквы заголовка: «ЦАРЬ ОТРЕКСЯ — ПАДЕНИЕ РОМАНОВЫХ». Я увидел слезы на его щеках, и вдруг до меня дошло: да ведь это Нейбут! Но прежде чем я успел пробраться к нему сквозь толпу, он сунул газету

в карман и бросился вниз к поездам подземки. Я встал в очередь за газетами, а в голове у меня билось: «Началось! Началось!» Я уже знал, что поеду в Россию...

Нейбут, так же как и Петерс, был латышом и отличался веселым, общительным характером. Он вернулся в апреле 1917 года через Владивосток, где пробыл некоторое время, пока его не избрали сначала депутатом Учредительного собрания, а потом делегатом III Всероссийского съезда Советов. В Петрограде он выполнял также обязанности корреспондента владивостокской большевистской газеты и, между прочим, дал излишне красочный отчет о моем выступлении на III съезде. Позже он стал храбрым и умелым командиром Красной Армии.

Петерс был невысокого роста, тонкий и изящный. У него было доброе лицо, немного курносый нос и вьющиеся волосы. Он очень любил поэзию и в те сентябрьские дни несколько раз безуспешно пытался заставить Джона прочесть свои стихи. Через несколько месяцев имя этого мягкого, деликатного и до того мало кому известного молодого человека запестрело на первых полосах всех газет мира как имя одного из главных помощников руководителя ЧК «железного» Феликса Дзержинского.

За ординарной внешностью Петерса скрывались огромные способности, яркое воображение, сила воли, непреклонность и изобретательность. В жестокой схватке с тайными силами контрреволюции он одолел самых опытных царских разведчиков, потому что не был связан теориями и формулами существующей школы борьбы с преступниками. Он с честью справлялся с труднейшими задачами, которые ему доверяли. Во имя революции он мог быть совершенно беспощадным, мифы его не интересовали.

Тем не менее больше, чем работа в ЧК, его привлекало строительство нового общества, и в конце концов он ушел на эту работу.

Однако, как я уже сказал, не все политэмигранты, говорившие по-английски, были большевиками. Среди них были люди разных политических убеждений, в том числе и анархисты, такие, как снискавший большую популярность в американском рабочем движении Билл Шатов, который приехал из Нью-Йорка вместе со своей женой Анной Шатовой, и менее известные Агурский и

Петровский. Не знаю, оставался ли Петровский к тому времени анархистом, но в Октябрьские дни он был членом Военно-революционного комитета.

По возвращении из Америки Петровский работал на Обуховском военном заводе и был там членом заводского комитета. Тщедушной внешностью и строгой серьезностью он являл собой полную противоположность пылкому Биллу Шатову. Рид питал к Петровскому огромное уважение.

Среди русских американцев был также бывший американский социалист Борис Рейнштейн, несколько лет проработавший в крупнейшем индустриальном центре штата Нью-Йорке г. Буффало. Ну и, наконец, Алекс Гамберг, первый экс-эмигрант, с которым я познакомился в Петрограде на следующий же день после моего приезда, и первый экс-эмигрант, с которым я познакомил Рида.

Интересно было наблюдать, как у многих из этих бывших политэмигрантов проглядывали некоторые уже укоренившиеся черты американского образа мышления.

В довоенные годы в Америке существовало крепкое и неуклонно растущее социалистическое движение, и всякий, кто вступал на нашу землю, казалось, так или иначе примыкал к нему. Рейнштейн представлял собой типичный тому пример. Он был неисчерпаемым кладезем информации о Юджине Дебсе и «уоббли» *, знал массу рабочих песен и, как многие другие выходцы из России, видел нищету не только в своей отсталой сельскохозяйственной стране, но и в индустриальной капиталистической Америке. Его отношение к Америке было весьма противоречивым: он восторгался ее техническими достижениями и приходил в негодование от того, что в стране, где машины дали возможность создать такие мощные производительные силы, так бессмысленно пропадают ресурсы и рабочие руки. Как и многие другие, он видел в социализме единственный путь избавления человечества от духовной и материальной нищеты, от безработицы и разорения. Со временем он пришел к выводу, что большевистская партия выбрала наикратчайший путь к социализму...

Осенью 1917 года партийная принадлежность была

---

* «Уоббли» — члены профсоюзной организации «Индустриальные рабочие мира».

не очень устойчивой, причем наблюдалось явное движение влево: правые меньшевики и правые эсеры переходили в левые фракции своих партий, а многие левые меньшевики и левые эсеры присоединялись к большевикам.

Даже некоторые анархисты стали большевиками. То же самое сделал и Рейнштейн. Что касается Алекса Гамберга, то он ревностно хранил свой статус «одинокого волка» и служил посредником между американским посольством и большевиками, пользуясь доверием и тех и других. Вернувшись через некоторое время в Америку, он стал одной из влиятельных закулисных фигур на Уолл-стрите. Билл Шатов оставался верным учеником князя Кропоткина и любил раздавать его книги, которые, надо сказать, были очень интересно написаны. Это не мешало Шатову оказывать решительную и активную поддержку большевикам.

Отдельно следует назвать профессора Чарльза Кунца, который объявился в Петрограде 24 октября 1917 года, то есть буквально накануне Октябрьской революции. Он не примыкал ни к одной группе и в то же время со всеми умел находить общий язык. Приехал он из Нью-Джерси, где, помимо преподавательской деятельности, занимался еще и разведением цыплят.

Я написал, что все русские американцы полюбили Рида. Все, за исключением Алекса Гамберга. Рид и Гамберг сразу не понравились друг другу, а со временем их неприязнь перешла в почти открытую вражду. С остальными Рид очень скоро стал чувствовать себя как дома. Наши друзья работали теперь без сна и отдыха, у них не оставалось времени даже на любимую игру — шахматы. Мы увязывались за ними повсюду, ходили пешком или тащились в громыхающих трамваях из одного конца города в другой, чтобы попасть на собрание рабочих Выборгской стороны или на митинг в солдатские казармы. Во время этих поездок и в долгие минуты ожидания перед началом какого-нибудь собрания они вели с нами беседы, спорили, отвечали на вопросы. И мы заметили, что, каких бы взглядов каждый из них ни придерживался, в одном вопросе все они, и даже Гамберг, проявляли полное единодушие — в отношении к Ленину. Помню, вначале, когда я еще мало их знал, такое единодушие показалось мне проявлением некритичности мышления.

Однако приближался Октябрь, внутрипартийные разногласия обострялись, и часто то один, то другой из наших друзей становился неразговорчивым, сухим и сдержанным, даже самые общительные рассеянно пробегали мимо или так спешили, что не могли задержаться даже на минуту, чтобы ответить на наши вопросы, не говоря уже о том, чтобы остановиться надолго и неторопливо разъяснить нам обстановку, как мы привыкли от них ожидать. К счастью, я к тому времени достаточно освоился в русском языке и не был теперь так зависим от них в понимании революции, как три месяца назад. Уроки не пропали даром. Рид был еще более способным учеником, и пришло время, когда он уже упрекал меня в том, что я немарксист.

Уже через неделю после своего приезда он в одном из писем дал довольно точную оценку политической ситуации в России: «Эта революция вступила в стадию классовой борьбы, в ее самом явном и прямом виде, как предсказывал Маркс. Так называемая «либеральная буржуазия» — Родзянко, Львов, Милюков и прочие — твердо стала на защиту капиталистических интересов. Интеллигенты и революционеры-романтики, за исключением Горького, пришли в ужас, когда увидели, что такое настоящая революция. Одни из них переметнулись к кадетам, другие просто вышли из игры. Большинство ветеранов, таких, как Кропоткин, Брешковская и даже Аладьин, — решительно против нового движения: их главной целью была политическая революция, и она свершилась, Россия — республика, и, я думаю, навеки, а то, что сейчас происходит, — это революция экономическая, которую они не понимают и не приемлют. Сквозь бурю налетавших друг на друга событий на грозовом небосклоне России восходит звезда большевиков».

Насчет интеллигентов и «революционеров-романтиков» сказано, пожалуй, слишком упрощенно. На самом деле многие перешли к большевикам, так же как многие продолжали бороться против них и в самой России, и вне ее. Да и с Горьким все было гораздо сложнее. Горький и газета «Новая жизнь», в которой он сотрудничал, выступали тогда и против большевиков, и против соглашателей меньшевиков и эсеров — он перейдет на сторону большевиков позднее, под влиянием Ленина, Луначарского и других. Однако суть ситуации схвачена правильно, и если вспомнить, что это было написано

через неделю после приезда в Россию, то можно лишь удивляться способности Рида сразу видеть главное.

Откровенно говоря, и Рид, и я были во многом романтиками, любителями приключений, и совершенно неверно представлять нас в сентябре 1917 года такими же сознательными марксистами, глубоко убежденными в правоте дела пролетариата, какими мы видели наших друзей, русско-американских большевиков. То, что Рид, помимо всего прочего, был бо́льшим романтиком, чем я, не только не помешало ему стать коммунистом (что я так и не сделал), но, возможно, даже ускорило этот процесс.

В октябре 1917 года Риду было тридцать лет, и здесь, в России, полностью развернулись его драматические и флибустьерские таланты. Многие только эту оболочку Рида и видели. Ни русские буржуа, ни посольская публика — за небольшим исключением — не могли до конца поверить, что и Рид и я совершенно серьезно сочувствуем революции. Русские богатые бездельники, с которыми нас знакомил Гамберг, в крайнем случае допускали, что мы на стороне Керенского, которого просто считаем меньшим злом по сравнению с большевиками, так как он все-таки пытается удержать Россию в войне. Фарсовая ситуация подобных встреч страшно забавляла Рида. К величайшему смущению изысканного общества, он вдруг спокойно заявлял, что к власти все равно придут большевики, потому что только они выдвигают программу, отвечающую нуждам народа. Обычно в ответ на это хозяин или хозяйка дома хитро улыбались, как бы говоря: «Ладно уж, знаем мы вас, журналистов, вам ведь надо что-то писать». Им и в голову не могло прийти, что мы искренне сочувствуем большевикам. Они были уверены, что мы притворяемся ради получения информации.

Не исключено, что такая же мысль приходила в голову и большевикам. Но, удивительное дело, они принимали нас такими, как есть, терпеливо объясняли непонятное или ожесточенно спорили — в зависимости от темперамента, — но, главное, доверяли нам.

И только один Гамберг относился к нам скептически, но он так же относился и к большевикам. В определенном смысле этот скептицизм не остался не замеченным его хозяевами в американском посольстве, хотя Алекс ради острого словца не щадил иногда даже свое-

го непосредственного начальника Раймонда Робинса, к которому питал большое уважение.

В посольстве многие сначала считали нас одураченными простачками (в более поздний период назвали бы «жертвами большевистской пропаганды») и были убеждены, что «юношеская блажь» скоро пройдет. Другие — со временем их мнение стало преобладать — видели в нас опасных типов, за которыми надо установить постоянную слежку. Следить за нами не составляло никакого труда: мы ни от кого не скрывались. Наши публичные выступления должным образом отражались и в прессе — по крайней мере, в том виде, как их преподносили переводчики, — и в донесениях русских агентов посольства. Листовки и бюллетени новостей, которые мы составляли после 25 октября (7 ноября), распространялись совершенно открыто. Мы были официальными служащими бюро пропаганды советского МИДа и работали под началом Рейнштейна. В листовках, которые выпускало наше бюро, мы призывали немецких и австрийских солдат прекратить братоубийственную войну и свергнуть кайзера и императора, как русские свергли своего царя. Эти листовки сбрасывались с самолетов, хотя самолетов было очень мало, прямо в окопы или передавались из рук в руки в моменты «братания» — до и после заключения Брестского договора, — когда рушились заграждения из колючей проволоки и разрывалась линия фронта. Листовки отправлялись также в лагерь военнопленных.

* * *

С каждым днем становилось все яснее, что Рид прибыл в самый решающий момент революции. По сравнению с апрелем все в корне изменилось. Был конец сентября, мы сидели в маленьком итальянском ресторанчике и пили чай. Кроме Воскова, с нами были еще Петерс, Бесси Битти и, кажется, Луиза Брайант. Бесси Битти и Петерс к тому времени уже стали добрыми друзьями. Я познакомил ее с Петерсом в этом же ресторанчике и тем самым сыграл, очевидно, косвенную роль в ее политическом образовании, так как в своей книге о России она, по доброте душевной, пишет, что я и Джейк Петерс «открыли ей многие окна революции, которые иначе остались бы для нее закрытыми». Моя заслуга здесь

чисто случайная. Бесси была хорошим журналистом и веселым товарищем, и, хотя она чувствовала себя прежде всего репортером, ее симпатии по мере развития событий сильно изменились. Если вначале она относилась к большевикам враждебно и защищала Керенского, то теперь она серьезно и искренне пыталась понять большевиков.

Мы все знали, о чем говорит Восков, а Петерс продолжил его мысль:

— Да, некоторые товарищи, — здесь он запнулся, не желая, очевидно, чтобы его слова были поняты как намек на Центральный Комитет, — некоторые товарищи боятся даже слова «восстание», обвиняют Ленина в бланкизме и в прочей чепухе. А положение действительно, — добавил он, загораясь, — совсем не то, что в апреле. Тогда в Советах большевиков была лишь небольшая кучка, а теперь за нами большинство в обеих столицах.

В течение всех этих шести месяцев Советы не были органом революции, а служили скорее подпоркой для буржуазной власти, создавая видимость парламента, без которого Временное правительство, начиная с кабинета Милюкова — Гучкова и кончая очередной неустойчивой коалицией Керенского, не имело бы никакой силы. (Только что было создано новое коалиционное правительство.)

— Ну а теперь, — сказал Петерс, — Советы — это революция. И вооруженное восстание все равно произойдет. Но произойдет ли оно вовремя, вот вопрос. Или Керенскому удастся вызвать достаточное количество верных ему войск. Он не может убрать из города войска петроградского гарнизона: они подчиняются только Военно-революционному комитету. Но он может открыть ворота Гогенцоллернам *.

Когда Петерс закончил свою длинную и страстную речь, Восков неожиданно рассмеялся:

— Я все думаю, наверное, вам, американцам, трудно нас понять. В июне, когда Ленин заявил, что большевики в любое время готовы взять власть, его подняли на смех. А как боялись власти меньшевики и эсеры, как они упирались! После корниловской авантюры, когда

* Гогенцоллерны — династия бранденбургских курфюрстов, прусских королей и германских императоров.

Советы потребовали от них взять власть полностью в свои руки и управлять без кадетов, они вроде бы согласились, но тут же совершили закулисную сделку, чтобы все-таки ввести кадетов в правительство. Помните, как к Чернову * подошел разъяренный рабочий и заорал ему прямо в лицо: «Бери власть, сукин сын, раз тебе ее дают!..»

Расставшись в тот вечер с Петерсом и Восковым, мы всю дорогу домой обдумывали то, что они нам сказали, и снова, как уже не раз до этого и много раз потом, обсуждали наших русских американцев, их биографии, их судьбы, их отличие от других революционеров, которых мы знали и здесь, и у себя на родине.

Я часто думал, как многим я обязан этим людям. От них я впервые услышал о Ленине, увидел его их глазами, узнал о нем по их рассказам, поэтому, когда я наконец лично познакомился с Лениным, я почувствовал себя с ним легко и просто. Впрочем, наверное, это произошло бы в любом случае.

* * *

Ни один из русских американцев не походил на другого. Каждый из них был по-своему яркой личностью. Даже среди большевиков были не только различия во взглядах, но и разногласия по вопросам тактики и интерпретации Маркса и Энгельса. Их теоретические споры меня совсем не волновали, но я заметил одну вещь и сказал как-то Риду:

— Ты знаешь, у меня создалось впечатление, что у них никогда не бывает разногласий в трактовке того, что говорит Ленин. Кажется, будто он не оставляет никакой возможности толковать его иначе, чем он хотел сказать.

— Да, но неужели никто не расходится с ним во мнениях по существу? — заинтересовался Рид.

Лишь позднее, в тяжелые дни заключения Брестского мира, некоторые наши друзья-большевики не согласи-

---

* В. М. Чернов (1876—1952) — один из лидеров партии эсеров, игравший в 1917 г. вместе с меньшевиками руководящую роль в Советах; в мае — августе 1917 г. министр земледелия в буржуазном Временном правительстве. После Октябрьской революции эмигрировал за границу, выступал как враг социалистической революции и Советской власти.

лись с Лениным, настаивавшим на заключении мира. Историки говорят, что Володарский в какой-то момент колебался в отношении предложенных Лениным сроков вооруженного восстания. Но от самого Володарского я никогда этого не слышал. Что же касается большевиков «низового звена», то все они в этом вопросе были едины. И не потому, что слово Ленина служило для них законом. Такого рода отношение было абсолютно несвойственно духу революции, насколько я ее знаю.

Было бы неверно сказать, что большевики, которых я знал, боготворили Ленина. Это чувство обычно приходит только после смерти вождей или искусственно воспитывается в народе. Ленин, по существу, всегда был рядом, и такой живой, реально ощутимый, какого еще никогда не создавала история. Я утверждаю, что для большевиков Ленин и революция были неразделимы. Они доверяли его тонкому и глубокому пониманию марксистской теории, которое сочеталось с великолепным знанием народа, доверяли его тактическому гению, способному точно определить момент, когда народ будет готов взять власть в свои руки.

Мои друзья-большевики знали, что Ленин правильно измерил революционный энтузиазм рабочих.

Вспоминаю, как однажды Рид, Рейнштейн и я отправились на Выборгскую сторону послушать выступление Володарского, который произвел на Рида огромное впечатление, как в свое время и на меня. Это было, наверное, во второй половине сентября, до нашей поездки на Северный фронт, под Ригу.

Рид спросил Рейнштейна, похож ли Володарский как оратор на Ленина. Нет, ответил Рейнштейн, Ленин никогда не взывает к эмоциям. Он считает, что рабочие и крестьяне прекрасно знают, чего хотят: конца войны, конца шаткого правления Керенского, способного лишь на соглашательство с буржуазией, передачи всей власти Советам, но так, чтобы это была, наконец, действительно рабочая власть. Словом, они хотят хлеба, мира и земли, то есть того, чего так и не получили за шесть месяцев власти Керенского. Задача в том, чтобы заставить их думать, как всего этого добиться. Рейнштейн слышал, например, выступление Ленина с балкона особняка Кшесинской (знаменитой балерины и царской фаворитки), где одно время размещался штаб большевиков, пока они не перебрались в Смольный. Огромная толпа рабочих

и солдат стояла молча, осмысливая ленинские слова, забывая об аплодисментах. Зато, когда Ленин закончил и ушел с балкона, раздался оглушительный, долго не смолкавший рев.

Когда Володарский выступает — я слышал его много раз, — он загорается как факел и зажигает аудиторию. Нельзя сказать, чтобы его ненависть к классовому врагу была сильнее, чем у других, но его точка кипения была гораздо ниже, и эта ненависть быстро выходила наружу. Пожалуй, из всех русских американцев у него одного жажда мщения угнетателям была в крови. И вот теперь настал долгожданный час, когда он может нанести свой удар, и он, не щадя себя, день и ночь призывал к возмездию. Каждая минута революции была для него радостной. Я пишу об этом не первый раз, но меня до сих пор волнует удивительное по своей неповторимой красоте признание Володарского, сделанное им несколько месяцев спустя, незадолго до моего отъезда из России. Почти смущенно, но с той же решимостью, которая обычно освещала его лицо, он сказал: «За эти десять месяцев я испытал больше радости, чем отмерено человеку на всю жизнь».

Наверное, все русско-американские большевики были фанатиками, если считать фанатизмом их страстную веру в способность человека самому вершить свою судьбу и их решимость отдать все силы, а если понадобится, и жизнь для того, чтобы помочь поднявшейся России встать на путь, избранный их классом. Физическая выносливость этих людей, казалось, не имела предела: каждый теперь работал за десятерых. Поразительно, на что бывает способен человек, когда у него есть цель!

Но при этом они не были похожи ни на роботов, ни на тех скучных типов, какие часто изображаются в западной литературе под видом профессиональных революционеров.

Все русско-американские большевики обладали большим чувством юмора, любили посмеяться и по достоинству оценили веселый, жизнерадостный характер Рида. Их ничуть не шокировала его неуемная страсть к эскападам, розыгрышу, актерским шаржам, и можно себе представить, как они хохотали, когда Рид изображал посла Фрэнсиса, угощающего корреспондентов марочным ликером из личных запасов, или Керенского,

выступающего на фронте перед солдатами, или огромного, похожего на Собакевича Родзянко, у которого мы брали интервью.

Их горячая симпатия к Риду была взаимной еще и потому, что они, как и Рид, были людьми высокой культуры и понимали друг друга с полуслова.

Кроме Янышева, у которого отец был учителем, и Гамберга, сына раввина, все русские американцы, большевики и небольшевики, были выходцами из крестьян или ремесленников. Большевики прошли свои «университеты» в тюрьмах и ссылке, а практику получили среди рабочих разных городов мира, от Баку до Сингапура, среди нефтяников Оклахомы и сталелитейщиков Огайо. Всех их объединяло выраженное в действии чувство общественной совести.

Когда я познакомился с Восковым, ему было 28 лет, десять из них он провел в США. У него был довольно своеобразный характер. Его оригинальный юмор трудно поддается определению, это был какой-то юмор наизнанку. Он имел обыкновение преувеличивать возможность мрачного исхода, так как считал, что надо всегда готовиться к худшему, чтобы не быть застигнутым врасплох. Зачем быть оптимистом, когда можно быть пессимистом? Но, странное дело, от него почему-то неизменно веяло спокойствием, добродушием, уверенностью, что все будет хорошо. И хотя по всем законам логики ему следовало бы быть нелюдимым меланхоликом, трудно было найти более общительного и живого собеседника.

Однажды летом, раздобыв где-то старый автомобиль, мы отправились с ним за город. Дорога была ужасная, и я осторожно пожаловался на тряску. Он посмотрел на небо и сказал, что после дождя дорога будет еще хуже, а в такой жаркий и душный день грозы не миновать. Гроза прошла стороной, но мотор вдруг зачихал и заглох. Это вроде бы даже обрадовало Воскова. Он горячо принялся за дело, и мы вскоре опять заковыляли по ухабам. Переезжая через ручей, машина завязла в грязи. Чертыхаясь себе под нос, я вылез и стал толкать что было сил, стремясь вытащить задние колеса. Когда мне это удалось, забуксовали передние. Восков выскочил из автомобиля, огляделся по сторонам, нашел какую-то корягу, сделал что-то совершенно мне непонятное, и машина вылезла из лужи. Не обра-

щая внимания на мое дурное расположение духа, он сказал:

— Теперь, как говорится: «А ну, залетные!»

Он, по-видимому, считал, что, как бы ни были плохи дела, они могут быть еще хуже и, очевидно, будут. А когда они на самом деле становились хуже, он испытывал прилив деятельного энтузиазма. Однако все это было лишь внешними проявлениями его характера, а в основе лежала твердая вера в то, что народ может добиться освобождения только «своею собственной рукой» и что он обязательно его добьется и станет владыкой мира. Как и все другие большевики, Восков прошел такую жизненную школу, которая оставляет очень мало места для иллюзий. Я подозреваю, что его пессимизм служил надежной броней, защищающей от неизбежных разочарований.

Тогда, в сентябре, Восков работал с утра до ночи, его энергия казалась неисчерпаемой, но оттого, что дела у большевиков шли хорошо и они с каждым днем завоевывали новые позиции, он реже улыбался, реже мурлыкал под нос какую-нибудь песенку. Нужны были трудности, чтобы по достоинству оценить прелесть его натуры. Возможно, это объяснялось тем, что трудности для него были более реальной действительностью, а благоприятные моменты в жизни — лишь временным явлением. Он сидел во многих тюрьмах разных городов. В Константинополе, например, его так били и пытали, что он в кровь искусал губы. Я спросил его, как он все это перенес. Он ответил будничным тоном: «Понимаешь, первый удар обычно так парализует нервы, что они уже не реагируют на последующие».

Восков мог ждать и всегда ожидал самого худшего от завтрашнего дня, но сегодня он был совершенно спокоен, а к вчерашнему дню просто равнодушен. Что же касается послезавтра, то он был уверен, что двое его детей будут жить лучше, и дальше этого не заглядывал. «У нас сегодня столько дел, — говорил он, — что нам некогда копаться в прошлом или мечтать о красивом будущем».

Впоследствии, когда мне приходилось слышать от некоторых американцев горькие упреки в адрес Советского Союза — причем самые гневные исходили обычно от людей, которые в свое время считали, что Советский Союз вообще непогрешим, — я представлял себе

Воскова и как бы слышал его сухой, резкий ответ: «А кто вам сказал, что через тридцать-сорок лет мы представим на ваше одобрение готовенькое социалистическое общество? Мы этого никому не обещали. У нас ведь не было схем и образцов, и мы не устанавливали никаких сроков. Разве у Ленина где-нибудь сказано, что новое общество будет построено тогда-то и тогда-то? Он никогда ничего подобного не говорил. Мы совершили революцию и удержали ее завоевания. А что за это время сделали вы? Вы, с вашей высокоразвитой промышленностью и революционными возможностями? Ведь вам было бы гораздо легче построить социалистическое общество. Да, мы еще не создали идеального человека, а разве это можно сделать за два-три поколения? Вы же до сих пор стараетесь приспособиться к капитализму».

Восков жил по самому строгому моральному кодексу, который распространялся и на его жену и на детей. Жена Воскова — Станислава Тышкевич — была простая, мужественная и работящая женщина.

В моей памяти ярко запечатлелась сцена их прощания ранней весной 1918 года, когда Восков в числе других молодых большевиков, мобилизованных Лениным на самые опасные участки борьбы с контрреволюцией, уезжал из Петрограда. Восков был одет в новенькую форму командира Красной Армии. Станислава не плакала, только тесно прижалась к нему напоследок, а он тихо сказал: «Если погибну, скажи детям, что отец завещал им продолжать борьбу». Он знал — борьба будет нелегкой и победа придет не сразу, поэтому следующее поколение тоже должно быть поколением революционеров.

Я знаю, что Раймонд Робинс питал симпатию и уважение к Воскову. Это явствует, в частности, из официального текста телеграммы, которую Робинс, будучи уже главой американского Красного Креста в России, направил 4 апреля 1918 года послу Фрэнсису, эвакуировавшемуся в Вологду. В телеграмме, между прочим, говорилось: «По достоверным сведениям, только что полученным из Петрограда, Советская власть располагает здесь эффективной силой и полностью контролирует внутреннее положение. Командир Красной гвардии Воскофф — личный мой друг, человек храбрый и находчивый. На территории Финляндии лично возглавил три

атаки против белой гвардии, потеряв пятерых командиров. Пока он командует петроградской Красной гвардией, я совершенно спокоен за тамошнюю ситуацию».

Какое-то время, вскоре после Октября, Восков служил одним из комиссаров по продовольствию. В моем дневнике за тот период сохранилась следующая запись (к сожалению, без даты): «Занимая эту должность, он (Восков) никогда не принесет домой ни одного лишнего куска хлеба (Kusok khleba), хотя знает, что дома его встретят голодные глаза детей. Дети получают по восьмушке хлеба, испеченного из муки пополам со жмыхом. Животы их урчат от голода, но им еще хватает энергии бросать друг другу обвинения:

— Ты съел белые цветы, ты съел белые цветы! — кричит девочка.

— И вовсе я их не ел, — отвечает мальчик и, помолчав немного, добавляет: — Они, во-первых, желтые... А ты зато ела дохлых мух с подоконника, а мама не велела, они грязные».

* * *

Однажды вечером Рид, Восков и я остановились на мосту полюбоваться городом. Внизу под нами проносились быстрые воды Невы. Я сказал, что все это напоминает мне стихи Водсворта, описавшего вид с Лондонского моста. Вдали виднелся шпиль Адмиралтейства, сквозь легкую дымку выступали очертания дворцов и фантастических куполов величественных соборов. Откуда-то доносилась еле слышная музыка.

— Вы слышите? — спросил Рид.

— Слышу, — довольно резко ответил Восков, разрушая наше поэтическое настроение. — Но я еще, кроме того, слышу стоны крепостных, строивших этот город.

Мы встретили Воскова в Смольном, когда он только что вышел с какого-то многочасового заседания, и уговорили его пойти с нами выпить где-нибудь чаю и съесть по тарелке борща. Потом мы пошли ко мне в номер в гостиницу «Астория». Восков выглядел очень усталым: каждый день с утра до вечера он выступал на заводских митингах и собраниях. Мы видели, что он был всецело поглощен своими мыслями и не реагировал на наши попытки расшевелить его.

Рид сказал, что накануне он разговаривал с одним рабочим, который открыто заявил: «На этой неделе мы выступаем».

Однако Восков, чуть усмехнувшись, спросил:

— Кто был вашим переводчиком, Альберт Давидович? (Так называли меня русские друзья, соединив по своему обычаю мое имя с именем моего отца — Давида Томаса Вильямса.) — И, не дождавшись ответа, спокойным деловым тоном сказал: — Пока все остается постарому. Я имею в виду, что изменение объективных условий, которое вы как журналисты сами уже почувствовали, пока не признано достаточным.

— Не признано кем? Уж не хотите ли вы сказать, что Ленин... — начал задиристо Рид.

Восков, как бы отмахиваясь от ненужных слов, остановил его усталым жестом.

— Конечно, Ленин здесь ни при чем. Он прекрасно чувствует настроение масс, чего об этом говорить? Хотя он в подполье, отрезан от нас и жалуется, что его плохо информируют, но он-то знает и объективные условия, и субъективные настроения народа. Не знают и не понимают этого другие, те, которые находятся от рабочих на расстоянии одной трамвайной остановки.

Уже перед самым уходом в Воскове проснулся его обычный веселый пессимизм, и он сказал:

— Мы пытаемся оседлать циклон. Но нас всего лишь маленькая горстка. Мне иногда кажется, что наши голоса тонут в урагане. — Он улыбнулся и развел руками. — А ведь ураган, как вы знаете, остановить нельзя.

— Так ревите вместе с ним, товарищ, — воскликнул Рид, хлопнув Воскова по плечу. Но тут же в нем заговорил репортер, который всегда должен быть немного скептиком, и он спросил: — А что, если большевики не оседлают циклон? То есть, если большевистская организация примет решение о несвоевременности восстания?

Стоявший уже в дверях Восков резко обернулся, и мы увидели огонь в его усталых глазах.

— Народ все равно выйдет на улицы без нас — так уже было в июле, и, как мы тогда ни старались сначала сдержать, а потом направить и возглавить это выступление, было уже поздно, оно выходило из-под контроля. Результат вам известен — кровавая бойня и реп-

рессии. Однако никакое восстание не могло быть тогда победоносным, даже если бы нам удалось полностью возглавить движение масс. Теперь все по-другому. Теперь у нас есть организация, теперь у нас большинство в Советах. За нами фабрики и заводы, на нашей стороне большинство армии и, безусловно, Петроградский гарнизон. На нашей стороне флот. Да и провинция не подведет. Основная масса крестьян нас поддержит. Впрочем, о крестьянах вам может рассказать Альберт Давидович. Однако совершенно ясно: когда массы выступят, мы должны быть вместе с ними. Мы, конечно, можем в чем-то ошибаться, но самая страшная ошибка — допустить деморализацию масс из-за бездействия. Так что, мои дорогие американские товарищи, немножко терпения и понимания.

Восков ушел, оставив нас в великом возбуждении. Мы пытались представить себя в положении людей, взявшихся управлять циклоном. Восков дал очень хороший образ — действительно, стихийные силы вырывались на свободу.

— Они, наверное, рассчитывают, — рассуждал Рид, — что, если выберут правильный момент, вернее, если они точно определят день и час, в который грянет гром, им удастся направить ожидающийся циклон в нужном направлении. Ну а если циклон пройдет мимо?

Эти сомнения мелькали иногда и у Воскова, и у других знакомых большевиков — они были с нами достаточно откровенны и не скрывали своих опасений. Однако вели они себя как люди, не знающие никаких сомнений. Они работали так, будто от них и только от них зависел ход событий. Казалось, им не нужен ни сон, ни отдых и у них вообще нет нервной системы. Меньше всего они заботились о своей жизни и были готовы выполнить волю народа, чего бы им это ни стоило.

Так же как Ленин, Восков в глазах масс был своим человеком. Это относилось и ко всем другим русско-американским большевикам, которых мы знали, так как все они представляли Ленина и его партию и сами были выходцами из народа. После того как другие партии проявили полную неспособность и нежелание взять на себя руководство страной, большевики стали единственной надеждой рабочего класса, беднейшего крестьянства и даже крестьян-середняков.

* * *

В этот необычайно интересный и переломный момент истории одним из ценнейших качеств большевиков, помимо веры в историческую роль рабочего класса, трезвого чувства реальности и сострадания к угнетенным, была самодисциплина. Только самодисциплина в сочетании с неистребимым оптимизмом, с огромным мужеством и дерзанием, с непоколебимой стойкостью против любых ударов помогла им выйти победителями из последующих испытаний.

Лично для меня не менее важным качеством был их гуманизм, который проявлялся не в словах сострадания к угнетенным, а в ненависти к системе, основанной на угнетении. И только изредка, в минуты эмоциональных вспышек, у них вырывались слова сострадания и возмущения по каким-то частным поводам, как это случилось однажды с Янышевым, когда он рассказывал о японских рикшах. Так же как Ленин, большевики никогда не говорили о своей любви к рабочим, а всегда выступали против условий, порабощающих человека и убивающих в нем человеческое достоинство. И только на траурном заседании II съезда Советов СССР 26 января 1924 года Крупская сказала скупыми и точными словами:

«Сердце его билось горячей любовью ко всем трудящимся, ко всем угнетенным. Никогда этого он не говорил сам, да и я бы, вероятно, не сказала этого в другую, менее торжественную, минуту» *.

Все эти качества были необходимы в период революционного подъема масс и перехода власти в руки Советов. Но какую они сыграли роль в судьбе моих друзей в период укрепления Советской власти, после победы революции? И будут ли нужны эти качества тогда, когда революция вступит в стадию созидания и мои друзья будут призваны организовать производство и решать массу сложных (подчас весьма прозаических) задач, связанных со строительством жизнеспособного социалистического общества? Как справятся с этими задачами Янышев, Восков, Володарский, Нейбут? Ведь их способности и революционные заслуги, безусловно, обеспечат им высокие посты в новом государстве. (Володарский после Октября стал членом Президиума

* Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. М., 1968, с. 465.

ВЦИКа.) Сохранят ли они свой идеализм? Не испортит ли их власть? Не зазнаются ли они? Не станут ли бесчувственными бюрократами?

К сожалению, ответить на все эти вопросы невозможно. Они так и не дожили до последующих стадий революции. Из знакомых мне большевиков только Петерс и Рейнштейн остались в живых после гражданской войны.

Володарский был убит в Петрограде в июне 1918 года, когда я находился уже во Владивостоке.

Это убийство было первым в серии террористических актов, задуманных как часть контрреволюционного заговора эсеров; сразу же после него состоялось покушение на Ленина.

Нейбут был расстрелян белыми в Омске в 1919 году после провала подпольной большевистской организации. (Из многих владивостокских товарищей я называю здесь лишь одного Нейбута, а их погибло около двадцати человек.)

Янышева закололи штыками врангелевцы. Его, как и Рида, похоронили у кремлевской стены.

Восков был комиссаром 7-й армии, сражавшейся против Деникина, и умер на фронте от тифа в 1920 году. За исключением Володарского мало кто из них сыграл видную роль в истории, поэтому я не мог добавить почти никаких новых фактов к тому, что написал про них в своей книге «Сквозь русскую революцию». Столько молодых, беззаветно преданных революции большевиков погибло в годы гражданской войны и интервенции, и их героизм остался мало замеченным.

Во всяком случае, можно твердо сказать, что качества, которые я в них увидел, как нельзя лучше подходили к тому раннему героическому периоду революции. Ленин считал, что свершение революции, то есть захват власти рабочими и беднейшим крестьянством, — дело куда менее трудное, чем удержание этой власти в руках. Поэтому, как знать, может быть, те, кто тогда погиб, избежали самого тяжелого испытания. Однако и без него своей жизнью и делами в тот год младенчества революции, когда рождалось не только новое общество, но и отдельные люди, казалось, рождались заново, простые смертные обрели бессмертие.

Вспоминая эту горстку русско-американских коммунистов, я прекрасно понимаю, что революция победила

бы и без них. Ничего, в сущности, не изменилось бы. И даже политическое образование нас, двух беспокойных американцев, было бы в конце концов когда-нибудь завершено, хотя заняло бы больше времени. Я уделил им так много места потому, что они были не только типичными представителями революционного большевистского движения, но и прототипами сегодняшней армии стойких и бесстрашных молодых революционеров мира. А также потому, что через них мы познакомились с Лениным задолго до того, как встретились с ним лично.

Если они предстали в моем рассказе как слишком незаурядные личности, то именно этого я и добивался, так как революция даже заурядных людей делала незаурядными. Их беспримерная стойкость была связана с непоколебимой верой в человечество и в конечное торжество идей социализма.

Тогда, в сентябре 1917 года, они видели, что массы приближаются к точке взрыва, и они были счастливы сознавать свое единство с массами, счастливы разделить их судьбу.

Рядом с ними Рид и я слушали учащенный пульс революции и были так же счастливы своей причастностью к ней. Вряд ли нам тогда приходило в голову, что наша жизнь уже бесповоротно пошла по этому пути. Жизнь Рида была трагически короткой, но яркой, напряженной и прожитой сполна. Мне была суждена долгая жизнь, и, хотя на всем протяжении этой долгой жизни я неустанно говорил и писал о революции, объясняя ее своим соотечественникам, я так никогда и не расплатился за то, чем она обогатила мою жизнь.

НАСТОЙЧИВЫЙ ПРИЗЫВ

Первые письма Ленина о восстании, не датированные по конспиративным соображениям, были написаны между 12 и 14 сентября. Они были адресованы Центральному Комитету партии, а также Петроградскому и Московскому комитетам. Опубликованы они тогда, конечно, не были, но содержание их доходило до большевистских организаций. Слухи об этих и о последующих письмах распространялись как пожар, приводились наиболее яркие и сильные фразы, как, например: «История не простит нам, если мы не возьмем власти

теперь»*. Мы услышали эту фразу от Петерса, и Рид с удовольствием повторял вслух, как строку стихов. Мы шли вдвоем по Невскому, и я сказал:

— Ты напоминаешь сейчас хор из греческой трагедии, только вот аудитория у тебя слишком мала.

Рид еще раз повторил фразу и ответил:

— Человек, написавший эти слова, выступает перед аудиторией, которую не может вместить ни один амфитеатр.

Конечно, слухи часто искажали смысл писем, поэтому вокруг них возникали споры, их обсуждали за закрытыми дверьми и на уличных перекрестках, из них вырывали куски, на основании которых делались самые дикие предположения, и не исключено, что, если бы письма были опубликованы, они вызвали бы меньший резонанс.

Пожалуй, в истории еще не было случая, чтобы намерение свергнуть правительство так тщательно обсуждалось всеми слоями населения и так долго откладывалось осуществление этого самими его инициаторами. Вскоре стало известно, что Ленин встречает противодействие со стороны многих лидеров большевиков, в частности Зиновьева, Каменева, Рязанова, Бухарина и других.

Революция, как известно, не театральная постановка, которая начинается с ежедневных репетиций, а после генерального прогона завершается широко разрекламированной премьерой. Однако в сентябре 1917 года в Петрограде казалось, будто люди именно этого и ожидают. Считалось, что в создавшейся тяжелой ситуации большевикам ничего не остается делать, как свергнуть правительство, каков бы ни был его состав, — с кадетами или без них — и независимо от того, является ли Керенский на самом деле корниловцем или нет. Даже от богатых коммерсантов и помещиков не удивительно было услышать рассуждения о том, что у большевиков, безусловно, имеются сейчас все шансы захватить власть и даже более того — услышать упреки в медлительности.

* * *

Первые письма Ленина о восстании прибыли в Петроград недели через две после разгрома корниловского

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, с. 241.

мятежа, как раз к открытию Демократического совещания. После длительной процедуры аккредитации я получил наконец пропуск на это совещание и теперь сидел в ложе прессы с Ридом и Бесси Битти, обмениваясь последними новостями и впечатлениями. Похоже было, что не только мы, но и другие корреспонденты ничего путного от этого тщательно подготовленного совещания не ожидали. Совещание было созвано по инициативе меньшевиков и эсеров, чтобы подстегнуть симпатии к Временному правительству, так как собравшееся за месяц до этого в Москве Государственное совещание оказалось, по существу, форумом сторонников Корнилова, а не Керенского.

Тогда в страхе перед растущей реакцией «умеренные», пытаясь умиротворить ее, не пригласили большевиков на московское совещание и получили то, что заслужили, — произошел еще больший сдвиг вправо, в поддержку военной диктатуры. На Государственном совещании в Москве тон задавали такие люди, как московский банкир и миллионер, организатор переговоров с Корниловым Павел Рябушинский, который за несколько дней до Государственного совещания, выступая на съезде представителей торговли и промышленности, заявил, что «костлявая рука голода» приведет народ «в чувство». Россия «станет свободной», провозгласил он, но «спасти русскую землю могут только торговцы».

Слушая краем уха выступления делегатов Демократического совещания, мы с Ридом обсуждали последние сообщения «устного телеграфа» о двух письмах Ленина по поводу необходимости вооруженного восстания. Нам говорили, что в этих письмах Ленин призывает к созданию правительства без буржуазии, а если это невозможно — к организации вооруженного восстания. Позже мы узнали, что в одном из последующих писем он сформулировал сущность проблемы так: или диктатура Корнилова, или диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства.

Окидывая взглядом огромный зал Александринского театра, где проходило совещание, Джон саркастически заметил:

— Хотя на этот раз они и допустили большевиков, все равно здесь слишком много профессоров, соглашателей и прочих разных умников, которые воображают, что им известно, в чем благо народа. Говорят, Ленин

добивается, чтобы Советы сами сформировали правительство.

— Да, но здесь-то этого не добьешься, ты же видишь, что за публика сидит в зале.

Поразительно, насколько изменилась обстановка по сравнению с той, что я застал по приезде, три месяца тому назад! Сегодня слово «Советы» стало почти равнозначно слову «большевики». А тогда оно означало обычную европейскую социал-демократию, знакомую нам по Стокгольму. Так же, как и везде в Европе, социалисты считали себя обязанными оказывать поддержку своим правительствам в войне. Для этого им пришлось забыть об интернациональном братстве пролетариата и о революции. А так как они продолжали при этом разглагольствовать о социализме, то стали самыми лучшими, самыми ценными помощниками буржуазии. Всего немецкого, французского или английского золота не хватило бы, чтобы оценить по достоинству их заслуги. А здесь они теперь не стоили и ломаного гроша: народ раскусил их до конца.

Мы уже знали, что большевики обсуждали ленинские письма, до нас дошли слухи и о его третьем письме в ЦК. Однако никакие слухи не могли удовлетворить Рида. Как бы раздобыть это письмо?

— Я бы дал слово, что сохраню его в тайне, — сказал он.

Я рассмеялся:

— Попробуй заикнуться об этом перед Восковым, или Володарским, или Петерсом, или перед кем-нибудь еще из наших знакомых.

Мне было почти жалко Керенского, когда он, поднявшись на трибуну, начал свою длинную речь. Вот, думал я, стоит человек, который каждое утро просыпается в постели Александра III, подходит к зеркалу в роскошной царской спальне и видит перед собой высокую моложавую фигуру и одутловатое лицо человека, случайно оказавшегося на посту премьера, человека, абсолютно ничем не примечательного, если не считать упрямства, с которым он продолжает считать себя спасителем революции. Он между тем произносил гладкие, красивые и пустые фразы, его голос то поднимался почти до истерического визга, то опускался до еле слышного шепота. Он делал отчаянные попытки остановить прилив. Лицо его побледнело, глаза уставились в какую-то

точку над головами слушателей, страх, который он испытывал, отказываясь в том признаться, запечатлелся в чертах его лица.

Так же как «буржуи», он был в полной панике перед лицом надвигающейся бури. Паника парализовала его умственные способности, и он не знал, куда теперь поворачивать — направо или налево. Бедный Керенский! Октябрь вверг его в состояние перманентного шока, из которого он так никогда и не вышел, о чем свидетельствует все его поведение с 1917 года до наших дней.

Тогда Керенскому было 34 года. Его речь достигла кульминационного пункта: он объявил об отмене ненавистного закона о смертной казни. Итак, даже ему в конце концов стало ясно, что, подписав 12 июля декрет о введении смертной казни на фронте, он совершил трагическую ошибку.

— Неужели он не понимает, что это теперь ему все равно не поможет? — сказала Бесси Битти.

— Наверное, он решил, что «чернь» представляет бо́льшую опасность, чем военные, а поэтому лучше отказаться от применения силы. Только надолго ли?

— Смотрите-ка, он действительно не говорит, как раньше, о применении силы против бунтующих крестьян, — добавил я.

Демократическое совещание выглядело довольно глупой комедией. Сначала делегаты проголосовали за коалиционное правительство. (Все министры подали в отставку еще в ночь на 26 августа. Первыми это сделали кадеты, которые не хотели оказаться в дурацком положении в случае победы Корнилова или быть причастными к его провалу. За кадетами последовали остальные по причинам, которые так и остались для нас неясными, а формально из-за того, что Керенский требовал для себя чрезвычайных полномочий в борьбе с Корниловым.) После чего прошла — с большим, надо сказать, трудом — поправка о невключении кадетов в состав правительства. Но так как это означало, что в правительстве останутся одни социалисты, а Керенский отказался возглавить правительство, если оно не будет коалиционным, то делегаты значительным большинством голосов отвергли резолюцию в целом. Кончили тем, что учредили — как будто они имели право что-либо учреждать! — Совет республики, или Предпарламент, оговорив, правда, — хватило все-таки совести! — что

это будет чисто консультативный, а не законодательный орган, не обладающий никакой властью. Опять закрутилась все та же испорченная пластинка, хриплыми звуками которой тщетно пытались заглушить рев революционной бури. Родилась четвертая по счету и еще более бесплодная коалиция.

Вслед за делегатами мы потянулись к выходу. В скверике, напротив театра, мы задержались у памятника Екатерине II. Со скипетра, который она держала в руке, свисал, трепыхаясь на ветру, выцветший от солнца и полинявший от дождей кусок красной ленты.

Снова побежали беспокойные дни. Стремясь ничего не пропустить и всюду поспеть, мы с Ридом носились от Зимнего дворца к Смольному, из американского посольства на Выборгскую сторону и опять в Смольный, чтобы разыскать своих переводчиков, разобраться в газетных сообщениях и отсеять главное из несметного множества самых противоречивых заявлений.

Вместе со всей столицей мы не смыкали глаз, ежечасно и ежеминутно ожидая: вот-вот что-нибудь произойдет, вот-вот начнется. Это состояние неопределенности и возбужденного ожидания было похоже на лихорадку.

Еще в апреле Ленин, отвечая своим критикам, которые объявили Апрельские тезисы призывом к анархии и отходом от предыдущей программы большевиков, выдвинутой сразу же после Февральской революции, отмечал, что история, в общем, подтвердила правильность целей и идей большевиков, но конкретно обстоятельства повернулись иначе, чем можно было ожидать, более оригинально, более своеобразно, более сложно.

Теперь жизнь на каждом шагу доказывала нам, насколько она действительно «оригинальней любой теории».

Вполне реальной была и угроза анархии. Дух готового сорваться с цепи насилия ощущался почти физически. Но ничего пока не происходило. После подавления корниловского мятежа у рабочих и матросов остались сотни тысяч винтовок. Только на одном Путиловском заводе 40 тысяч рабочих ждали сигнала к выступлению. Рабочий коллектив гранатного завода почти весь целиком вступил в Красную гвардию. Накаленной была атмосфера и на заводах Рено, Лаферна, Сестрорецком, Обуховском. Когда месяц назад в Москве проходило Госу-

дарственное совещание, московские рабочие организовали по всему городу забастовки в знак протеста против созыва совещания без большевиков. Теперь же рабочие чувствовали себя настолько сильными, что им было абсолютно безразлично, чем кончится Демократическое совещание. Они ничего от него не ожидали. Каждый день после работы красногвардейцы учились маршировать, стрелять и колоть штыком или обсуждали вопросы тактики и продовольственное положение в столице. Они ждали сигнала.

Мы были уверены, что красногвардейцы первыми получат этот сигнал, поэтому особенно внимательно следили за ними.

— Много ли народу вступает в ваши ряды? — спросил я бородатого рабочего, стоявшего с группой товарищей во дворе завода в ожидании инструктора. У всех в руках были винтовки, рядом с пожилыми рабочими стояли совсем юные подмастерья.

— Да теперь уж почти никто не вступает, — ответил он, глядя на меня с самым невозмутимым видом.

Удивление, разочарование и даже досада не могли не отразиться на моем лице: чем ближе к Октябрю, тем больше мы с Ридом чувствовали себя кровно заинтересованными в восстании и ревниво следили за всеми элементами его подготовки.

Бородач неожиданно улыбнулся и, как бы прощая мое невежество, снисходительно добавил:

— Видишь ли, товарищ, вступать-то больше некому: почти весь завод пошел в Красную гвардию еще в конце августа. Кого же прикажешь теперь принимать? Хозяина, что ли?

— А где находятся винтовки, когда вы работаете?

— У кого где. Мы, наладчики, ставим их прямо у станков и рядом вешаем амуницию. А в кузнечном цехе ставят все винтовки в один угол, а амуницию держат на себе. В общем, все в боевой готовности. Но к нам не придерешься. Мы делаем свое дело, соблюдаем полный порядок. Зато, когда наступит час, мы не проспим и не подведем.

Было совершенно ясно, что он подразумевает под словами «наступит час».

Так было повсюду на Выборгской стороне. После июльских репрессий вооруженные отряды рабочих, которые назывались Рабочей гвардией, Красной гвардией

или Красным патрулем, спрятали свое оружие и перешли в основном на нелегальное положение в смысле проведения собраний и приема новых членов. В этих условиях ряды красногвардейцев, естественно, поредели. Но уже с начала августа их численность стала резко возрастать, оружие держали открыто.

Кризис полупарализовал целые районы города. Даже в центре вокруг Зимнего дворца уличное движение казалось гораздо слабее обычного. Публичные речи Керенского уже не собирали на площадь толп народа, и даже новая дворцовая гвардия проявляла к нему все большее и большее невнимание, сознавая, очевидно, что его и их время кончилось. А рабочие районы бурлили многотысячными митингами у заводских ворот, шумными собраниями в цехах и оживленными дискуссиями на каждом перекрестке. Длинные очереди перед булочными и продуктовыми лавками в одну минуту превращались в стихийные демонстрации, как только проносился слух, что продукты или хлеб кончились. Однако, несмотря на предельно накаленную атмосферу и на то, что заводы и фабрики стали похожими на военные лагеря, в городе сохранялся определенный порядок, не тот порядок, какой понимают под этим словом немцы, а обычный саморегулирующийся беспорядок, который в России сходил за порядок. Бородатый рабочий с гордостью сказал, что они делают свое дело, то есть пока не вступают в конфликт с администрацией. Но на многих заводах рабочие бросали открытый вызов хозяевам, который принимал иногда довольно своеобразные формы: директора или управляющего сажали в тачку и выбрасывали за ворота фабрики. В обстановке, накаленной отчаянием и страстями, любая мелочь могла вызвать расправу над несчастным администратором, так же как любая случайность могла его спасти.

Ясно было одно: переход власти в новые руки, что является смыслом революции, фактически произошел. Оставалось только назначить день восстания, которое формально подтвердит этот переход.

В полупустых залах Зимнего дворца обитала лишь видимость власти. Настоящая власть находилась теперь в Смольном институте, где ни на минуту не затихала жизнь и до утренней зари ярко светились окна. Но за этими окнами все ночи напролет продолжались бесконечные споры и дискуссии в связи с ленинскими пись-

мами о восстании. А днем старинные коридоры гудели от топота тысяч ног — каждый час сюда прибывали новые группы рабочих в черных куртках, делегаты с фронта в заляпанных грязью шинелях, отряды матросов в щеголевато сдвинутых набекрень бескозырках.

Мы с Ридом, будучи уже к тому времени горячими сторонниками восстания, страшно тревожились, что большевики упустят момент и правительство сумеет подготовиться и найти способ подавить восстание. Мы спрашивали Янышева, Володарского, Воскова и других: «Чего вы ждете? Чтобы Керенский открыл ворота кайзеру?» Однажды мы поймали Петерса и, образно говоря, схватили его за горло. Бесси Битти сказала нам, что он ездил к Ленину в качестве связного. Послушай, сказали мы ему, мы, конечно, не разбираемся в вопросах тактики, но ведь нам известно, что Ленин эти дни ни о чем больше не пишет, кроме как о вооруженном восстании. Почему же нет ни звука о восстании, ни намека? Сколько можно морочить голову? Неужели вы не боитесь, что рабочие и вас сочтут такими же болтунами, какими они считали меньшевиков и эсеров?

Петерс наконец взорвался:

— Чего вы от меня хотите? Чтобы я передал вам копию нашего секретного плана! Составляйте сами свои прогнозы. Могли бы, кстати, сообразить, что сейчас только восстание сможет обеспечить победу Советской власти. И Ленин надеется, что члены партии это поймут. Мы снова поднимаем лозунг: «Вся власть Советам!» И это в настоящих условиях означает именно власть Советов.

Слова Петерса несколько отрезвили нас, но удовлетворить не смогли. Как всегда, от затянувшегося ожидания в первую очередь страдает боевой дух. Во всяком случае, наш боевой дух начал падать. То же самое происходило, наверное, и с массами, по уши сытыми словами и обещаниями. Настроение у нас было неважное. Предположение, которое мы так смело бросили в лицо Петерсу лишь для того, чтобы заострить наш вопрос о том, что Керенский может открыть ворота немцам, теперь уже не казалось нам таким абсурдным. Особенно после встречи с некоторыми знакомыми Гамберга. Этот странный человек, любитель острых ощущений и

пикантных ситуаций, гордился тем, что имеет доступ в самые разнообразные круги общества. Он с большим удовольствием пародировал изысканные манеры старых аристократов, его сардонический юмор находил богатую пищу в их смехотворной приверженности к нормам поведения, которые в разгаре революции выглядели просто бесчеловечными. Еще большее наслаждение доставляли ему откровенные в своем ненасытном стяжательстве нувориши, загребавшие бешеные деньги на спекуляции, и к одной из таких личностей он как-то уговорил нас пойти в гости. Для нашего образования, сказал он, будет весьма полезно познакомиться с теми, против кого направлена революция, а кроме того, можно вдоволь наесться черной икры и всяких других вкусных вещей.

Кроме нас троих (Рида, Гамберга и меня), за столом сидело одиннадцать человек. Как и обещал Алекс, разговоры были удивительно откровенными. Отец семейства, например, искал жениха для своей овдовевшей дочери и, набивая ей цену, расписывал достоинства поместья, которое он приобрел — на ее имя, конечно, — в одной из черноземных губерний. Однако теперь, когда всюду хозяйничают большевики и есть опасность, что вступит в силу новый закон, запрещающий продажу земли, он хотел бы заполучить себе в зятья какого-нибудь иностранца, чтобы перевести поместье на него. Поймав на себе вопросительный взгляд, Рид с притворным вздохом сообщил, что уже связан узами святого таинства брака, а затем, поклонившись в мою сторону, сладким голосом заметил, что я холостяк.

Во время чая заговорили о возможности вторжения немцев в Петроград. И снова их откровенность доходила почти до наивности.

Перспектива немецкого владычества представлялась им хотя и печальной, но желательной, однако они все еще не были уверены в ее реальности. Я не осмеливался взглянуть на Гамберга или Рида. Не поднимая глаз от своей тарелки и делая вид, будто целиком поглощен ее содержимым, я промямлил что-то насчет того, что им вроде бы не на что жаловаться: живут они в роскоши и комфорте, едят чудесное мясо, пьют хорошее вино.

— Вы можете не любить Керенского или Ленина, но я слышал, что Германия и немецкая армия голодают.

Не отберут ли они у вас все это? — И я широким жестом показал на богатый стол, украшенный свечами, на серебро и хрусталь, дорогие ковры и огромную вазу с фруктами — настоящими апельсинами и персиками, которых я не видел уже четыре месяца.

— Лучше немцы, чем Ленин и большевики! — с металлом в голосе произнес один из гостей, сидевших напротив.

Чтобы разрядить обстановку, кто-то предложил провести голосование — «кайзер Вильгельм или Ленин?». Скорее всего автором «референдума» был Алекс: очень уж это соответствовало его извращенно-мрачному юмору. Алекс решил увести нас от греха подальше. Он был наслышан о боксерских талантах Рида и знал, чем кончались иногда подобные встречи.

В вестибюлях дорогих отелей теперь всегда толпилась богато разодетая публика. Помещики из провинции готовились к бегству. Бежали они не столько от опасности немецкого вторжения, сколько от готовящегося восстания. Когда бы я ни возвращался в «Асторию», где одно время снимал номер, я встречал этих господ и их жен, слетевшихся сюда, как стая птиц, которые присели на дерево передохнуть перед дальним перелетом. Некоторые из них остаток своей жизни проведут в изгнании, и я еще много лет спустя буду встречать этих людей где-нибудь в нью-йоркской публичной библиотеке, ожесточенных, тоскующих, озлобленных и опустошенных.

В Смольном между тем продолжались дебаты по поводу взятия власти. Даже нас, которые ничего не решали, это нервировало. Прошел сентябрь, день за днем потянулся октябрь. Неужели эти споры, думали мы, так никогда и не кончатся? Курок давно взведен, все напряженно ждут выстрела, а выстрела все нет, будто некому спустить курок.

Толпы людей на улицах, но в отличие от июльских дней никаких демонстраций, ни стихийных, ни организованных, и никакой стрельбы со стороны солдат и полиции. Под контролем большевиков не только заводские районы, но и петроградские казармы. И здесь и там в их руках оружие. Солдаты в худшем случае будут сохранять нейтралитет. Красная гвардия жаждала действий. Керенский не осмеливался отдать приказ об отправке на фронт частей Петроградского гарнизона.

Да и кто подчинится этому приказу? Не может он вызвать с фронта и «верные» правительству войска. Если уж «дикая дивизия» не устояла перед большевистским словом и отступила от ворот Петрограда, не дождавшись даже выстрела красногвардейцев, вставших на защиту города, то на кого мог он еще рассчитывать?

Ленин продолжал неустанно призывать к вооруженному восстанию. В течение всех последующих десятилетий, да и по сей день, в огромном потоке литературы о Ленине, вышедшей в Соединенных Штатах, его изображают безжалостным диктатором, единоличным хозяином беспрекословно подчиняющейся ему монолитной партии, которая захватила власть в России вопреки воле народа. Однако даже самое поверхностное изучение ленинских писем о восстании доказывает обратное. Он умолял, убеждал, доказывал, его язык становился все более резким, но из-за сопротивления некоторых деятелей Центральный Комитет по-прежнему не принимал решения. Ленин жаловался, что его держат в полном неведении и что редакторы центрального партийного органа выбрасывают целые абзацы из его статей.

За резкостью тона все явственнее ощущалось мучительное опасение, что, пока он оторван от масс, его товарищи упустят возможность совершить победоносную революцию.

В первом письме о восстании он писал: «Вопрос идет не о «дне» восстания, не о «моменте» его в узком смысле. Это решит лишь общий голос тех, кто *соприкасается* с рабочими и солдатами, с *массами»* *. Но как услышать этот голос, если ленинские предложения откладываются? Стоит ли поэтому удивляться серьезной озабоченности Ленина именно «днем» и «моментом», после того как ему стало известно, что присутствовавшие 15 сентября на заседании члены Центрального Комитета не приняли никакого решения по его двум письмам и что единственным практическим действием было голосование против внесенной Каменевым резолюции об уничтожении всех экземпляров писем и сокрытии от партии их содержания.

Письма и статьи с нарастающей силой били в разные точки и с разных сторон, загоняя в угол слабодуш-

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, с. 240.

ных членов в ЦК, но они сдавались лишь тогда, когда Ленин стал угрожать крайней мерой: «Не взять власти теперь, «ждать»... ограничиться «борьбой за орган» (Совета), «борьбой за съезд» значит *погубить революцию.*

Видя, что ЦК оставил *даже без ответа* мои настояния в этом духе с начала Демократического совещания, что Центральный Орган *вычеркивает* из моих статей указания на такие вопиющие ошибки большевиков, как позорное решение участвовать в предпарламенте... — видя это, я должен усмотреть тут «тонкий» намек на нежелание ЦК даже обсудить этот вопрос, тонкий намек на зажимание рта, и на предложение мне удалиться.

Мне приходится *подать прошение о выходе из ЦК,* что́ я и делаю, и оставить за собой свободу агитации *в низах* партии и на съезде партии» *.

Это было написано 29 сентября в VI, единственно секретной главе статьи «Кризис назрел». Первые пять глав, как указал Ленин, предназначались для публикации, а VI «для раздачи членам ЦК, ПК, МК и Советов». С точки зрения секретности слишком широкий круг!

Зато это, в частности, объясняет, почему задолго до Октябрьской революции ее перспективы, все «за» и «против» так широко и открыто обсуждались не только в большевистских кругах сверху донизу, но даже среди тех, кто не был коммунистом. И если бы не мужество и проницательность Ленина, не побоявшегося вынести на суд партии свои разногласия с ЦК, Октябрьская революция, может быть, так и не произошла бы.

К чувству опьянения, которое мы с Ридом испытывали в эти предоктябрьские дни, примешивалась теперь некоторая доля растерянности. Нам сказали, что даже среди большевистских руководителей среднего и низового звеньев начались колебания, кое-кто из них поддался доводам Каменева и Зиновьева, возражавших против немедленного захвата власти. Когда же прошел слух, что на их сторону встал Луначарский, мы впали в полное уныние и решили, что это конец, — все опять ограничится одними разговорами. (Слух оказался ложным, но газеты так упорно его распространяли, что Луначарскому пришлось выступить с официальным опро-

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, с. 282.

вержением. Это было уже в октябре.) Наконец 7 (20) октября в газете «Рабочий путь» («Правда» по приказу Керенского была закрыта) появилась ленинская статья «Кризис назрел». (Были опубликованы первые три главы и пятая под цифрой IV. Четвертая вообще была опущена.)

Ожидание съезда Советов, говорилось в статье, когда вожди его «...Центрального Исполнительного Комитета ведут правильную тактику защиты буржуазии и помещиков», есть измена пролетарскому делу, предательство «...немецких революционных рабочих, начавших восстание во флоте... Ибо интернационализм состоит не в фразах... не в резолюциях, а в *деле»*, измена крестьянству, «...ибо терпеть подавление крестьянского восстания... значит *губить* всю революцию, губить ее навсегда и бесповоротно» *. (В VI, «секретной», главе Ленин выразился еще резче: «...«ждать» съезда Советов есть *полный идиотизм* или *полная измена*... Имея оба *столичных* Совета, дать подавить восстание крестьян значит *потерять* и *заслуженно потерять* всякое доверие крестьян...» **.)

Считая аграрный вопрос в России фундаментальным вопросом революции, Ленин писал: «Перед лицом такого факта, как крестьянское восстание, все остальные политические симптомы, даже если бы они противоречили этому назреванию общенационального кризиса, не имели бы ровнехонько никакого значения» ***. Победа правительства над крестьянским восстанием теперь окончательно бы похоронила революцию.

Ко мне стали возвращаться уверенность и вера. Читая настойчивые ленинские указания на первостепенную важность крестьянского восстания, я, помимо всего прочего, испытывал какую-то странную личную радость. Ведь теперь у Ленина нет ни слова о «мелкобуржуазном» характере крестьянства. Ну, держись, Янышев, думал я, предвкушая удовольствие, с которым задам ему вопрос: «Как же насчет революционной отсталости крестьян?» Рид посмеивался над моими восторгами и изображал в лицах предстоящую встречу Янышев — Вильямс. У него было несколько вариантов этой сцены,

* В. И. Ленин. Полн собр. соч., т. 34, с. 279—280.
** Там же, с. 281.
*** Там же, с. 277.

и один из них заканчивался тем, что Янышев, почтительно склонив голову, говорил Вильямсу: «Признаю твое превосходство как марксиста и обязательно скажу об этом Ленину».

— Впрочем, — добавил Рид, — ничего из этого не выйдет: сразу же обнаружится, что ты никогда не работал на молотилке, а в познании марксизма не продвинулся далее первой главы первого тома «Капитала». Так что, милый друг, не быть тебе народным комиссаром сельского хозяйства. Придется подыскивать другую работу.

Когда наконец я встретился с Янышевым, было не до спора. Мой боевой пыл несколько поостыл, да и достаточно было мне взглянуть на его осунувшееся лицо, чтобы отпала всякая охота к поддразниванию. Я только спросил, почему даже теперь, после всего того, что написал Ленин, опять ничего не происходит. С раздражением, несвойственным моему дорогому, терпеливому Янышеву, он ответил:

— Все это не так просто. Мы, то есть низовые кадры, за Ленина. Не все пока, но большинство из нас. А вот в Центральном Комитете — дело другое. Правда, на них сейчас жмут снизу районные организации, особенно Выборгская. — И он умчался на какое-то очередное заседание.

От других русско-американских друзей мы узнали, что Крупская, которая была в то время членом Выборгского районного комитета, куда были избраны почти одни большевики, и преподавала в вечерней школе, часто читала для членов районного комитета отрывки из ленинских писем. Рабочие, естественно, задавали вопросы, требуя ответов. Ленин старался использовать все средства, чтобы прорвать создавшуюся завесу молчания. О настроениях рабочих-партийцев никто не знал больше Надежды Константиновны. Не случайно эта мягкая, спокойная, скромная и чуткая женщина избрала местом своей работы Выборгский район. Так же как во время революции 1905 года, она находилась в самой гуще пролетариата и безошибочным чутьем понимала, чего хотят рабочие и солдаты. Свои выводы и наблюдения она передавала находящемуся в подполье Ленину.

Отсутствующий вождь партии уже дважды не смог добиться в Центральном Комитете проведения нужной линии. Допуская первоначально возможность использо-

вания Демократического совещания, он затем был против участия большевиков в нем, а потом и в Предпарламенте. Однако они участвовали и в том, и в другом, и только после того как убийственная ленинская критика стала известна более широким партийным кругам, Центральный Комитет решил отозвать большевистских делегатов из Предпарламента. 9 октября представители большевиков покинули здание. Этот шаг был совершенно правильно расценен как «приглашение к восстанию».

Накануне Ленин написал письмо питерским товарищам, участникам областного съезда Советов Северной области, выполняя тем самым угрозу апеллировать непосредственно к рядовым членам партии. После этого своего заявления об «отставке» он имел право действовать, минуя официальные партийные каналы.

Ленин всегда оставался учителем — он и в письме, озаглавленном «Советы постороннего», напоминал слова Маркса о том, что вооруженное *«восстание, как и война, есть искусство»*, и изложил пять правил этого искусства, выставленных Марксом. Правило 4-е гласило: «Надо стараться захватить врасплох неприятеля...» * Ленин был далеко не наивным человеком. Он прекрасно понимал, насколько незначительную роль в восстании, коль скоро оно произойдет, будет играть элемент неожиданности, и, конечно, ему важнее было оказать давление на Центральный Комитет, чем сохранить тайну, — иначе зачем бы он стал обращаться к таким широким кругам партии?

Даже тактические задачи, которые он ставит в этом письме, кажутся слишком сложными в свете той относительной легкости, с какой в действительности произошло свержение правительства в Петрограде. Я подозреваю, что дело здесь не в переоценке сил «противника» и его способности к сопротивлению, скорее всего Ленин со свойственной ему проницательностью понимал, что чем подробнее будут планы и боевые тактические задачи восстания, чем шире они будут обсуждаться воинственно настроенными большевистскими делегатами, включая всегда готовых к действию революционных матросов, тем легче будет преодолеть колебания некоторых большевистских лидеров.

Приведу две цитаты из этого письма. По первой ци-

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, с. 383.

тате видно, как Ленин старательно избегал критиковать Центральный Комитет перед рядовыми партийцами, участниками областного съезда Советов Северной области, который должен был открыться 10 октября. Вторая цитата показывает, что одним из главных условий осуществления предложенного им плана он считал смелость.

«Что вся власть должна перейти к Советам, это ясно... Остановиться надо на том, что едва ли вполне ясно всем товарищам, именно: что переход власти к Советам означает теперь на практике вооруженное восстание. Казалось бы, это очевидно, но не все в это вдумались и вдумываются...

Маркс подытожил уроки всех революций относительно вооруженного восстания словами «величайшего в истории мастера революционной тактики Дантона: смелость, смелость и еще раз смелость».

В применении к России и к октябрю 1917 года это значит: одновременное, возможно более внезапное и быстрое наступление на Питер, непременно и извне, и изнутри, и из рабочих кварталов, и из Финляндии, и из Ревеля, из Кронштадта, наступление *всего* флота...» *

«Успех и русской и всемирной революции зависит от двух-трех дней борьбы» **.

В тот же день, 8 октября, Ленин пишет второе письмо к товарищам большевикам, участвующим в областном съезде Советов Северной области, в котором призывает «немедленно разбить корниловские полки»... которые «Керенский снова подвел... под Питер». Это письмо кончалось словами: «Промедление смерти подобно» ***.

Мы с Ридом 8 октября выступали на Обуховском военном заводе. Если бы мы знали тогда содержание этих двух писем, мы были бы лучше вооружены для тех разговоров, которые состоялись у нас после официального митинга. Наши выступления почти не выходили за рамки обычного приветствия от американских социалистов, но меня в который раз поразило отношение слушателей к таким выступлениям: каждое слово каза-

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, с. 382—383.
** Там же, с. 384.
*** Там же, с. 389, 390.

лось им необыкновенно важным. Митинг был весьма внушительным — в недостроенном цехе завода набилось около 10 тысяч рабочих, не только мужчин, но и женщин. Среди ораторов были один из наших русско-американских друзей, член заводского комитета Петровский, и замечательный оратор, высокообразованный критик и поэт Луначарский. Речь Луначарского отличалась такой же простотой и ясностью, как и его лекции по искусству, которые мне уже довелось слышать, и была лишена какого бы то ни было оттенка снисходительности к аудитории. Речь Петровского частично была записана Ридом. Одна из фраз заканчивается словами: «Но пусть враги знают, что они могут зайти слишком далеко, если они осмелятся прикоснуться к нашим пролетарским организациям, мы сметем их с земли, как сор!»

После митинга мы, как обычно, задержались, чтобы поговорить с отдельными рабочими или небольшими группами людей, стремясь выяснить их настроение и образ мысли. Один немолодой рабочий, умный и, судя по всему, довольно грамотный, поднял очень интересный вопрос. Толпа разошлась, нас осталось несколько человек. Рабочий открыто заявил, что большинство людей на их заводе, измученных полуголодным существованием и неопределенностью, «могут разочароваться и в вас» (то есть в большевиках), как уже разочаровались во Временном правительстве. Они готовы по малейшему сигналу выйти на улицу, но его беспокоит, с каким настроением они выйдут: ведь ими во многом движет отчаяние. Может ли социалистическая революция при таких условиях быть уверенной в людях?

Не помню, как мы ответили на этот вопрос, помню только, что, возвращаясь домой на допотопном, донельзя истрепанном паровичке, мы снова заговорили на эту тему, и Рид сказал, что ни черта мы не могли ответить, что мы вообще ничего не знаем и ни на что не годимся. Он впал в одно из своих мрачных настроений, когда он становился болезненно самокритичным, язвительным и малоразговорчивым.

Впоследствии мы узнали, что в тот самый день Ленин написал следующее: «Есть признаки роста апатии и равнодушия. Это понятно. Это означает не упадок революции, как кричат кадеты и их подголоски, а упадок веры в резолюции и в выборы... Близится момент, когда в на-

роде может появиться мнение, что и большевики тоже не лучше других, ибо они не сумели *действовать* после выражения нами доверия к ним...» *

Как бы там ни было, на следующий день многотысячный митинг рабочих того же Обуховского завода закончился призывом к свержению буржуазного правительства и передаче всей власти Советам.

До сих пор, когда я перебираю в памяти те лихорадочные дни, мне кажется чудом, что Октябрьская революция все-таки свершилась тогда. Вернее, поскольку восстание — под руководством большевиков или без него — все равно бы произошло, чудом мне кажется то, что благодаря настойчивости Ленина, его непоколебимой воле партия преодолела свои внутренние разногласия и встала как единое монолитное целое во главе революции.

По свидетельству Крупской, 7 октября Ленин в парике, в очках и гладко выбритый прибыл в Петроград и поселился в одной из конспиративных квартир на Выборгской стороне. Через три дня он уже присутствовал на историческом десятичасовом заседании ЦК, созванном по его настоятельному требованию для обсуждения вопросов о вооруженном восстании.

Все остальное хорошо известно из истории, хотя в сухом официальном отчете не говорится, да и устно я ни от кого не слышал, как встретили Ленина 11 членов ЦК, большинство которых не видело его уже три месяца. (На этом заседании из 21 члена ЦК присутствовало вместе с Лениным 12 человек.) Мне также ничего не известно, был ли какой-либо ответ на его «прошение об отставке», — я нигде не нашел даже упоминания об этом.

В протокольной записи его доклада есть упрек товарищам за «равнодушие к вопросу о восстании». Обрисовав политическую обстановку, которая, по его мнению, вполне готова, он требует обсудить техническую сторону. «В этом все дело, — говорит он. И бросает еще один упрек: — Между тем мы, вслед за оборонцами, склонны систематическую подготовку восстания считать чем-то вроде политического греха» **.

За резолюцию о подготовке вооруженного восстания

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, с. 387.

** Там же, с. 392.

голосовало 10 человек: Ленин, Свердлов, Сталин, Дзержинский, Троцкий, Урицкий, Коллонтай, Бубнов, Сокольников и Ломов. Против двое: Зиновьев и Каменев.

Итак, Ленин бросил вызов. Однако вопрос о дне восстания решен не был. Ленин еще раньше во многих своих письмах из подполья настаивал, чтобы это было до открытия съезда Советов, назначенного на 25 октября (7 ноября). В Петрограде он по-прежнему вынужден был скрываться от полиции, но его борьба за сплочение партии и за подготовку к вооруженному восстанию продолжалась.

Последующие события, в том числе и появление в непартийной газете «Новая жизнь» статьи Каменева, оспаривающего решение ЦК, создают, если посмотреть на эти события с высоты прошедших десятилетий, совершенно фантастическую обстановку. Узнав о выступлениях Каменева и Зиновьева, Ленин в тот же день, 18 октября, пишет «Письмо к членам партии большевиков», в котором клеймит их поступок как «неслыханное штрейкбрехерство», а на следующий день в письме к ЦК требует их исключения.

Битва продолжалась вплоть до кануна революции.

Крупская оставила объективную запись о последних предоктябрьских днях, из которой, несмотря на всю сдержанность ее тона и скупость слов, перед нами встает драматическая картина обстановки. Ленина поселили на Выборгской стороне в квартире Маргариты Васильевны Фофановой, в большом доме на углу Лесного проспекта, где жили почти исключительно одни рабочие.

«К Ильичу ходило минимальное количество народу: ходили я, Мария Ильинична, был как-то товарищ Рахья». Курьерами Ленина были сама Крупская и Фофанова. Придя однажды вечером к Ленину, Надежда Константиновна увидела на лестнице парня, который с растерянным видом стоял у дверей квартиры. Это был двоюродный брат Фофановой, учившийся в каком-то военном учебном заведении. Он сказал Крупской, что в квартиру тетки кто-то забрался, — когда он позвонил, ему отозвался какой-то мужской голос, а потом, сколько он ни звонил, никто не подошел к двери. После ухода студента Крупская «принялась ругать» Ленина, который в свое оправдание ответил:

— Я подумал, что спешное.

Дальше Крупская пишет:

«24 октября он написал в ЦК письмо о необходимости брать власть сегодня же. Послал Маргариту с этим письмом, но не дождался ее возвращения, надел парик и пошел в Смольный; медлить нельзя было ни минуты». Той же ночью Крупская вместе с одной женщиной, товарищем по партии, ездила на грузовике в Смольный «узнать, как идут дела» *.

Во многих книгах рассказывается о том, как Ленин в сопровождении Рахьи добрался до Смольного. Для большей конспирации он повязал платком челюсть, будто у него болят зубы. Они сели в пустой трамвай — по одной из версий это был последний ночной рейс, — пересекли Литейный мост. С Выборгской стороны мост охраняли красногвардейцы. Ленин и его спутник вздохнули с облегчением. Последнюю часть пути они проделали пешком. В одном месте их остановил какой-то кадет. Рахья, отвлекая на себя внимание, притворился пьяным, а Ленин, не сбавляя шага, пошел дальше.

Отправляясь в ту ночь в Смольный вопреки предупреждениям товарищей о том, что ему еще слишком рано появляться на сцене, Ленин, безусловно, шел на большой риск. Его действия можно понять лишь в свете одной из последних жалоб, выраженных в письме Я. М. Свердлову, написанном 22 или 23 октября: «Как же это Вы ничего мне не присылаете???» Из другой фразы той же записки видно, что ему настоятельно советовали не приходить в Смольный до тех пор, пока революция не станет свершившимся фактом. «На пленуме мне, видно, не удастся быть, — пишет Ленин, — ибо меня «ловят» **.

Письмо членам Центрального Комитета, которое он послал с Фофановой, после чего, не дождавшись ее возвращения, сам отправился в Смольный, начиналось так:

«Товарищи!

Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое. Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании смерти подобно.

Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске, что на очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съездами (хотя бы даже съездами Советов), а исключительно народами, массой, борьбой вооруженных масс» ***.

* Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. М., 1968, с. 322.
** В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, с. 434.
*** Там же, с. 435.

Совершенно очевидно, что Ленин еще не знал об утреннем заседании ЦК, на котором было принято решение о немедленном выступлении, — его письмо отражает крайнее беспокойство и сомнение в решительности своих товарищей.

«Надо, во что бы то ни стало, сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство, обезоружив (победив, если будут сопротивляться) юнкеров и т. д.

Нельзя ждать!! Можно потерять все!!

...Было бы гибелью или формальностью ждать колеблющегося голосования 25 октября, народ вправе и обязан решать подобные вопросы не голосованиями, а силой; народ вправе и обязан в критические моменты революции направлять своих представителей, даже своих лучших представителей, а не ждать их.

Это доказала история всех революций, и безмерным было бы преступление революционеров, если бы они упустили момент, зная, что от них зависит *спасение революции*, предложение мира, спасение Питера, спасение от голода, передача земли крестьянам.

Правительство колеблется. Надо *добить* его во что бы то ни стало!

Промедление в выступлении смерти подобно» *.

Ленин до последнего часа, который явился первым часом революции, скептически относился к решимости большевистских руководителей, но его великая вера в творческие силы народа оставалась незыблемой. Он безошибочно определил срок революции, потому что обладал исключительной способностью читать мысли народа. Он никогда не принимал свои личные эмоции за настроение общества, но, как хороший барометр, всегда точно предсказывал изменение политической погоды. В конце апреля, когда партию захлестнула волна оптимизма, он боролся против иллюзий, заявляя: «Мы сейчас в меньшинстве, массы нам пока не верят. Мы сумеем ждать...» ** И если уж говорить о провидении, то не о каком-то там мистическом «втором зрении», а о способности, как сказали бы крестьяне, «видеть на два вершка под землей». Со студенческих лет он твердо и неуклонно шел к намеченной цели. В вопросах тактики труднее было найти менее косного и более гибкого человека

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, с. 435—436.

** В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 31, с. 346.

Даже в самые мрачные дни реакции, в 1912 году, Ленин ни на минуту не сомневался в победе революции. Поэтому теперь, накануне Октября, когда победа сама шла в руки, казалось, какие у него могли быть сомнения? Однако он ни минуты не сидел в спокойном ожидании победы, а сразу же с головой окунулся в работу, следя за каждой деталью плана вооруженного восстания. И самое характерное, что он работал в тесном сотрудничестве с руководителями партии, которых еще вчера подвергал уничтожающей критике и даже требовал исключения из партии, как это было с Каменевым. Он понимал, что, пока человеческая природа в корне не изменится, придется работать с теми людьми, какие есть, не ожидая от них ничего сверхчеловеческого...

В КАНУН ШТУРМА

В среду вечером 25 октября (7 ноября) Джон Рид, Луиза Брайант и я, боясь пропустить события, наскоро пообедали в отеле «Франс» и вернулись в Зимний дворец, где мы до этого пробыли весь день, расхаживая по залам на правах туристов. Организованной экскурсией нашу прогулку назвать было трудно, но никто не обращал на нас внимания. Когда у одного входа часовой с сомнением покачал головой, разглядывая наши пропуска, выданные Военно-революционным комитетом, мы просто пошли к другому входу и предъявили американские паспорта. Очевидно, в тот день никому, кроме нас, не пришло в голову осматривать Зимний дворец: от американских корреспондентов можно было всего ожидать. Нас тут же предупредили, что дворец с 10 утра окружен солдатами, красногвардейцами и матросами и в любой момент может начаться стрельба.

Выйдя на Дворцовую площадь, мы еще у арки Генштаба увидели, что ничего сенсационного пока не произошло. В окнах огромного дворца, построенного в XVIII веке, кое-где горел огонь. Стены, окрашенные в розовато-красный цвет, казалось, мягко светились в надвигающихся сумерках. Осенью в Петрограде темнота наступает рано. Было только начало шестого. Солдат и красногвардейцев вокруг дворца прибавилось, но все было по-прежнему спокойно и исполнено напряженного ожидания. Зимний дворец находился еще в руках приз-

рачного правительства, хотя министры и спрятались где-то во внутренних покоях, куда нас сегодня днем не пустили. Это, пожалуй, единственное, в чем отказали бесцеремонным американским корреспондентам. Под аркой, рядом с нами, группа красногвардейцев спорила с солдатами, которые не понимали причины задержки и сердито ворчали. Чего ждать? Надо идти и брать Керенского вместе со всей его бандой. Они, очевидно, не знали, что еще рано утром Керенский бежал из Зимнего в своем автомобиле, сопровождаемый машиной американского посольства с американским флажком на радиаторе. Бородатый красногвардеец отвечал недовольно:

— Нельзя нам пока наступать. Юнкера спрятались за бабьи юбки. Дворец охраняется женским батальоном. Газеты будут писать, что мы стреляли в женщин. И потом, товарищи, мы должны соблюдать дисциплину: никаких действий без приказа комитета.

Солдат такой ответ, видно, не удовлетворял. Они все еще спорили, когда мы, перешагивая через лужи, направились через Невский проспект к Смольному, где открывался II Всероссийский съезд Советов. У нас в кармане лежали билеты в Мариинский театр на новый балет с Карсавиной. Но кто мог сегодня думать о балете, о концерте выступающего в тот вечер великого Шаляпина или даже о мейерхольдовской постановке драмы Алексея Толстого «Смерть Иоанна Грозного»?

На Невском мы встретили много людей, у которых, судя по их одежде, тоже, наверное, были билеты в театр, но нам показалось, что настроение у них далеко не театральное.

Невольно подчиняясь ритму движения толпы, мы убавили шаг. На сердце у меня было легко и весело, в горле стоял комок радостного возбуждения. Я оглянулся вокруг. Все выглядело удивительно нереальным. Люди двигались по улице, глазея по сторонам, как туристы в незнакомом городе, толпились группами на углах улиц. На каждом перекрестке стояли красногвардейцы или солдаты, или те и другие вместе, небрежно закинув за плечи винтовки с примкнутыми штыками. Многие из тех, что прогуливались, принадлежали к уходящему классу. Пожилая дама, защищенная от сырого, холодного ветра собольим палантином, подошла к молодому красногвардейцу и погрозила ему пальцем. Я расслышал

слова: «...день позора». Красногвардеец улыбнулся дерзкой и снисходительной улыбкой. «Пусть себе буржуи беснуются, — говорила эта улыбка. — Сегодня наш день. Взошла наша звезда».

— Весь город вышел сегодня на улицу, — сказал Рид.

Когда в четыре часа утра мы покидали Смольный после бурного заседаиия старого, потерявшего авторитет ЦИКа, было ясно, что начинается настоящая революция. Большевики во главе с Володарским вышли из ЦИКа в знак протеста против резолюции, призывающей рабочих и солдат не устраивать демонстраций и требующей от Временного правительства передачи земли крестьянам и начала переговоров о мире. Это пустые слова, утверждал Володарский. ЦИК доживал последние часы. Никто не обратил внимания на эту резолюцию. Некоторые делегаты уходили с заседания с винтовками за плечами.

В то утро Зорин — один из большевиков — сказал нам, что уже посланы отряды для захвата Государственного банка и Центрального телеграфа и что самый крупный отряд солдат и красногвардейцев отправился на телефонную станцию, где ожидалось особо сильное сопротивление. У входа в Смольный выставили несколько постов. Сжимая в руках винтовки, красногвардейцы с любопытством посматривали на станковый пулемет, привезенный сюда, очевидно, только сегодня ночью. Элементарному обращению с винтовкой их научили, а вот что они будут делать с пулеметом? Не беда, всегда можно пустить в ход штыки. Холодную тишину раннего темного утра нарушил первый отчетливый звук винтовочного выстрела, потом откуда-то издалека послышались еще выстрелы, потом еще и еще — вооруженное восстание нарастало.

К середине дня в руках восставших были Николаевский и Балтийский вокзалы, Государственный банк и телеграф. Были также захвачены все основные правительственные здания. Оставался один Зимний дворец, но он был отрезан от внешнего мира, как только красногвардейцы и солдаты взяли Центральный телеграф и прервали связь. Все это совершилось без кровопролития и почти без сопротивления.

Были ли акты насилия? Мы видели на Невском, как солдат срывал погоны с офицера. Самого офицера он,

однако, не тронул. Помню и еще один акт «насилия», совершенный развязной, безвкусно одетой девицей. Впереди нас, семеня туфельками на высоких каблуках, шла почтенная дама в роскошной меховой накидке, которую она небрежно придерживала рукой, заглядывая в лицо своему спутнику. Неожиданно девица подскочила к ней и со словами: «Поносила и хватит! Дай другим поносить!» — сорвала накидку и исчезла в толпе. Никаких других случаев насилия мы не наблюдали.

Ближе к вокзалу толпа на Невском поредела. Мы решили ехать на извозчике, но, когда наконец нам попалась свободная коляска, ее хозяин, маленький, сморщенный старичок, отказался везти нас в Смольный. На серый город опускался туман, а вместе с ним какая-то странная легкая тишина, нарушаемая лишь стуком лошадиных копыт по брусчатой мостовой, да мягкий звон случайного трамвая. Мы пересекли Садовую и продолжали путь пешком, изредка перекидываясь незначительными фразами. Даже всегда общительный Джон не испытывал желания вести разговор. Многолюдный Невский остался позади, на пустынных, притихших улицах гулко раздавались наши шаги.

Оживление на Невском вовсе не означало, что в городе царило безмятежное спокойствие. По соседним улицам разъезжали броневики с пулеметами наготове. (Уже пять команд броневиков перешло на сторону большевиков.) Революция не могла бы произойти так организованно и, я бы даже сказал, с такой обманчивой обыденностью, если бы ей не предшествовала колоссальная подготовительная работа и тщательное продумывание дальнейших деталей. Кроме того, относительно спокойный ход восстания в Петрограде не означал, что так же спокойно было и в других местах. В Москве, например, восставшие встретили серьезное сопротивление, вызвавшее кровопролитные бои. Мы оказались в спокойной, центральной зоне бури. А в самом центре ее был Ленин. И не только в символическом смысле, как самая сознательная из сознательных сил, которые влились в ураган стихийного народного движения и дали ему направление. Ленин и в самом прямом, буквальном, смысле был в центре событий: «рабочий К. П. Иванов», скромно появившийся накануне в Смольном, держал в своих руках все нити восстания.

Некоторые западные историки изображают дело так,

будто Ленин не имел почти никакого отношения к практической стороне восстания. Это, конечно, печальный случай умышленного самоослепления, такое же безнадежное и бесславное дело, как и любые попытки переписать историю. Преуменьшить роль Ленина оказалось невозможно.

Насколько я могу судить, общий план, которым руководствовался Военно-революционный комитет, разрабатывая детали восстания 24—25 октября (6—7 ноября), был намечен Лениным в статье от 8 октября, озаглавленной: «Советы постороннего». Ленинский план предусматривал: «Окружить и отрезать Питер, взять его комбинированной атакой флота, рабочих и войска...» А это была задача, «...требующая *искусства и тройной смелости»* *.

В той же статье Ленин писал:

«Комбинировать наши *три* главные силы: флот, рабочих и войсковые части так, чтобы непременно были заняты и ценой *каких угодно потерь* были удержаны: а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции, г) мосты в первую голову» **.

Не только Ленин считал, что прежде всего надо захватить мосты. Так же, очевидно, думал и Керенский. Вот откуда те первые выстрелы, которые мы слышали, покидая Смольный. (Неужели это было сегодня утром? Правда, утро по-настоящему наступило лишь в полдень, но за это время произошло столько событий, что всякое деление времени казалось бессмысленным.) Выстрелы продолжались весь день. Воспитанники различных офицерских училищ, или, как их здесь называли, юнкера, разводили мосты, чтобы отрезать рабочим с Выборгской стороны путь к центру. Матросы снова их сводили.

22 октября моряки «Авроры» отказались нести охрану правительства Керенского и были заменены кадетами. Крейсеры «Аврора» и «Заря свободы» с пятью другими военными кораблями, пришедшими из Кронштадта, встали на рейд в Финском заливе. (Когда через два дня эти корабли принимали участие в свержении Временного правительства, офицеры, оставшиеся по просьбе матросов на кораблях, выполняли приказания судовых комитетов.)

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, с. 384.
** Там же, с. 383.

В сентябре я получил возможность близко познакомиться с матросами-большевиками. Теперь, когда первый день Октябрьской революции подходил к концу, я был готов согласиться с Янышевым, что это самые стойкие, классово сознательные революционеры.

В два часа дня мы отправились в Мариинский дворец, где должно было состояться очередное заседание Совета республики. Оно обещало быть весьма интересным, так как вчера даже этот Совет выразил Керенскому вотум недоверия, хотя он и объявил громогласно, будто отдал приказ об аресте всех большевистских руководителей, причастных к июльской демонстрации, и всех членов Военно-революционного комитета. У входа во дворец стояла большая группа матросов, другая группа сооружала баррикаду. Нам сказали, что пройти, конечно, можно, но не к чему. Все уже кончилось. Нет, никого не арестовали. Просто, когда моряки и солдаты Литовского и Кексгольмского полков появились во дворце и выстроились вдоль лестницы, «один из наших ребят-кронштадтцев вошел в зал заседаний и сказал: «Никакого совета больше не будет. Расходитесь по домам». И они разошлись».

Матросы были повсюду. По крайней мере, мне так казалось. Незадолго до этого я был гостем балтийских моряков в Гельсингфорсе и присутствовал на заседании Центробалта (Центрального комитета Балтийского флота, революционной демократической организации), которое проходило в роскошной кают-компании бывшей царской яхты «Полярная звезда». После этого у меня сложилось ошибочное представление, что каждый матрос должен обязательно быть большевиком. Естественно, что я, питая к ним повышенный интерес, в каждой группе вооруженных людей, греющихся у костра, среди часовых, охранявших правительственные здания, в первую очередь замечал матросов. Они бросались в глаза. Казалось, весь флот сошел на берег. На самом деле это было далеко не так.

Возвращаясь к ленинскому плану вооруженного восстания, следует сказать, что, хотя все намеченные объекты были захвачены, сил на это потребовалось меньше, чем предполагал Ленин, а собрать столько сил, сколько он считал необходимым для захвата этих объектов, оказалось затруднительно. Центробалт смог послать в Петроград только несколько эсминцев. Что касается

войск Северного фронта, которые могли бы в случае иужды прийти иа помощь восставшим рабочим, то число воиисках частей, открыто поддерживающих большевиков, ненамного превышало число иастроенных враждебно или нейтральных. На помощь восставшим рабочим Петрограда пришло не только меньше кораблей и матросов, но даже те отряды, которые должны были принимать непосредственное участие в штурме Зимнего дворца, прибыли в Петроград с опозданием. Но об этом мы узнали только вечером.

Подходя к Смольному, мы увидели, как несколько лучей прожекторов, прорезав темноту ночи, заскользили по светло-желтым стенам здаиия, то пропадая в потоке света, льющегося из его высоких окои, то выхватывая из мрака лепиые украшеиия под крышей. Забавно, что в момент, когда изменялся ход истории человечества, мие вдруг в голову пришла такая мысль: не парадокс ли, что самым красным зданием в Петербурге был в это время Зимний дворец, а Смольный в ярких лучах прожекторов казался самым белым. Вдоль улицы напротив Смольного стояли броневики с включенными моторами. За рулем — красногвардейцы или матросы. На площади около штабелей дров, которые в случае надобности можно было превратить в баррикады, поставили трехдюймовое орудие. Все эти приготовления были сделаны вчера ночью, после того как Керенский дием 24 октября (6 иоября) отдал приказ о захвате Смольного. Однако батальон солдат, который должен был выполнить этот приказ, так и не явился.

У самого входа в Смольный на широких ступеиьках лестиицы стояли пушка и несколько пулеметов. Вход охраияли вооруженные часовые.

Внутри царило возбужденное оживление. Было особеино миого рабочих в меховых шапках и с винтовками за плечами. В группе делегатов, спускающихся с лестницы, мы узнали Каменева, Луначарского и других. Только что закончилось заседание Петроградского Совета, которое длилось уже иесколько дней подряд. Впрочем, в эти дни, иачииая с 22 октября (4 ноября), казалось, заседал весь Петроград. На одном из собраний даже я выступал. Одиако самый большой интерес вызывал Второй съезд Советов, который через иесколько часов должеи был открыться здесь, в Смольиом. Джон пытался выясиить у Каменева, ие пропустили ли мы что-нибудь

важное; тот на ходу бросил несколько слов по-французски о только что принятой резолюции и поспешил дальше. Я обратился к Луначарскому. Он выглядел смертельно усталым: лицо осунулось, воротничок был помят, обычно аккуратно расчесанные усы и бородка взъерошены. Видно, он последние дни вообще не спал. Я решил не мучить его расспросами, сказал только, что мы были в Зимнем дворце, и спросил, скоро ли он будет взят.

— Бог его знает, — устало проговорил он. — Столько еще надо сделать.

Никому из нас не пришло в голову узнать, здесь ли Ленин. Когда немного погодя нам сказали о неожиданном приходе Ленина и его первом после почти четырехмесячного перерыва публичном выступлении, которое только что состоялось на заседании Петроградского Совета, Рид был вне себя от досады. Каменев даже не упомянул об этом! Подумать только, мы «прозевали» Ленина! Вспомнив, как удивился Рид, когда я недавно признался ему, что однажды уже упустил возможность увидеть Ленина, я сказал: «Этого человека довольно трудно найти не только когда он в подполье, но и когда он на свободе».

В одном из коридоров мы встретили Алекса Гамберга и Бесси Битти. Алекс знал все, что происходило в Смольном. Но Рид не любил ни о чем его спрашивать, чтобы не получить в придачу к ответу еще и несколько колкостей. У меня же не было профессиональной гордости, и я не побоялся признаться, что второй раз «прозевал» Ленина.

Для многих только что избранных членов Петроградского Совета, входящих в большевистское большинство, рабочих с Выборгской стороны, которые, возможно, и большевиками-то стали совсем недавно, это была первая встреча с Лениным. И мы ее пропустили!

Один из пунктов ленинского плана восстания, на котором он настаивал во всех своих статьях и письмах из подполья и который был утвержден на заседаниях ЦК большевистской партии, требовал, чтобы вооруженное восстание произошло до открытия II съезда Советов. Съезд должен быть поставлен перед свершившимся фактом. Никаких, конечно, опасений, что съезд может не поддержать резолюцию о восстании, не было и быть не могло; большевики к этому времени имели подавля-

ющее большинство в Советах. Но Керенский, зная, что съезд проголосует за восстание, мог послать войска окружить Смольный и силой помешать проведению съезда. Ленин всегда придерживался мудрого правила, что цыплят по осени считают. Он мог несколько переоценить силу большевиков во флотских и войсковых частях, расположенных в Финляндии, но он предполагал возможность неожиданного удара, так как было неясно, сколько казаков и солдат прибудет с фронта по приказу Керенского.

Открытие съезда, первоначально намеченное на 20-е, было перенесено на 25-е, так как меньшевики и правые эсеры все еще надеялись, что правительство, совершив какое-нибудь чудо, предотвратит переворот и захват власти большевиками. Именно этой отчаянной надеждой была продиктована последняя резолюция Предпарламента, требующая более решительных действий по вопросу о мире и передаче земли крестьянам. Однако она уже не могла спасти лицо Временного правительства. (Хотя Керенский, поставив вопрос о доверии, совершенно справедливо расценил эту резолюцию как вотум недоверия. Он заявил, что уходит в отставку, после чего Дан и другие соглашатели бросились его уговаривать, заверяя, что резолюция выражает ему поддержку.)

— Ну а все-таки какое значение имеет взятие Зимнего дворца? — добивалась ответа Луиза Брайант. — Ведь всем уже известно, что город полностью в руках большевиков. — И она стала рассказывать, как мы часа три почти беспрепятственно бродили по Зимнему дворцу, как она пыталась взять интервью у Керенского, но молоденький офицер, охранявший его кабинет, смущенно пробормотал, что премьер-министр занят. На самом же деле его в кабинете не было, он уехал на фронт.

Журнал «Метрополитен», который Луиза представляла, получит великолепный материал!

Гамберг усмехнулся:

— А вот Бесси считает, что революция произошла не вовремя. Сегодня в час дня у нее был намечен ленч с премьер-министром. Старик Фрэнсис тоже опечален отъездом Керенского, правда, у него есть некоторое утешение: как я слышал, он был счастлив оказать посильную помощь при этом отъезде.

Рид не мог больше сдерживать нетерпения.

— Я хочу знать, что сказал Ленин. Что он думает о задержке штурма Зимнего дворца? Он что-нибудь говорил об этом?..

Пытаясь предотвратить надвигающуюся ссору, я вернулся к вопросу Луизы Брайант и поставил его в такой плоскости, которая, я знал, заинтересует Рида:

— Правда ли, что Ленину пришлось потратить много сил, чтобы убедить ЦК в том, что удар необходимо нанести до съезда и обязательно арестовать Керенского и его сторонников.

— Ну вы, конечно, знаете об этом больше меня, я ведь не член ЦК, — начал Гамберг.

Но сарказм его был полностью нейтрализован набросившимся на меня Ридом:

— Ты что, намекаешь, что задержка со взятием Зимнего происходит умышленно?..

— Ни на что я не намекаю, — ответил я. — А причину задержки очень хорошо, как ты помнишь, объяснили красногвардейцы на Дворцовой площади. Если они пойдут на штурм, им придется столкнуться с женским батальоном, а они не хотят, чтобы их потом обвиняли в убийстве женщин. Вопрос же мой не случаен. Я взял его не с потолка. В прошлое воскресенье Петерс рассказал мне, что на одном из заседаний ЦК даже те, кто выступал за восстание, не сходились во мнении по вопросу о сроке, Ленин же сумел доказать, что ждать опасно, что это будет только на руку Керенскому, который успеет вызвать в столицу контрреволюционные силы Корнилова. Если они при этом оголят фронт, то все равно получат благодарность от союзников, для которых важнее не допустить большевиков к власти.

Даже по непроницаемому лицу Гамберга я понял, что все это было весьма близко к истине.

— Я знаю одно: Военно-революционный комитет прилагает все усилия, чтобы к вечеру все было кончено, — упрямо твердил Рид.

— Если хотите знать, — спокойно заметил Гамберг, — то Зимний дворец был бы уже давно взят, если бы наши друзья, моряки, прибыли сюда раньше.

Он оказался прав. Пять кораблей, вызванных из Кронштадта в Петроград, задержались с прибытием. Н. Подвойский, который вместе с В. А. Антоновым-Овсеенко и Г. И. Чудновским руководил осадой Зим-

него, обещал, что к двенадцати часам дня дворец будет взят. Но в двенадцать кронштадтцы еще не пришли, а без них силы штурмующих, которые должны были действовать согласно точному, тщательно продуманному плану массированного наступления, были неполными. Даже когда стало известно, что около 7 часов утра Керенский бежал из Зимнего дворца, план не изменили, поскольку оставалась опасность прибытия казаков с фронта. Дворец должен быть окружен гигантским овалом. Со стороны Дворцовой площади располагались отряды красногвардейцев, солдат и матросов. Со стороны реки Зимнему дворцу угрожали пушки «Авроры» и Петропавловской крепости, которые начнут обстрел, если ультиматум о сдаче отклонят. Корабли из Кронштадта и морская пехота замыкали кольцо. На флангах были сконцентрированы крупные силы революционных полков и красногвардейцев, для того чтобы отразить нападение юнкеров с тыла, а главное — казаков, обещанных Керенскому Духониным.

Большевики некоторое время не знали, что Зимний дворец имел прямую телефонную связь со ставкой главнокомандующего русской армии в Могилеве и со штабом Северного фронта в Пскове.

Когда в четыре часа вместо сообщения о штурме пришло известие о новых подкреплениях, полученных защитниками дворца, Подвойский сквозь стиснутые зубы сказал: «В шесть часов любой ценой». Но все это мы узнали позже.

Открытие съезда между тем задерживалось. По плану Ленина, съезд должен открыться лишь тогда, когда город будет полностью в руках Военно-революционного комитета.

Рид не успокаивался.

— А чего мы, собственно, толкуем о причинах задержки? — Воинственный свет в его глазах, который появлялся обычно в присутствии Гамберга, был теперь обращен на меня. — Ведь если Ленин добился поддержки Военно-революционного комитета, то какое это имеет значение?

— Ах, как мы изнервничались, дожидаясь открытия съезда, — защебетала Бесси и, не останавливаясь, сообщила новость, которая сразу же заставила нас прекратить ссору: только что в Беломраморном зале Алекс познакомил Бесси с Троцким, и тот сказал, что положе-

ние осложнилось — на Петроград идут войска с фронта. Затем Бесси, которая всегда отличалась мягкостью и среди наших журналисток слыла дипломатом, желая, видимо, наказать нас за ссору, нанесла еще один удар:

— Вы могли все это узнать от Каменева и Луначарского. Об этом было объявлено сегодня на заседании Петроградского Совета.

Мы еще больше нервничали, нервировали друг друга и суетились. Гамберг ушел, сказав, что встретимся позже. Я обратил внимание, что пошел он в сторону штаба Военно-революционного комитета. Джон метался, как тигр в клетке. В конце концов он решил отправиться в большой зал и попытаться добыть какую-нибудь информацию у англичан Рансома, Прайса или у американцев: Дош-Флеро из «Нью-Йорк уорлд» и Грегори Ярроса из Ассошиэйтед Пресс. Упустив раз Ленина, он боялся упустить его вторично, поэтому стремился в первую очередь выяснить, где сейчас находится Ленин и что делает. Брайант, Битти и я заняли посты в одном из невероятно длинных коридоров Смольного, надеясь встретить кого-нибудь из наших русско-американских друзей.

Битти громко выражала опасения, что, пока солдаты и матросы окружают Зимний дворец, войска, идущие с фронта, могут атаковать Смольный:

— Тогда сегодня ночью здесь будет кровавая баня, и вряд ли кто из нее выберется.

Брайант вспомнила молоденьких юнкеров, которых мы видели днем в Зимнем дворце. Они отдыхали на грязных соломенных тюфяках, разложенных на полу, и разговаривали, стараясь перещеголять друг друга количеством французских фраз. Один юнкер спросил Луизу, сможет ли она вступить в американскую армию, когда та войдет в Петроград, но в это время откуда-то раздался выстрел и поднялась страшная суматоха — юнкера повскакали с мест и беспорядочно забегали взад и вперед, ими, казалось, никто не командовал.

Битти сообщила в ответ, что, пока мы были в Зимнем дворце, она чуть не попала под пули, когда на Морской завязалась перестрелка между броневиком и отрядом кадетов. Хорошо, что кто-то втолкнул ее в ближайшее парадное.

Луиза, обращаясь к Битти, продолжала свой рассказ:

— Мы подошли к окнам и увидели бегущих людей, они то падали ничком, прижимаясь к земле, то снова бежали. Потом из дворца вышел этот «маленький» дядя, — кивок в мою сторону, — спокойно пересек площадь, установил свой треножник и стал фотографировать женщин-солдат, строящих баррикады. Это выглядело очень комично, как в оперетте. Бедные, несчастные кадетики!

Я не согласился с женщинами и в сердцах возразил, что предпочитаю думать не о несчастных кадетах, а о счастливых моряках, красногвардейцах и революционных солдатах Петроградского гарнизона, потому что сегодня их день. Что касается опасения Битти, то оно показалось мне небезосновательным: «Ну а если войска, вызванные Керенским, действительно прибудут в Петроград и атакуют Смольный? Интересно, вернется ли он сам в город, шествуя во главе своего воинства?»

Я решил поискать Гамберга и направился в штаб Военно-революционного комитета. Меня, конечно, не пустили. Комитет заседал беспрерывно с самого понедельника. Внизу на первом этаже так же беспрерывно работал штаб заводских комитетов, выписывая ордера на выдачу оружия по 150 винтовок каждому заводу. Оружие выдавалось в правительственном Арсенале и в Петропавловской крепости, старинном форте на берегу Невы, которые с понедельника находились в руках большевиков. Еще в понедельник вечером я видел в Смольном длинную, дисциплинированную очередь представителей заводов, ждущих бумаг, по которым они с товарищами могли получить винтовки и патроны.

Гамберга я так и не нашел, но зато, к своей огромной радости, около штаба Военно-революционного комитета встретил Воскова. Он был бледен, оброс трехдневной щетиной и явно куда-то спешил, но все же остановился, похлопал меня по спине и счастливым, охрипшим голосом сказал:

— Начинается! Моряки прибыли в полном составе. Теперь только бы нигде ничего не сорвалось! Владимир Ильич требует: никаких больше задержек!

Он двинулся дальше, я схватил его за руку и пошел с ним рядом, на ходу задавая вопросы. Видел ли он сегодня Ленина? Нет, не удалось.

— Между прочим, если бы ты пришел сюда пораньше, мог бы встретиться с ним при входе в Беломрамор-

ный зал. Он сидел там с группой большевиков во время раздельных совещаний партий и фракций. Правда, он был в парике, кепке и больших очках. Говорят, Дан все-таки узнал его и в полной растерянности прошел мимо. Я думаю, что сейчас Ленин находится в какой-нибудь комнате Смольного, отдает распоряжения, принимает донесения, а главное — задает массу вопросов. Он уже со многими нашими успел побеседовать и обо всем расспросить. Интересуется каждой деталью. Теперь его беспокоит только одна вещь — Зимний дворец. Но мне надо бежать...

Он бросился вниз по лестнице, а я за ним:

— Еще только один вопрос. Будет он сегодня выступать? Будет сидеть в президиуме?

— Слушай, Альберт, я должен выяснить, как близко эти проклятые войска подошли к Петрограду. Сейчас я ничего не могу предсказать. Я не знаю, когда мы возьмем Зимний. Знаю лишь одно: раз Ленин здесь, не будет никаких уступок. С кровопролитием или без, но дворец будет взят. А пока он не взят, нельзя рисковать жизнью Ленина: ведь его могут убить на глазах всего съезда. С Петроградским Советом все было ясно. В нем подавляющее большинство наших, тон задают выборжцы. Другое дело, когда Зимний будет взят, а министры арестованы, тогда меньшевики и эсеры могут вопить сколько угодно — ничего уже не поможет.

Восков умчался, и я остался один с уймой невыясненных вопросов. Почему Ленин все еще сохранял инкогнито? Неужели ему до сих пор угрожает серьезная опасность?.. Было почти десять часов вечера, когда я вошел в Беломраморный зал. Делегаты съезда толпились во всех дверях и проходах, стояли вдоль стен и сидели на подоконниках. Казалось, что незанятыми оставались только огромные люстры под потолком. У меня тревожно сжалось сердце. А вдруг действительно находящиеся в опасной близости войска окружат Смольный, прежде чем съезд успеет принять хоть какую-нибудь резолюцию, и Ленин будет схвачен? Я разыскал глазами Рида, который сидел в глубине зала, и, протискиваясь к нему, с облегчением заметил, что он занял мне место рядом с собой, положив на стул свернутое пальто. По дороге я увидел Петерса, который, насколько я помню, был делегатом от латышских социал-демократов. Около него сидел глава их делегации

Стучка. Я дал Петерсу знак, что хочу поговорить с ним. С недовольным выражением лица он стал пробираться к проходу. Но мне было все равно. Я чувствовал, что не успокоюсь, пока не получу ответа на мои вопросы. Потом он рассказывал, какой у меня был смешной вид: бледный и растрепанный, я с подозрением уставился на него и, хотя вокруг стоял такой шум, что никто не мог нас подслушать, зашептал ему в самое ухо. Он не понял ни слова. Тогда я прерывающимся от волнения голосом спросил:

— Почему Ленин все еще в парике? Ему действительно угрожает опасность? Казаки уже в городе?

Он терпеливо ответил на все вопросы, при этом в его голубых глазах светилась ласковая насмешка:

— Нет, нет, все в порядке. Просто товарищ Ильич хочет немного осмотреться, спокойно оценить обстановку, выяснить общее положение в стране и взять контроль в свои руки, держась пока на заднем плане! Нет, он никого не собирается вводить в заблуждение: все прекрасно знают, кто главный режиссер. А теперь, Альберт Давидович, идите устраиваться на своем месте и отпустите меня.

В 10.40 Федор Ильич Дан, по профессии врач, многолетний редактор всех меньшевистских газет, на правах председателя старого ЦИКа позвонил в колокольчик. Его круглое, гладко выбритое лицо было, как всегда, холодно-непроницаемым. Прежде чем объявить съезд открытым, он произнес несколько вступительных фраз, пытаясь задать собранию променьшевистский тон, хотя его партия, имевшая когда-то внушительное большинство, оказалась теперь в значительном меньшинстве. Он сказал, что не будет произносить политическую речь, так как в эту минуту его соратники по партии подвергаются обстрелу в Зимнем дворце и, рискуя жизнью, продолжают выполнять свой долг. В поднявшемся реве он объявил съезд открытым.

Когда было решено, что в президиуме все партии будут представлены пропорционально числу делегатов этих партий, меньшевики заволновались. Большевики получили четырнадцать мест. Все остальные партии вместе — одиннадцать. Эсеры (правые эсеры и центристы) и меньшевики отказались от своих мест в президиуме. Меньшевики-интернационалисты оставили себе путь к отступлению, заявив, что будут решать в за-

висимости от условий. Старый президиум сошел со сцены, и на нее поднялись большевики. Ленина среди них не было. Огромный зал задрожал от бури оваций.

Как только Каменев объявил повестку дня, Лозовский — тоже бывший противник восстания — предложил заслушать отчет Петроградского Совета. Начались споры и пререкания. Правые выдвинули какие-то возражения процедурного характера. Я перестал вслушиваться. Петерс развеял все мои страхи, и теперь я дал волю своим чувствам. Наклонившись к Риду, я счастливым голосом изрек:

— Это будет первый случай в истории человечества, когда трудящиеся, свершившие революцию, пожнут ее плоды. До сих пор они только проливали кровь, а их потом все равно предавали. Теперь же не исключено, что их победа будет даже бескровной.

Вдруг раздался громкий, раскатистый выстрел артиллерийского орудия. Делегаты вскочили с мест, стоявшие у окон стали выглядывать наружу. Мартов бросился к трибуне, требуя слова:

— Товарищи, это начинается гражданская война! — воскликнул с трагическим отчаянием. Голос у него был глухой и хриплый: как и многие другие революционеры, перенесшие тюрьму и ссылку, он страдал туберкулезом. — Первостепенным делом должно быть мирное разрешение кризиса... Главный вопрос, стоящий перед съездом, это вопрос о власти, а он уже решается на улицах с помощью оружия!.. Съезд не имеет права сложа руки наблюдать за тем, как разгорается гражданская война, которая чревата опасностью контрреволюции. Возможность мирного исхода — в создании единого демократического органа власти. Мы должны избрать делегацию для переговоров с другими социалистическими партиями и группировками.

Снова за окнами грохнула пушка. Откуда-то издалека ей ответила другая.

Время от времени большевики выходили совещаться и, без сомнения, советоваться с Лениным; устраивали совещания и другие группы. Если «умеренные» ожидали, что Ленин и большевики выступят против предложения Мартова — а они именно этого и хотели, судя по их замечаниям и репликам, — им пришлось разочароваться. Зачем было большевикам выступать против? Ведь Ленин еще раньше предлагал сотрудничество, и

отказались от него меньшевики и эсеры, а не большевики. Слово взял Луначарский. Он сообщил, что у большевистской фракции «нет решительно никаких возражений против предложения Мартова». Вопрос поставили на голосование. Среди леса штыков поднялся лес рук. Предложение было принято единогласно. Однако меньшевиков единый фронт не устраивал. Меньшевик, офицер 12-й армии капитан Хараш выступил с резкими обвинениями против большевиков за то, что они окружили Зимний дворец. Другой офицер заявил, что ввиду предстоящего созыва Учредительного собрания съезд не может являться «полномочным» органом власти. Их выступления неоднократно прерывались негодующими выкриками с мест. Солдаты требовали ответа: кого эти офицеры представляют? Меньшевик Хинчук*, впоследствии советский посол в Берлине, зачитал резолюцию правых меньшевиков, требующую начать переговоры с Временным правительством.

Правый социалист, пытаясь перекрыть шум возмущения в зале, прокричал резолюцию своей фракции: сотрудничество с большевиками «невозможно», съезд «не имеет никаких полномочий». Все эти выступления сопровождались криками и топотом ног; солдаты-фронтовики требовали, чтобы делегаты-офицеры были удалены как самозванцы. Когда Хараш заявил, что представляет делегатов с фронта, раздались крики: «Корниловец! Контрреволюционер! Провокатор!»

Среди общего возбуждения слово взял представитель Бунда (еврейская социал-демократическая организация) Абрамович и сказал, что, поскольку обстрел Зимнего дворца продолжается, члены Городской думы, меньшевики и социалисты-революционеры, а также члены исполкома Совета крестьянских депутатов «решили погибнуть вместе с Временным правительством. Мы идем к ним!». Он призвал всех делегатов съезда последовать этому примеру. «Безоружные, мы подставим свою грудь под пулеметный огонь террористов».

Председательствующий призвал всех, кроме соглашателей, оставаться на местах. Преисполненные решимости «мученики» вереницей покинули зал.

Мартов снова взял слово. Теперь, когда он увидел,

* М. Л. Хинчук — с 1903 года меньшевик, в 1920 году вступил в РКП(б).

что не большевики, а меньшевики, правые эсеры и бундовцы срывают принятое по его предложению единогласное решение о совместных действиях, ему представилась возможность сделать великий шаг. Будучи неисправимым оптимистом, я был уверен, что он его сделает.

— Держу пари, он поднимется до величия момента, — сказал я Риду.

Как я ошибся! И как потом Джон смеялся надо мной! Не знаю, откуда взялась у меня эта уверенность, ведь я однажды уже имел случай видеть Мартова в подобной обстановке, и его поведение тогда должно было подсказать мне, что великого шага не последует. Это было на Литейном проспекте во время знаменитой июльской демонстрации. Мартов, с которым я до этого несколько раз встречался и разговаривал и к которому испытывал симпатию, поздоровался со мной и спросил: «Что вы об этом думаете?» Я стоял как завороженный, глядя на многотысячные людские волны, перекатывающиеся вдоль улицы, на море красных знамен и плакатов. Тогда я еще совсем плохо говорил по-русски, поэтому ответил не сразу и не очень внятно. Он решил, что я разделяю его возмущение. «Это не моя революция», — сказал он. Глаза его горели негодованием, жесты были такими лихорадочными, что я боялся, как бы он не уронил на тротуар пенсне, которое держал в руках. Это было странное и печальное зрелище! Величественная демонстрация — мимо нас в это время ровным, слегка колышущимся строем по двадцать человек в ряд проходил батальон мужественных кронштадтских моряков, — и старый боец Мартов, вдруг превратившийся в жалкую фигуру, пылающую бессильным гневом. Впрочем, это было довольно символично: так же нелепо и смехотворно выглядела борьба старой гвардии социалистов против большевиков. Насколько я помню, он не обвинял большевиков в подстрекательстве, понимая, очевидно, что демонстрация явилась результатом стихийного подъема народных масс. Ведь именно о таком подъеме говорили и мечтали социалисты в течение 70 лет. А теперь, когда народные массы вышли из состояния апатии и поднялись на великую революционную битву, социалисты-интеллектуалы типа Мартова перепугались. Они считали себя единственными организаторами революции, ее наставниками и опекунами. А тут вдруг массы безрассудно посмели взять дело ре-

волюции в свои руки. Поэтому для Мартова проходящая мимо нас демонстрация была вызовом, граничащим с преступлением, lèse majesté *. Для меня же «черная толпа» была как молитва, как поэма. Я пытался высказать свои чувства Мартову, но он отвернулся.

Тем не менее я продолжал испытывать к нему симпатию. Было что-то такое в этом человеке, что брало за душу и не позволяло ставить его на одну доску с такими меньшевистскими деятелями, как Дан и Либер, не говоря уже о Церетели и других приближенных Керенского. Мне хотелось теперь, чтобы шум в зале немного стих; я был уверен, что он произнесет сейчас важную речь, в которой заклеймит позором соглашателей и призовет, по крайней мере, свою группу меньшевиков-интернационалистов встать на сторону новой, Советской власти и работать рука об руку с большевиками.

Как велико было мое разочарование!

— Мы должны немедленно прекратить кровопролитие, — начал Мартов.

Его тут же перебили. Никакого кровопролития не происходит — это только слухи. Но он стоял на своем. Пушки ведь стреляют! Действительно, были слышны глухие артиллерийские выстрелы. Он вносит предложение объявить революцию большевистским «военным заговором» и отложить работу съезда до тех пор, пока все социалистические партии не достигнут какого-нибудь соглашения.

Бедняга Мартов! Совсем еще недавно в критические моменты он, сознавая малочисленность своей группировки, бесстрашно выступал против войны, против политики Керенского, служащей интересам русской буржуазии и иностранного капитала, против нетерпимых колебаний и нерешительности Временного правительства, а теперь пал жертвой той же самой нерешительности. Опять он сел не в ту лодку. Какая слепота и какая глупость! Ведь сейчас стало абсолютно ясно, что правые меньшевики и правые эсеры, выступая против новой резолюции, превратились, по существу, в контрреволюционеров. Очевидно, они еще до открытия съезда договорились об уходе. Ряды их сторонников значительно поредели, а оставаться в меньшинстве им не

* Lése majesté — оскорбление его величества *(франц.)*.

позволяло самолюбие. Что же касается меньшевиков-интернационалистов, то они привыкли быть в меньшинстве и даже гордились этим. Среди скомпрометировавших себя социалистических партий и групп их доля вины была меньше других. Большевики это признали, предоставив им место в президиуме.

Что же теперь сделает Мартов? Пошлет своих товарищей догонять меньшевиков и эсеров, с которыми они так яростно боролись? Куда им теперь идти? Народ — в Советах и обходится без самозваных наставников, воткнувших красную розетку в петлицу и называющих себя «революционными демократами». Как сможет группа Мартова проявить себя в революции?

Когда меньшевики и эсеры покидали зал, делегаты провожали их свистом и криками: «Ренегаты! Предатели!» Когда Мартов стал предлагать новую резолюцию, голос из зала спросил: «Зачем вы нас пугаете?»; а другой голос сказал: «Как вам не стыдно!» Час назад первая резолюция Мартова была принята единогласно.

Удрученные таким поворотом дела, испытывая тягостную неловкость за одного из «великих» интеллигентов, не сумевшего примириться с тем, что «темный народ» сделал наконец то, к чему они так долго призывали, мы с Ридом поспешили к выходу, чтобы отправиться на Дворцовую площадь посмотреть, что там происходит. Было около часа ночи. Некоторое время мы еще ходили по Смольному, собирая нашу группу, и наконец все четверо: Брайант, Битти, Рид и я — стояли на крыльце и, дрожа от холода, ждали Гамберга, который обещал договориться, чтобы нас подвезли если не до самого Зимнего дворца, то хотя бы до места, откуда можно было быстро дойти пешком. (Между Смольным и Зимним дворцом — около двух миль.)

— Я могу понять, почему ушли другие, — сказал я. — Но Мартов! Неужели он в самом деле уйдет? А его друзья? Эти интеллигентные люди перенесли тюрьмы и ссылку. Мартов заболел туберкулезом в Сибири — все это ради народа. Они поклонялись народу, как богу. А когда бог поднялся, властный и своевольный, и в гневе своем начал метать громы и молнии, гордясь своим могуществом, они вдруг стали атеистами. Раз бог их не слушается, они от него отрекаются. Бог вышел из повиновения, и в страхе они спешат куда-нибудь укрыться.

— Хорошо сказано, ты должен обязательно это использовать, — сказал Рид. Я был тогда раздосадован таким профессиональным подходом, но позже все-таки последовал его совету.

— Ну вот, наконец, и Алекс, — продолжал Джон. — А на твой вопрос мы получим ответ, когда вернемся сюда. Судя по всему, съезд будет работать до утра.

Все мы, кроме Гамберга, описывали эту поездку. Забравшись в кузов огромного грузовика, мы оказались в обществе нескольких матросов и казака из «дикой дивизии». На голове у матросов были обычные бескозырки с ленточками, а у казака — высокая шапка из лохматого черного меха. Они подвинулись, уступая нам место среди сложенных кипами листовок и ящиков с оружием и боеприпасами. Матросы тут же начали балагурить. Балагурство — характерная черта моряков, с которой я впервые столкнулся, когда был гостем Центробалта, — часть их неотразимости и восхитительной самоуверенности.

— Нас, конечно, обстреляют, но ничего, зато мы вас прокатим с ветерком.

Один из матросов попросил Луизу снять желтую ленту со шляпы. Шофер-красногвардеец сгорбился над рулем, и мы тронулись. Матросы должны были разбросать листовки по городу.

Грузовик громыхал по булыжным мостовым темных и, нам казалось, пустынных улиц. Однако всякий раз, когда с грузовика сыпался дождь листовок, из дворов и подъездов выбегали люди и сразу же все расхватывали. Гамберг взял одну листовку и, воспользовавшись короткой остановкой, при слабом свете уличного фонаря прочел вслух:

«К гражданам России!

Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над произ-

водством, создание Советского правительства, это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!

Военно-революционный комитет
при Петроградском Совете рабочих
и солдатских депутатов» *.

Прочтя листовку, Гамберг сухо сказал:

— Это было напечатано и готово к распространению в десять часов утра. Довольно оптимистично. Но, очевидно, этот оптимизм не сказался на военных гениях, поведение которых напоминает игру в кошки-мышки вокруг Зимнего дворца. Чтобы быть полностью уверенными в успехе, они сначала ждали чуть ли не целого флота, а теперь посылают ультиматумы во дворец, угрожая начать обстрел, если министры не сдадутся к назначенному сроку, а когда сроки проходят, назначают новые.

На углу Екатерининского канала и Невского были воздвигнуты баррикады, и нас завернули обратно. Грузовик поехал своей дорогой, а мы пошли в сторону Казанского собора, где вскоре нам пришлось опять остановиться. Поперек широкой улицы стояли человек двадцать матросов и преграждали путь толпе людей, стремящихся пройти к Зимнему. Это были те самые добровольные «мученики», которые несколько часов назад ушли из Смольного. (Съезд открылся в 10.40 вечера, а сейчас было около двух часов ночи.) С ними были жены и друзья, мэр Петрограда и правосоциалистические члены Городской думы.

— Пропустите нас! Мы идем умирать, — упрашивали они матросов.

— Ступайте домой и примите яд, — послышался ответ. — А здесь ничего не выйдет. У нас приказ Военно-революционного комитета не пропускать вас. Умирать здесь не разрешается.

Посовещавшись, они обратились к матросам с более практическим вопросом:

— А что будет, если мы вдруг попробуем прорваться?

— Что ж, — ответил один матрос, — придется вас

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 1.

немного поколотить, но убивать вас мы все равно не будем, ни одного человека не убьем.

Тогда к толпе обратился министр снабжения Прокопович, который должен был находиться в Зимнем дворце вместе с остальными членами Временного правительства, поскольку был вызван Керенским. Он был арестован около шести часов утра по дороге во дворец, а позже отпущен.

— Товарищи! — дрожащим голосом воскликнул он. — Давайте вернемся. Откажемся умирать от руки стрелочников!

С гордым видом они зашагали в сторону Таврического дворца, где обычно заседала Городская дума.

Мы показали матросам пропуска, выданные Военнореволюционным комитетом, и нас спокойно пропустили. Но не успели мы дойти до собора, как были остановлены группой красногвардейцев. Наверное, у нас был слишком буржуазный вид. К счастью, мы нашли красногвардейца, оказавшегося комиссаром (это слово тогда стали употреблять все чаще и чаще) воинской части, который, ознакомившись с нашими документами, поручил одному из солдат провести нас через линии заграждения.

Когда мы подходили к арке Генштаба, раздалось три выстрела. Ответных выстрелов не последовало. Тогда со всех сторон к Зимнему дворцу ринулись красногвардейцы, солдаты и матросы. Мы пошли вслед за ними, осторожно выбирая путь среди осколков стекла, покрывавших мостовую. Какой-то матрос закричал:

— Все кончено! Они сдались!

Люди бросились к небольшой единственной открытой двери дворца. Мы перелезли через баррикады и тоже побежали. Огромный дворец теперь был ярко освещен. Пропуска с синими печатями возымели свое действие — красногвардеец, стоящий у двери, махнул рукой: проходите. Внутри разоружали юнкеров и тут же их отпускали. Отряд матросов поднялся на второй этаж, чтобы арестовать министров Временного правительства. Ждать пришлось недолго — на широкой лестнице показалась процессия — каждый министр со своим конвоиром.

Собственно говоря, ни один из проходивших мимо нас министров не был законным народным избранником. Как объяснил Милюков в одном из своих выступ-

лений после Февральской революции, на выборы не было времени.

Но Временное правительство недаром называлось временным. Оно могло править, пока у него была поддержка народных масс. Массы всегда были настроены холодно по отношению к этому правительству, но были согласны его признавать. Однако это согласие в лучшем случае было вынужденным, а теперь его и вовсе не было.

— Зря отпускают юнкеров, это ошибка, — возмущался Гамберг. — К чему такое мягкосердечие? Впрочем, это не наше дело, это их революция. Но неужели они думают, что, избегая кровопролития, заслужат благословение союзников?

— У тебя они то недостаточно уверены в себе, то излишне самоуверенны, — начал Рид.

Чувствуя, что нам угрожает очередная ссора, я бесцеремонно оборвал разговор и предложил подняться на второй этаж. В тот момент я совершенно не предполагал, что через несколько дней полностью соглашусь с Гамбергом относительно юнкеров.

Министров увели в Петропавловскую крепость, где действовал вспомогательный штаб Военно-революционного комитета.

Антонов или Чудновский, не помню точно, дал нам разрешение войти в Малахитовый зал. Там только что поставили часовых. Группы солдат, матросов и красногвардейцев продолжали между тем обыск внутренних покоев, где могли спрятаться юнкера или кадеты и где, возможно, были заперты юнкерами матросы передового отряда, прорвавшегося во дворец за несколько часов до штурма. В этом большом зале с огромными окнами, выходящими на Неву, заседали министры Временного правительства, здесь они провели много часов в ожидании казаков, которые так и не пришли. К вечеру они покинули зал, так как окна его находились под прицелом орудий «Авроры», вставшей у Николаевского моста, и пушек Петропавловской крепости. Что чувствовали министры перед тем, как уйти из этого зала в одну из внутренних комнат, где они сидели в полумраке вокруг большого стола, над которым висела одна-единственная лампа, да и та прикрытая газетой? Яркое описание дает бывший министр юстиции Временного правительства П. Малянтович:

«В холодном свете пасмурного дня, льющегося через высокие окна Малахитового зала, перед нами отчетливо вставала панорама города. Из углового окна мы видели широкие просторы могучей реки. Равнодушные, холодные воды... Скрытая угроза притаилась в воздухе. Обреченные, одинокие, всеми покинутые, мы ходили взад и вперед по этой огромной мышеловке, иногда собираясь вместе или группами для коротких разговоров... Вокруг нас была пустота, и такая же пустота была у нас в душе. Мы все сильнее и сильнее испытывали чувство полнейшего безразличия...

Но ведь должен же когда-нибудь наступить момент, когда нам придется издать короткий и решительный приказ. Приказ о чем? Держаться до последнего человека, до последней капли крови? Ради чего?

Если народ не защищает свое правительство, значит, он не нуждается в этом правительстве. Но если в нем не нуждаются, если правительство пережило себя, то кому оно должно передать власть? И как? По чьему приказу?

За нами не было права отдавать приказы от имени народа; на словах нам выражали симпатию, а на деле все нас покинули».

Вспоминаю бледное, аскетическое лицо Антонова, густые рыжие волосы под живописной широкополой шляпой, спокойный, сосредоточенный вид, заставляющий забывать его сугубо гражданскую внешность, когда он вместе с отрядом из 50 матросов, солдат и красногвардейцев уводил из Зимнего дворца министров Временного правительства и их помощников. Один матрос рассказал мне, что еще наверху, после того как Чудновский составил список арестованных, Антонов спросил: «Товарищи, у нас есть автомобили?» Кто-то ответил: «Нет». А другие закричали: «Ничего, пройдутся пешочком! Довольно, поездили!» Антонов попросил тишины, подумал немного и сказал: «Хорошо, мы отведем их в крепость пешком».

В последующие годы западные историки всячески старались унизить Антонова. Отсутствие автомобилей действительно привело к тому, что по дороге министры подверглись оскорблениям. Идущая за ними толпа росла, и требования выдать их становились все решительнее. Любопытнее всего, что спасла их случайность. На Троицком мосту из встречного автомобиля начали стре-

лять. Толпа бросилась врассыпную. «Не стреляйте! Свои!» — закричал Антонов. Стрельба прекратилась, и арестованные министры были благополучно доставлены в Петропавловскую крепость. Антонов обладал удивительной способностью попадать в серьезные переделки, что само по себе было не таким уж необычным делом во время революции. Но все, что я знал об Антонове, включая личный опыт, когда через несколько дней мне пришлось участвовать в его спасении, убедило меня в том, что это человек большого хладнокровия и абсолютного бесстрашия.

Конечно, Гамберг в ту ночь беспощадно критиковал Антонова, но почему именно Антонова, а не Чудновского или Подвойского, я не знаю. Как мог Антонов, большевик с 1903 года, человек в какой-то степени военный, секретарь Военно-революционного комитета, которому так доверяет Ленин, как он мог, негодовал Гамберг, так долго бездействовать? Все знали — и об этом много раз говорил Ленин, — что успех восстания невозможен без большевистских сил Балтийского флота, продолжал Гамберг. Антонов знал Дыбенко, знал положение в Гельсингфорсе. Почему же, когда в ночь на 23 октября в Смольный пришла телеграмма из Гельсингфорса о том, что корабли стоят наготове и ждут только приказа из Смольного, им не ответили: выходите немедленно! Хорошо еще, что матросы, не дожидаясь указаний, прислали два торпедных катера. Как только Керенский отдал приказ развести все мосты, кроме Дворцового, и закрыть типографии левых газет, надо было не типографии выручать, а в ту же ночь штурмовать Зимний дворец, рассуждал Гамберг. Ну и, наконец, какого дьявола Военно-революционный комитет отпустил двух министров, арестованных красногвардейцами без ордера на арест?

Уже поднимаясь по широкой лестнице вдоль завешанных гобеленами стен, я услышал ответ Рида на обвинения Гамберга, начатые, еще когда мы сидели на длинной скамье в вестибюле:

— Но ты же сам сказал, что это их революция. Жалко, конечно, что ты не сделал ее своей, — тогда, может, и тебе удалось бы вставить словечко.

Из Малахитового зала мы прошли во внутреннее помещение, где, по рассказам, был когда-то кабинет Николая II и где провели последние семь часов перед

7*

арестом министры Временного правительства. Здесь они сидели за столом, ходили из угла в угол, пытались уснуть на диванах и креслах. Кабинет должны были обыскать, закрыть и опечатать, поэтому мы пробыли в нем всего несколько минут под бдительным оком часовых. Нам удалось стащить со стола несколько клочков бумаги с отдельными фразами того последнего приказа, над которым министры трудились. Большая часть слов была записана сокращенно и обведена завитушками.

Уходя из дворца через единственную оставленную для выхода дверь, мы увидели около нее молоденького командира-большевика, поблизости от него стол и двух солдат, которые обыскивали всех, кто уходил, чтобы из дворца не были унесены никакие ценности. Лейтенант снова и снова повторял: «Товарищи, этот дворец теперь принадлежит народу. Это теперь наш дворец. Не воруйте у народа. Не позорьте народ».

Здоровые, бородатые солдаты, краснея, отдавали добычу: одеяло, потертую кожаную диванную подушку, канделябр, вешалку, сломанную рукоятку китайского меча.

— Странно, не правда ли, — сказал Рид, — что задолго до того, как все свершилось, после ухода казаков (около 200 человек), женского ударного батальона и нескольких сот юнкеров единственными видимыми защитниками дворца была группа перепуганных подростков — ведь кадеты это всего лишь мальчики. Никто из защитников не был даже ранен.

— Все потери были с нашей стороны, — сказал нам командир.

Потом мы получили подтверждение: пять матросов и один солдат были убиты, многие ранены.

В тревожном настроении возвращались мы в Смольный. Что там за это время произошло? Мы боялись, что оказавшиеся в меньшинстве партии, спекулируя на событиях в Зимнем дворце, совершат какую-нибудь новую враждебную акцию. Теперь мы знали, что «зловещий» выстрел с «Авроры», вызвавший истерику у Мартова и у некоторых других делегатов, был произведен холостым зарядом. Как они себя повели после того, как началась настоящая перестрелка из пулеметов и винтовок?

Рид считал, что задержка сыграла на руку «умеренным», а пушечные выстрелы, возможно, произвели

сильное впечатление на всегда эмоционального Мартова, который начал бить по своим.

— Во всяком случае, — безапелляционно подвел итог Гамберг, — взятие Зимнего дворца войдет в историю как великое завершение напряжения революции, революции, которая в других случаях была драматичной именно потому, что не была искусственно вызванной.

Нужно было знать Гамберга, чтобы понять: в последних словах не было никакой иронии. Говоря: «не была искусственно вызванной», он имел в виду, что революция встретила всеобщую поддержку. Но я из принципа всегда оспаривал его точку зрения, стремясь по возможности опередить в этом Рида:

— Я бы не сказал, что это было завершение напряжения. Большевики захватили более богатые «трофеи», чем в свое время парижане. Когда пала Бастилия, было освобождено семь узников, причем большинство из них, по-моему, оказались карманниками. В Зимнем было захвачено полтора десятка, и они, по крайней мере, не были мелкими ворами.

В Смольный мы попали поздно ночью. Только что закончился перерыв, во время которого, как нам сказали, проходили внутрипартийные совещания. Была предложена очень резкая резолюция против покинувших съезд делегатов. Суханов настоял на внеочередной конференции мартовской фракции и выступил там против ухода.

Когда мы вошли в зал, там гремели аплодисменты: только что объявили о взятии Зимнего дворца и аресте министров Временного правительства. Потом был зачитан список арестованных министров. Имя Терещенко вызвало смех и аплодисменты. Имя Пальчинского было встречено криками и свистом. После ухода группы Мартова с большевиками остались эсеры, преимущественно левые, и меньшевики. Однако съезд, казалось, даже не заметил, что кто-то покинул зал. Как только стихла буря оваций, слово взял представитель левых эсеров и заявил о незаконности ареста министров. Потом выступил Луначарский. Я никогда его не видел таким взволнованным, даже тогда, когда он декламировал стихи в рабочей аудитории. Прерывающимся голосом он прочел воззвание, в котором говорилось:

«Опираясь на волю громадного большинства рабо-

чих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, съезд берет власть в свои руки.

Временное правительство низложено...

Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые должны обеспечить подлинный революционный порядок» *.

Воззвание было принято подавляющим большинством голосов при двух голосах против и двенадцати воздержавшихся.

В шестом часу утра, после того как было принято обращение к солдатам и железнодорожникам не пропускать в Петроград эшелоны с войсками, посланными Керенским, Калединым и другими, на трибуну поднялся бледнолицый от бессонницы Крыленко и, размахивая телеграммой, объявил:

— Товарищи! Сообщение с Северного фронта! Двенадцатая армия приветствует съезд. Там создан Военно-революционный комитет, который взял на себя командование фронтом! Генерал Черемисов признал комитет, комиссар Временного правительства Войтинский подал в отставку!

Солдаты бросились обниматься. Зал дрожал от вырвавшихся наружу чувств. Теперь Петроград бесповоротно в их руках. Делегаты съезда выходили из зала, весело толкая друг друга, покачиваясь от усталости под тяжестью винтовок, опьяненные счастьем, сознанием своей силы и романтики этой ночи.

Было шесть часов утра, когда на крыльце Смольного мы разминали затекшие мышцы и тщетно искали в небе лучи восходящего солнца. У небольшого костра на площади спиной к нам стояли и грели руки солдаты и красногвардейцы. Они казались единственной и надежной человеческой силой в мире, который словно повис между небом и землей. Как прекрасно было бы чувствовать себя неотъемлемой частью такой силы! Но вместо этого нас одолевали сомнения. Как поведет себя наше правительство? На чью сторону оно встанет? Как у нас примут сообщение об этой только что рожденной республике? Еще не известно, что произойдет в Москве.

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 11.

За провинцию я, правда, не беспокоился, но я ведь мог ошибиться. Смертельно усталые, мы начали искать извозчика.

ГЛАВНАЯ ФРАЗА РЕВОЛЮЦИИ

«Товарищи! Мы сейчас должны заняться созданием социалистического государства».

Механически я повторил слова Ленина по-английски и, увидев, что сидевший рядом со мной Джон Рид записывает их и что я смогу потом воспользоваться его блокнотом, продолжал вглядываться в человека, произнесшего эту фразу, о которой я впоследствии часто писал, называя ее главной фразой революции.

Вы не найдете этих слов ни в одном газетном отчете о втором заседании II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов *, состоявшемся в ночь на 26 октября (8 ноября). Протокол съезда не сохранился, если вообще кто-нибудь его вел. Парламентские стенографистки ушли из Смольного еще прошлой ночью, когда меньшевики, правые эсеры и бундовцы демонстративно покинули съезд.

Джон Рид привел ленинскую фразу в своей книге «Десять дней, которые потрясли мир»; в том же (1919) году я цитировал ее в книге «Ленин — человек и его дело». И только теперь, сравнивая то, что мы написали, я обнаружил некоторое различие в наших записях. Рид пишет: «Но вот на трибуне Ленин. Он стоял, держась за края трибуны, обводя прищуренными глазами массу делегатов, и ждал, по-видимому, не замечая нараставшую овацию, длившуюся несколько минут. Когда она стихла, он коротко и просто сказал: «Теперь пора приступать к строительству социалистического порядка!» **

Признавая репортерскую основательность Рида, я придерживаюсь своего перевода. В любом варианте это великая фраза. И хотя она еще не включена в официальные собрания ленинских работ ***, она уже вошла в историю.

---

* См. примечание третье к этой странице.

** Джон Рид. 10 дней, которые потрясли мир. М., 1957, с. 117.

*** Как известно, В. И. Ленин произнес аналогичную фразу в конце своего доклада о задачах власти Советов на заседании Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, открыв-

Не только мы с Ридом, но и сотни делегатов, заполнивших огромный Беломраморный зал Смольного, в ту ночь впервые увидели Ленина. Правда, мы могли его видеть накануне во время совещания лидеров большевистской фракции в одном из широких коридоров Смольного. Но даже если бы мы тогда и видели его, то все равно не узнали бы в нем Ленина, чьи фотографии привыкли видеть в газетах. Большинство этих снимков было взято из архивов царской охранки — на них Ленин был с бородой и преждевременной лысиной. Он полысел еще в ранней молодости.

Ходило много легенд о способности Ленина изменять свою внешность. Теперь к легендам прибавилась еще одна — о том, что в ночь на 24 октября Ленин якобы был настолько неузнаваем, что часовой не хотел его пропускать. Я не очень этому верил, так как, по моим наблюдениям, и в ту ночь и в предыдущие ночи каждый, кто хотел, мог свободно пройти в Смольный.

Некоторые эпизоды, правдивы они или нет, сами по себе занятны. Бонч-Бруевич, например, рассказывает, что, придя в Смольный, Ленин снял только платок, которым была повязана щека, но оставался в парике до того момента, пока не пришло известие о взятии Зимнего дворца и аресте министров Временного правительства. Ленин решил тогда провести остаток ночи в квартире Бонч-Бруевича. Перед уходом Бонч-Бруевич предложил Ленину снять парик и обещал спрятать его, сказав: «Кто знает, может быть, еще пригодится». По другой версии, Ленин, войдя в комнату, где заседал ВРК, привычным жестом снял кепку, а вместе с ней случайно прихватил и парик. Заметив это, он рассмеялся, снова натянул парик на голову и уже потом снял его совсем.

С той минуты, когда председательствующий объявил: «Слово предоставляется товарищу Ленину», — я

шемся 25 октября (7 ноября) 1917 года в 2 часа 35 минут дня, за 8 часов до начала работы II Всероссийского съезда Советов (см.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 2—3). Газетный отчет о заседании Петроградского Совета был опубликован на следующий день «Известиями ЦИК» и с тех пор включался в Собрания сочинений В. И. Ленина. Джон Рид и Альберт Рис Вильямс, возможно, по-разному перевели эту фразу из газетного отчета, а может быть, В. И. Ленин произнес подобные слова и на заседании II Всероссийского съезда Советов, на котором присутствовали корреспонденты.

не отрывал глаз от крепкой, приземистой фигуры человека в поношенном костюме, который с листками в руке быстро прошел к трибуне и обвел зал проницательными веселыми глазами.

В этом отношении я ничем не отличался от остальных. С таким же вниманием смотрели на Ленина большие горящие глаза Раймонда Робинса (который пришел сюда одним из первых и сидел до пяти часов утра), так же напряженно разглядывали Ленина солдаты, матросы, рабочие — вся бурлящая масса делегатов съезда из ближних и дальних мест. В чем секрет этого коренастого лысого человека? Почему он вызывает у одних такую ненависть, а у других — такую любовь? Я отводил от него взгляд только для того, чтобы понаблюдать за реакцией крестьян. Большинство из них были левыми эсерами.

Ленин произнес несколько вводных фраз к предлагаемому Декрету о мире, обращенному к народам и правительствам всех воюющих стран. Вопрос о мире настолько жгучий и ясный, спокойно объяснил он слушателям, что документ, который он собирался прочесть, не нуждается в комментариях.

Он говорил так, будто только вчера расстался со своими слушателями, так, как говорят с аудиторией, перед которой выступают регулярно каждую неделю. По его виду нельзя было себе заметить, что этот последний месяц он, как писала Крупская, «весь, целиком, без остатка, жил... мыслью о восстании, только об этом и думал, заражал товарищей своим настроением, своей убежденностью» *.

Документ призывал к заключению «справедливого демократического мира», к немедленному подписанию «мира без аннексий... и без контрибуций» и, что меня тогда особенно удивило, ни в чем не противоречил платформам различных социалистических партий. Он почти не отличался от запоздалой резолюции, предложенной Мартовым и принятой большинством 122 : 102 на последнем заседании Предпарламента. Резолюция осуждала политику правительства, толкающую народ на восстание, и требовала немедленного решения вопроса о мире и о земле.

Язык Декрета был довольно спокойным.

* Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. М., 1968, с. 329.

«...Сообразно правовому сознанию демократии вообще и трудящихся классов в особенности...» *. Неужели это говорит воинственный Ленин? Невероятно! Декрет определял понятие «аннексия» и, хотя лозунг «никаких аннексий и контрибуций» давно уже стал лозунгом умеренных социалистов, здесь, в определении Ленина, он приобрел новое значение. Слова ветшают и обесцениваются не от частого употребления, а оттого, что они остаются без употребления, то есть не претворяются в дела. Так как и керенские, и либеры, и даны только говорили: «Никаких аннексий», — но даже не пытались провести это в жизнь, слова эти умерли. Ленин дал им новую жизнь, причем не ораторским искусством, а политической линией своей партии.

«Если какая бы то ни было нация, — говорилось в Декрете, — удерживается в границах данного государства насилием, если ей... не предоставляется права свободным голосованием, при полном выводе войска присоединяющей... нации, решить без малейшего принуждения вопрос о формах государственного существования этой нации, то присоединение ее является аннексией, т. е. захватом и насилием». И далее: «Продолжать эту войну из-за того, как разделить между сильными и богатыми нациями захваченные ими слабые народности, правительство считает величайшим преступлением против человечества...» **

* * *

В отличие от вчерашнего, первого заседания, открытие которого несколько раз откладывалось, второе началось ровно в девять.

Половина заседания прошла для меня как во сне. Я не спускал глаз с докладчика, тщетно пытаясь представить себе, что он должен чувствовать сейчас, когда революция и руководимая им партия слились воедино и во главе этого могучего единства его воплощением стал, несомненно, он, Ленин.

Однако Ленин всего этого, по-видимому, абсолютно не сознавал, и я начинал испытывать смутное чувство

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 14.
** Там же.

раздражения и недовольства. Мне казалось, ему недостает соответствующей его роли величественности. Я был уверен, что в России и без него произошла бы вторая революция, но она была бы не такой — пока практически бескровной революцией, перед которой оказывалось бесполезным всякое сопротивление. В мемуарах Керенского с поразительной наивностью описывается, как быстро таяли силы сопротивления и рушились его надежды. Судя по этим мемуарам, единственной заботой Керенского было доказать, что он сделал все возможное для подавления восстания и ликвидации Смольного и не его вина, если это ему не удалось.

Ленин, наоборот, никогда не говорил о своей роли катализатора революции.

Если вам когда-нибудь доведется стать свидетелем или участником революции, вы поймете, как трудно сразу согласовать с действительностью свои романтические представления. Ленин писал в июле 1917 года: «За время революции миллионы и десятки миллионов людей учатся в каждую неделю большему, чем в год обычной, сонной жизни» *.

Крупская говорила о величии революции, но, когда великое рядом, его видишь только наполовину. Скромность формулировки первой ленинской фразы только подчеркивала ее величие и дерзкую прямоту. Разоренная, истерзанная страна, четыре года кровавой войны, бессмысленных разрушений и потерь, намного превосходящих потери любой другой воюющей страны, восемь мучительных месяцев неразберихи и нерешительности Временного правительства — и вдруг: начинается строительство социализма!

Сейчас мне кажется, что в ту ночь на эту фразу почти никто не обратил особого внимания. Я вытянул шею и оглядел зал. Вокруг меня спокойно сидели одетые в шинели и бушлаты люди и, не замечая духоты в зале, обогреваемом лишь теплом их тел, внимательно слушали своего вождя. Сколько из них участвовало во вчерашних событиях? Я вспомнил, как накануне в отеле «Франс», где мы обедали с Ридом, один остряк из посольства разглагольствовал: «Ваши друзья большевики, кажется, не очень сильны в стратегии. Впрочем, что от них ожидать? Троцкий в так называемом Воен-

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, с. 55.

но-революционном комитете профессиональный оратор. А Антонов? Кто он такой? Поэт? Хоть бы создали оборонительную зону вокруг Смольного! Не будь Керенский таким трусом, он мог бы захватить Смольный с какой-нибудь сотней солдат. Что у них там сейчас? Несколько штабелей дров, которых не хватит даже на приличную баррикаду, да пара пулеметов с людьми, не умеющими из них стрелять». Рид язвительно заметил, что Керенский почему-то так и не дождался своей сотни солдат. Кроме того, он не посмел бы тронуть Смольный, пока там, кроме большевиков, находились эсеры и меньшевики.

Насмешки в адрес большевиков мы слышали и до восстания. Тогда доморощенные стратеги обвиняли их в затягивании вооруженного выступления, а когда восстание началось, ворчали, что красногвардейцы не умеют стрелять, а их командиры не знают военной науки. Впрочем, те же критики доказывали, что восстание было просто большевистским переворотом, совершенным в результате военного заговора.

И вот теперь в Смольном, вглядываясь в суровые лица людей, напряженно ловящих каждое слово с трибуны, я почувствовал, как во мне поднимается горячая волна симпатии ко всем красногвардейцам, матросам и солдатам, так замечательно выполнившим свой революционный долг. Только ослепленные предрассудками люди, подумал я, могут остаться к этому равнодушными.

Если не все в зале, то многие, должно быть, понимали свою великую историческую миссию. Вряд ли они высоко ставили свою личную роль и место в истории, как это делал Троцкий, но они имели полное основание гордиться своей миссией. Рабочие, неумело держащие винтовки, задиристые, острые на язык матросы приобрели за одну ночь новый статус — они стали знаменосцами, первостроителями нового мира. «Мы были ничем, мы стали всем».

А пока в эти утренние часы заседания, усталые, возбужденные победой, хотя и несколько озадаченные ее необычайной легкостью, люди, казалось, пребывали в состоянии какой-то заторможенности. Сидя в зале и слушая ораторов, они в то же время с полным правом вершителей революции отдыхали от своих вчерашних трудов. Возможно, они удивлялись, что все еще сидят

здесь. Ведь Петроград с его огромными площадями и широкими проспектами представлял не только великолепную арену для революции — здесь было где развернуться огромным массам, — те же удобства имели и контрреволюция: прямые улицы давали идеальную возможность расстрелять из пушек и пулеметов любую массовую процессию. Это не произошло, и то, что это не произошло, все еще казалось непостижимым.

* * *

В небольшой книжке о Ленине я уже рассказывал о впечатлении, которое произвел на нас Ленин в ту ночь 26 октября (8 ноября) *. Мы тогда впервые увидели человека, которого знали до сих пор по рассказам его молодых последователей.

Как и многие другие, я потом описывал его манеру раскачиваться на каблуках, засунув большие пальцы в вырез жилета, его голос, в котором нам послышалось тогда «больше резких, сухих нот, чем ораторски проникновенных». Я мог бы этим и ограничиться — получился бы портрет человека, чувствующего себя как рыба в воде в этом огромном зале, до отказа заполненном людьми и дымом дешевого табака, перед устремленным на него взглядом сотен пар глаз, ищущих и вопрошающих.

Но я продолжал: «В течение часа вслушивались мы в его речь, стремясь уловить в ней ту скрытую притягательную силу, которая объяснила бы нам его огромное влияние на этих свободных, молодых и сильных людей. Но тщетно.

Мы были разочарованы.

Дерзание и безудержный порыв большевиков зажгли наше воображение, того же мы ждали и от их вождя. Нам представлялось, что в лице лидера их партии мы увидим воплощение всех тех качеств, которые свойственны этой партии, что в нем заключена вся ее сила и мощь, что он, если хотите, сверхбольшевик» **.

* Автор имеет в виду свою книгу «Ленин — человек и его дело» (см.: Альберт Рис Вильямс. О Ленине и Октябрьской революции. М., 1960, с. 29—75).

** Альберт Рис Вильямс, О Ленине и Октябрьской революции. М., 1960, с. 38.

Меня часто потом спрашивали, не снизил ли я умышленно свое первое впечатление, применив известный чеховский прием усиления драматизма при помощи антикульминации. Безусловно, в какой-то мере это было так. Но главное в том, что для нас, американцев, привыкших к другому типу политических деятелей, Ленин представлял загадку. У нас политический деятель подобного масштаба далек от народа, окружен подобострастными звездами второй величины и агентами тайной полиции. Каждое его появление перед публикой тщательно готовится специальной группой церемониймейстеров, каждое выступление составляется штатными помощниками, и все это сопровождается невероятной рекламной шумихой. Личность Ленина ставила нас в тупик: человек абсолютной непринужденности, он был в то же время начисто лишен того, что называют внушительностью. Его подход даже к самым большим вопросам казался на первый взгляд прозаическим.

Например, первой фразы о построении социалистического государства не было в тексте, который он держал в руках, она была экспромтом. В устах любого американского лидера — социалиста, демократа или (невероятное предположение!) республиканца она была бы расцвечена всеми красками риторики, и самыми скромными из них были бы сравнения с утренней зарей, неувядаемыми словами о свободе или торжественные слова о всемогущем боге. Даже Юджин Лебс часто упоминал бога, хотя Христос для него всегда был мятежником и крестоносцем, палкой изгнавшим менял из храма.

Что ж, нам пришлось считаться с необычным характером Ленина, в котором полная отчужденность от своей роли сочеталась с абсолютной простотой и уверенностью в себе. То были, разумеется, две стороны одной медали, две черты, обусловленные беспредельной верой в революционную инициативу народа. Эта вера давала ему удивительную свободу и, как я вновь и вновь замечал, доставляла большую радость. Всю зиму 1917/18 года до своего отъезда из Москвы во Владивосток весной 1918 года каждый раз, встречая Ленина, я не переставал удивляться этой свободе, которая объясняет и полное отсутствие какого бы то ни было страха за себя лично, и отсутствие какого бы то ни бы-

ло позерства. Вера в массы не мешала ему, однако, лично браться за любую проблему, которая вставала перед ним, и вскрывать те, что были глубоко спрятаны. При этом чувство юмора и способность радоваться никогда не изменяли ему, проявляясь в тысячах мелочей, в том, как он ходил, как читал (поедая глазами) газету, с какой страстностью и точностью решал каждую новую задачу. Рансом, приехав в Петроград в 1919 году, после беседы с Лениным писал: «Возвращаясь пешком домой из Кремля, я пытался вспомнить другого человека его ранга, который обладал бы таким же жизнерадостным темпераментом, и не мог вспомнить никого». Рансом объясняет это тем, что Ленин «первый великий вождь, полностью лишенный чувства самодовольства» *.

Когда Ленин в ту октябрьскую ночь прошел по сцене к трибуне так же обыденно, как это сделал бы опытный учитель, ежедневно появляющийся перед своим классом, английский корреспондент Джулиус Вест, сидевший рядом со мной за столом прессы, шепнул: «Если его одеть немного получше, то можно было бы по внешности принять за среднего мэра или банкира из какого-нибудь небольшого французского городка» **.

Это была плоская острота, но многие из нас подхватили ее и часто с тех пор повторяли в своих книгах и статьях. Совсем не смешная, она стала избитой. Вся обстановка противоречила ей: тишина зала, напряженное внимание слушателей, громоздкие плечи серых шинелей, вплотную прижатые друг к другу, недоверчивые глаза крестьян (по большей части просто сельских пролетариев), боящихся пропустить хоть одно слово или чего-нибудь не понять...

Ленин закончил читать декларацию. Зал подался вперед, волна за волной прокатились аплодисменты, и поднялась буря оваций. Вряд ли какой-нибудь мэр выступал в такой обстановке и встречал такой прием! Из задних рядов раздался голос: «Да здравствует Ленин!» Со всех концов огромного зала ему откликнулось эхо: «Ленин! Ленин!»

Потом он снова заговорил, разъясняя смысл воз-

---

* См.: A. R. Williams. Lenin. The Man and His Work. New York, 1919, pp. 173, 174.

** Альберт Рис Вильямс. О Ленине и Октябрьской революции. М., 1960, с. 38.

звания. «Рабочее и крестьянское правительство, — сказал он (другого названия пока не было), — созданное революцией 24—25 октября и опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, должно немедленно начать переговоры о мире» *.

Я начинал понимать, почему сама декларация о мире была такой простой. Ленин прежде всего хотел обеспечить мир. Он не собирался игнорировать правительства воюющих стран, что означало бы затягивание возможности заключения мира. «...Но мы, — говорил он далее, — не имеем никакого права одновременно не обратиться и к народам. ...Мы должны помочь народам вмешаться в вопросы войны и мира» **.

Потом Ленин сказал, что большевики, конечно, будут настаивать на полном выполнении программы мира без аннексий и контрибуций, но в то же время они не собираются облегчать положение своих противников, дав им возможность объявить всякие переговоры бесполезными. «Поэтому и включено положение о том, что мы рассмотрим всякие условия мира, все предложения. Рассмотрим, это еще не значит, что примем. Мы внесем их на обсуждение Учредительного собрания, которое уже будет властно решить, что̀ можно и чего нельзя уступить». Он осудил тайную дипломатию и решительно заявил, что правительство будет «...действовать открыто перед всем народом»***.

Предлагая перемирие на три месяца, но и не отвергая более короткого срока, правительство исходило из желания дать народам возможность хоть на некоторое время вздохнуть свободно, а также «...созвать народные собрания, чтобы обсудить условия» ****.

Предложение о мире встретит сопротивление империалистических правительств, и поэтому Ленин не обольщался на этот счет. Но он надеялся, что во всех воюющих странах тоже скоро произойдет революция, поэтому он в первую очередь обращался к рабочим Франции, Англии, Германии...

Революция 24—25 октября 1917 года открыла эру со-

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 16.

** Там же.

*** Там же, с. 17.

**** Там же.

циальных революций. «Рабочее движение выполнит свою миссию и победит во имя мира и социализма» *.

В последних словах было больше спокойной уверенности, чем угрозы. Это было не бахвальство, а сдержанная радость победной песни. Я привожу последнюю фразу в том виде, как мы ее записали с Джоном Ридом, прежде всего потому, что этот перевод мне нравится больше, чем официальный, который я цитировал в других книгах. Кроме того, мы с Ридом были такими же репортерами, как и русские, а официальный текст был составлен из газетных отчетов, так как стенографической записи не велось.

Простым голосованием было решено давать слово только представителям политических групп — не более 15 минут. Левые эсеры и меньшевики-интернационалисты (включая фракцию «Новая жизнь»), которые прошлой ночью отделились от правых эсеров и меньшевиков и остались на съезде, выступили с протестом. Левые эсеры ссылались при этом на то, что у них не было времени изучить документ и внести поправки. Меньшевики-интернационалисты заявили, что осуществлять предложенную программу может только правительство, сформированное всеми социалистическими партиями. Тем не менее обе группы согласились с самим Декретом. Поддержали его и другие группировки: украинские социалисты, эсеры и другие. Некоторые ораторы выступали горячо и красноречиво. Потом поднялся какой-то делегат и низким басом потребовал слова, чтобы выразить свой личный протест. Ему дали слово. Как это так получается, спросил он, что программа, с одной стороны, призывает к миру без аннексий и контрибуций, а с другой обещает рассмотреть любые мирные предложения?

В заключительном слове Ленин сказал: «Я буду высказываться решительно против того, чтобы наше требование о мире было ультимативным... Что скажет крестьянин какой-нибудь отдаленной губернии, если из-за нашей ультимативности он не будет знать, что хочет другое правительство. Он скажет: товарищи, зачем вы исключили возможность предложений всяких условий мира... Я готов биться революционным путем

---

* А. Р. Вильямс приводит здесь свою запись фразы Ленина (см.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 18).

за справедливые условия, если правительства не согласятся, но могут быть такие условия для некоторых стран, что я готов предложить этим правительствам бороться самим дальше...

...Нам возражают, что наша неультимативность покажет наше бессилие... Наше понятие о силе иное. По нашему представлению государство сильно сознательностью масс. Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могут судить и идут на все сознательно. Нам нечего бояться сказать правду об усталости, ибо какое государство сейчас не устало, какой народ не говорит открыто об этом?.. Разве в Германии не происходит массовых демонстраций рабочих, на которых выбрасываются лозунги о прекращении войны?..» * (То, что Ленин позже понял — немецкие рабочие не смогут вовремя выступить, чтобы спасти Россию от Брестского мира, — не имеет никакого отношения ни к оценке Лениным данного момента, ни к его общей уверенности в неизбежном крахе капитализма в Европе. Неизбежность может рассматриваться марксистом и с дальней точки зрения — стратегической, и с близкой — тактической.)

В 10.35 председатель поставил вопрос на голосование. Декларация, обращенная к народам и правительствам воюющих стран, была принята единогласно. Один делегат поднял было мандат, чтобы проголосовать «против», но неодобрительный шум заставил его тут же опустить руку.

Итак, свершилось. Принят первый Декрет новой власти. Люди улыбались, глаза их сияли, головы гордо вскидывались. Это надо было видеть! Едва сформированное по-настоящему правительство, не дожидаясь созыва Учредительного собрания, обращалось ко всей планете со своими мирными предложениями. (Пройдет немного времени, и мы увидим, как Вудро Вильсон **, будучи не в силах игнорировать эти предложения, фактически повторит их в своих 14 пунктах.)

Рядом со мной поднялся высокий солдат и со слезами на глазах обнял рабочего, который тоже встал с места и яростно аплодировал. Маленький жилистый

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 19—20, 21.

** Вудро Вильсон (1856—1924) — президент США в 1912—1921 гг.

матрос бросал в воздух бескозырку. Судя по ленточке, это был моряк Балтийского флота, может быть, один из тех, перед кем мы с Ридом выступали несколько недель тому назад. Выборгский красногвардеец с воспаленными от бессонницы глазами и осунувшимся небритым лицом огляделся вокруг, перекрестился и тихо сказал: «Пусть будет конец войне» *.

В конце зала кто-то запел «Интернационал», и все тут же подхватили. С тех пор каждый раз, когда я слышу звуки этого знаменитого рабочего гимна, я вижу перед собой взволнованных, торжественных людей, охваченных единым порывом, я вижу Ленина и рядом с ним всех большевистских руководителей, стоя поющих вместе с залом.

Всю осень 1917 года мы часто слышали и пели «Интернационал». Но в ту ночь, когда вместе с нами пел Ленин, вы бы слышали, как мы пели! Люди плакали и обнимались. Потом мы запели медленный, скорбный похоронный марш «Вы жертвою пали в борьбе роковой», посвященный памяти тех, кто погиб во время Февральской революции и был похоронен в братской могиле на Марсовом поле.

Сидящие в зале были не просто зрителями. Люди понимали, что это был их день, их ночь. Они снова начали аплодировать, топать ногами и смотрели друг на друга радостными глазами.

Ленин снова поднялся на трибуну. Бурлящий зал стих, делегаты подались вперед: решался вопрос о земле.

До этого председательствующий объявил последние решения Военно-революционного комитета об отмене смертной казни на фронте и тем самым о распространении на всю Россию действия одного из первых постановлений Февральской революции, а также об освобождении всех политических заключенных и всех членов местных крестьянских комитетов, арестованных по приказу Временного правительства за самовольный захват земли. Оба эти решения солдаты и крестьяне встретили громкими аплодисментами.

Но теперь, когда перед ними стоял Ленин, держа в руках листки бумаги, в которых говорилось о земле, они затихли. Сначала Ленин говорил, не глядя в текст.

* Эта фраза дана Вильямсом по-русски.

Голова была несколько наклонена вперед, на лице, без привычных впоследствии бороды и усов, особенно выделялись подвижной рот и энергичный подбородок. Вооруженное восстание, вторая революция в России ясно показывают, что земля должна быть передана крестьянам. Только что свергнутое правительство и соглашательское руководство эсеров и меньшевиков совершали преступление, «...под разными предлогами оттягивали разрешение земельного вопроса и тем самым привели страну к разрухе и к крестьянскому восстанию» *.

Их разговоры о погромах и анархии — обман. «Где и когда погромы и анархия вызывались разумными мерами?.. Правительство рабоче-крестьянской революции в первую голову должно решить вопрос о земле, — вопрос, который может успокоить и удовлетворить огромные массы крестьянской бедноты. Я прочту вам те пункты декрета, который должно выпустить ваше Советское правительство» **. И спокойным голосом, будто речь шла о большевистской аграрной программе 1905 года, Ленин сказал совершенно неожиданную вещь. Как о чем-то само собой разумеющемся, он заявил, что в Декрет включен крестьянский наказ, составленный на основании 242 наказов местных Советов крестьянских депутатов. Наказ был опубликован газетой «Известия Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов» (газетой, которая так же неукоснительно выражала линию правых эсеров, как «Уолл-стрит джернел» выражает интересы финансового капитала США). Он должен, продолжал Ленин, повсюду служить «для руководства по осуществлению великих земельных преобразований, впредь до окончательного их решения Учредительным собранием...» ***.

В остальных пунктах для меня не было ничего примечательного. Помимо наказа, их было всего пять ****. Помещичья собственность на землю отменялась немедленно и без всякого выкупа. Помещичьи имения, удельные, монастырские, церковные земли со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками переходят в распоряжение волостных и уездных Сове-

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 23.

** Там же, с. 23—24.

*** Там же, с. 24.

**** Наказ был включен в пункт 4-й Декрета о земле. Далее выдержки из наказа см. там же, с. 24—26.

тов крестьянских депутатов, впредь до решения Учредительного собрания. Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются. Так как конфискуемое имущество принадлежит отныне народу, какая бы то ни было порча его объявляется «тяжким преступлением», карается революционным судом. Местные комитеты должны принять все необходимые меры для соблюдения строжайшего порядка при конфискации, для составления точной описи и определения того, до какого размера участки и какие именно подлежат конфискации.

Затем он начал читать наказ, который был опубликован 19 августа 1917 года и мог вполне быть написан Ткачевым, теоретиком народников XIX века. Особенное внимание привлекли строчки: «Все мелкие реки, озера, леса и проч. переходят в пользование общин, при условии заведования ими местными органами самоуправления», — а также слова: «Земельный фонд подвергается периодическим переделам» *.

Короче говоря, в Декрете было больше того, чего хотели крестьяне, что исторически намечали для них большевики. «Землепользование должно быть уравнительным, т. е. земля распределяется между трудящимися, смотря по местным условиям, по трудовой или потребительной норме» **. Черт возьми! И это после всего, что Маркс писал о Прудоне и Бакунине, разоблачая бессмысленность лозунга «уравнительности»! *** Так же, как и в Декрете о мире, Ленин умышленно подчеркивал то, что было понятно любому демократу, любому крестьянину или солдату и к чему, собственно, они стремились.

Я сейчас не помню, на каком слове Ленин задержался и поднес бумагу ближе к глазам, разбираясь в тексте. Кто-то из президиума взял у него листки и дочитал до конца сложный, состоящий из более тысячи слов наказ, детали которого никого, кроме крестьян, не волновали. Интересно, что сказал бы обо всем этом Янышев?

Ведь наказ со всеми его ссылками на крестьянскую

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 25, 26.
** Там же, с. 26.
*** Большевики тоже были против уравиительности; ио в даиином случае оии ие могли обойти желаиие иародиых иизов, предоставив им полиую свободу творчества.

общину, которая, по словам Янышева, не только безнадежно устарела, но фактически умерла, в последнем абзаце пункта 4-го ленинского Декрета признан целиком и полностью, как «выражение безусловной воли огромного большинства сознательных крестьян всей России».

Уже по одному вопросу землепользования могли разгореться жаркие бои — как много раз бывало в прошлом, когда теория еще не осложнялась практикой. Теперь же вопрос об «утопических понятиях» решался не в лингвистических спорах и в конечном счете не силой оружия, которая оказывается весьма необходимой, когда речь идет о захвате средств производства, но не может служить ни основой отношения человека к человеку, ни основой отношения человека к труду, — при социализме эти понятия имеют качественно иной характер.

Самое удивительное, что в очень кратких ленинских пунктах Декрета ни слова не говорилось о том, что вся земля принадлежит всему народу в целом, речь шла только о «конфискуемом имуществе» *. Но никакого противоречия у Ленина не было. Ленинский пункт пятый, и только он, предусматривал, что «земля рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуется». Богатым и зажиточным казакам — а таких немало — никаких привилегий не предоставлялось. Что касается сельскохозяйственного инвентаря, то наказ освобождал от конфискации только малоземельных крестьян. Один из ленинских пунктов провозглашал немедленную и без всякого выкупа отмену помещичьей собственности. Формулировка: *«Право частной собственности на землю отменяется навсегда»* — была из наказа, составленного эсерами на основании известных крестьянских наказов. Наказ определял также: «Наемный труд не допускается».

---

* Это утверждение автора неверно, так как если в Декрете не сказано точно такими словами — «вся земля принадлежит всему народу в целом», — то смысл этого в нем выражен. В докладе о земле В. И. Ленин говорил: «...земля должна быть передана в руки крестьян», а в Декрете записано об отмене помещичьей и права частной собственности на землю, о безвозмездном отчуждении всей земли, которая «обращается в всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней» (наказ, п. 1). В Декрете говорится также о конфискуемом имуществе, принадлежащем отныне всему народу (см.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 23—27).

* * *

Рид, не имевший моего знания русской деревни, приобретенного во время летней поездки с Янышевым и долгих споров с ним *, не понимал моего возбуждения. Атмосфера сказочности предыдущих часов для меня исчезла.

— Ну-ка, посмотрим, что скажут эсеры н а э т о, — злорадно пробормотал я. — К чему они т е п е р ь будут придираться. Не могут же они заявить, что не успели ознакомиться с э т и м!

— Послушай, почему это так тебя заинтересовало? — пытался выяснить Рид. — Ведь твои валлийские предки были шахтерами, а не фермерами. Уж не собираешься ли ты поселиться здесь и пойти в пахари? Так имей в виду, у тебя ничего не выйдет: ты не гражданин Российского государства **, а наемный труд, ты же слышал, не допускается.

Как я и ожидал, в рядах, где сидели левые эсеры и меньшевики-интернационалисты, начали подготавливать возражения. Мы видели склоненные друг к другу головы, энергичные жесты. Но Ленин отнял у противников козыри и обезоружил их своей откровенностью. «Здесь раздаются голоса, — спокойно и, я бы даже сказал, умиротворительно продолжал он, — что сам декрет и наказ составлен социалистами-революционерами. Пусть так. Не все ли равно, кем он составлен, но, как демократическое правительство, мы не можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы с ним были несогласны. В огне жизни... крестьяне сами поймут, где правда» ***.

— Весьма разумно, — ответил Рид, толкая меня в бок. Ага, и его наконец захватило!

«Жизнь — лучший учитель, — говорил тем временем Ленин, — а она укажет, кто прав... Мы должны следовать за жизнью, мы должны предоставить полную

---

* А. Р. Вильямс летом 1917 года ездил во многие районы страны: Поволжье, Владимирскую губернию, на Украину. Ряд этих поездок он совершил вместе с Янышевым.

** Джон Рид имел в виду пункт 6-й наказа, в котором говорилось: «Право пользования землею получают все граждане (без различия пола) Российского государства...» (см.: В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 35, с. 25).

*** В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 35, с. 27.

свободу творчества народным массам. Старое правительство, свергнутое вооруженным восстанием, хотело разрешить земельный вопрос с помощью несмененной старой царской бюрократии. Но вместо разрешения вопроса бюрократия только боролась против крестьян. Крестьяне кое-чему научились за время нашей восьмимесячной революции, они сами хотят решить все вопросы о земле. Поэтому мы высказываемся против всяких поправок в этом законопроекте, мы не хотим детализации, потому что мы пишем декрет, а не программу действий. Россия велика, и местные условия в ней различны; мы верим, что крестьянство само лучше нас сумеет правильно, так, как надо, разрешить вопрос... Пусть сами крестьяне решают все вопросы, пусть сами они устраивают свою жизнь» *.

Левые эсеры и меньшевики-интернационалисты потребовали перерыва для совещания. Мы с Ридом вышли на улицу и заговорили об эмоциональной силе ленинской речи, так непохожей на блестящие, театрализованные выступления Керенского. Все старания правоэсеровского руководства посеять среди крестьян недоверие к Ленину и внушить веру в Керенского оказались тщетными. Сегодня крестьяне лично видели и слышали Ленина. К концу его речи их настороженность исчезла. Что они думали о Ленине? Мне, например, показалось, что в своих напряженных раздумьях они забыли о нем как о личности. И это было понятно: он обращался к ним как к равным и не стремился произвести впечатление.

— Ему вообще чужда манера говорить свысока, — сказал я Риду. — Крестьяне понимают его. Я давно тебе твердил: нельзя недооценивать крестьян.

Но Рида интересовали не крестьяне, а Ленин:

— Ты обратил внимание, что сегодня он ни разу не упомянул о диктатуре пролетариата, а все время подчеркивал — «наше демократическое правительство», «демократические идеалы»?

— А почему бы социалистическому правительству не быть демократическим? — ответил я.

К нам присоединились Бесси Битти и Луиза Брайант, и мы стали ходить взад и вперед по площади перед Смольным. Стоял еще октябрь, но мы дрожали

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 27.

после теплоты зала. Ночи стали заметно длиннее. Наши ночные бдения удлинились к тому же за счет бурных событий последних дней. Все это время мы почти совсем не спали, ели наспех и когда придется и давно потеряли счет дням и часам. Неужели только 24 часа тому назад мы примчались в Смольный из Зимнего дворца, где были свидетелями того, как уводили в Петропавловскую крепость арестованных министров Временного правительства?

Мы устали ходить и остановились погреть руки у костра, разложенного перед внешними воротами. Спиной к огню стоял солдат в высокой, сдвинутой на одно ухо барашковой шапке — один из тех, кого в эти темные ночи можно было встретить повсюду. Обычно они ходили группами по два-три человека во главе с красногвардейцами. Вокруг Смольного они складывали костры из бревен, считая, наверно, что баррикады больше не понадобятся. Этот солдат стоял один.

Интересно, что он чувствовал, видя, как сотни делегатов проходят в Смольный, и хотел бы он быть сейчас там, вместе с ними?

— Как дела? * — спросил я его.

Он что-то пробурчал в ответ, и я уловил только слова «проклятая война» и «голод». Луиза Брайант попросила Рида задать еще какой-нибудь вопрос, но тот сделал вид, что не слышит. Он предложил солдату папиросу и попросил огня. Достав из костра головешку, солдат прикурил от нее и дал прикурить Риду. Неожиданно он выпрямился, его исхудалое бородатое лицо оживилось, глаза при свете костра засверкали каким-то особенным блеском. Подняв левую руку (в правой была винтовка с примкнутым штыком), он сжал кулак и громким голосом произнес:

— Людям нужен хлеб! Люди хотят счастья!

Когда мы повернулись, чтобы идти, он проводил нас осуждающим взглядом. Как только мы отошли подальше, Рид набросился на Луизу:

— Почему нужно было вести себя так, будто он экспонат в музее? Он ведь подумал, что мы смеемся над ним, или издеваемся над его революцией, или бог знает что еще!

---

* Эта фраза написана Вильямсом по-русски.

Но злость Рида тут же пропала, и он мягко произнес:

— Счастье... Хлеб... Да, возможно, они еще получат и то, и другое.

— Все равно, — сказала Бесси Битти, с которой мы шли сзади, — я не хотела бы быть на месте Ленина. Народ так много ждет. Я только что видела Робинса. Он говорит, что, когда пал Зимний дворец, — когда это было? вчера? — хлеба у них оставалось всего на три дня... Ленин столько им обещал...

— Он ничего им не обещал, — отрезал я, — ничего, кроме возможности самим управлять этой обанкротившейся, несчастной и обманутой, искалеченной и измученной страной.

* * *

«Мы сейчас должны заняться созданием социалистического государства». Всего несколько простых слов, но за ними целые эпохи прошлой и будущей истории человечества! В этих словах была запечатлена великая цель революции — возрождение всего человечества. Они направляли ум и энергию народа на построение совершенно нового общества, основанного на новых экономических принципах, на новой морали и этике. Эта этика, отвечающая появлению нового человека, нового образца жизни, создавалась в течение многих столетий, в ней воплощаются устремления передовых мыслителей многих десятков поколений.

Маркс и Энгельс не только критиковали западных философов от Платона до Фейербаха; они неоднократно признавали и свой долг перед ними, несмотря на великолепную дерзость заявления о том, что до сих пор «философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его» *.

И вот впервые в истории мечта поэтов (Шелли, Байрона, Китса, Некрасова, Пушкина), древних мечтателей и пророков, философов-гуманистов оказалась в руках реалистически мыслящих, закаленных в борьбе людей, вооруженных марксистской теорией. Я мог с ними не соглашаться. Но, как бы вы к этой теории ни относились, нельзя не признать, что это гуманистическая теория.

---

* К. Маркс Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд., т. 3, с. 4.

Можно ли вообще осуществить такую мечту? И под силу ли им эта задача? Что ж, для эксперимента в их распоряжении шестая часть земного шара, а в качестве главного экспериментатора — человек, заразивший их своей верой в народную инициативу как в решающий фактор успеха, человек, которому их любовь дала право на руководство.

В два часа ночи Декрет о земле был поставлен на голосование. Против был только один голос. Крестьяне ликовали.

Между тем контрреволюция собирала силы. Военно-революционный комитет разослал во все армейские комитеты приказы о розыске Корнилова, который только что бежал из Быковской тюрьмы. Пока Временное правительство было у власти, он чувствовал себя в безопасности, но, узнав о новой революции, поспешил скрыться. Теперь его собирались заключить в Петропавловскую крепость и судить.

На фронт нужно было послать агитаторов. В зал за дальнейшими приказаниями входили новые группы матросов. Было почти семь часов утра, когда мы сели в трамвай, чтобы ехать домой.

БОЛЬШЕВИК АНТОНОВ

На следующий день мы с Ридом отправились в Смольный, стремясь скорее получить пропуска для поездки на новый фронт. Керенский был полон решимости вернуть потерянную власть и имел для этой цели союзника — царского генерала Краснова, который благодаря Корнилову был назначен командиром Третьего конного корпуса. Казачьи части, составлявшие этот корпус, считались абсолютно надежными. Поэтому, чтобы иметь под рукой войска на случай, если народные массы выйдут из повиновения, Керенский еще в начале сентября отдал приказ (в зашифрованной телеграмме, подписанной, как говорят, Красновым) о снятии Третьего корпуса с русско-германского фронта и размещении его в Царском Селе, Гатчине и других пригородах столицы. Теперь этот корпус шел на Петроград, и возглавлял его, по слухам, сам Керенский.

Уже поступали сообщения, что передовые отряды рабочих и отдельные войсковые подразделения, посланные навстречу казакам новым правительством, бы-

ли отброшены от Гатчины. И вот им на помощь непрерывным потоком шли рабочие-красногвардейцы, заполняя все дороги, ведущие на юг. Тревожно звучали заводские гудки. По приказу Военно-революционного комитета некоторые фабрики и заводы прекратили работу.

По дороге в Смольный мы видели расклеенные на стенах домов и тумбах листовки, в которых было написано: «Районным Советам рабочих депутатов и фабрично-заводским комитетам. ПРИКАЗ: Корниловские банды Керенского угрожают окраинам нашей столицы... Армия и Красная гвардия революции нуждаются в немедленной поддержке рабочих». Комитетам предлагалось мобилизовать «как можно большее число рабочих...», которые должны захватить с собой «все имеющиеся запасы колючей проволоки, а также орудия для копки траншей и возведения баррикад». Более крупным шрифтом было напечатано: «Все имеющееся оружие нести на себе». А потом совсем огромными буквами стояло:

«Все должны соблюдать строжайшую дисциплину и быть готовыми до конца поддержать революционную армию».

Из Смольного выходили рабочие, вооруженные кто винтовками и револьверами, кто лопатами и ручными гранатами. У некоторых за плечами висели свернутые одеяла и привязанные чайники. Было несколько женщин и даже подростков, которые тоже несли одеяла и мешки с хлебом, чаем и другим продовольствием.

Никаких сомнений относительно пропусков на фронт у нас не возникало. Мы получили от Военно-революционного комитета временные пропуска в Зимний, даже когда шел штурм дворца. Какие могут быть возражения теперь? Но при входе в Смольный нас остановили. Что еще за новости? Как! И сюда нужен пропуск? За один день все изменилось. В Смольном установилась дисциплина. Пока выяснялось, что к чему, мы с Ридом потеряли друг друга.

В конце концов меня пропустили по паспорту. Но когда дело дошло до пропуска на фронт, куда шли красногвардейцы драться с казаками, все осложнилось. В Смольном вдруг воцарился образцовый порядок. В нем действовали комиссары и различные должност-

ные лица. Меня посылали от одного к другому, все выше и выше, пока неожиданно я не оказался лицом к лицу с Лениным. Я стоял перед ним со всеми моими бумагами и думал, что мне необыкновенно повезло. Ленин быстро просмотрел рекомендательные письма, подписанные Морисом Хилквитом и Камилем Гюйсмансом *, и бросил на меня насмешливый взгляд. Имена, казавшиеся мне такими значительными, очевидно, не вызывали у него особого почтения. Как я писал в своей книге о Ленине, он вернул мне бумаги с таким видом, будто это были письма от секретарей каких-нибудь местных клубов, и ответил одним словом «Нет».

Не помню, где мы снова встретились с Ридом и что произошло с ним за это время. Помню только, что я бегал по всему Смольному, тщетно пытаясь найти когонибудь из знакомых, кто мог бы поговорить о нас с Лениным. На следующий день мы снова пришли к Смольному с твердым решением любым путем присоединиться к формирующейся здесь нерегулярной армии. У подъезда стоял автомобиль, который отправлялся на фронт. В него садились Антонов-Овсеенко и матрос Дыбенко. Стоявший с нами Гамберг преспокойно полез в машину следом за ними и жестом пригласил нас сделать то же самое. Антонов попытался было протестовать, но Гамберг объяснил ему, как важно, чтобы два американских корреспондента увидели все своими глазами и рассказали миру правду о героизме рабочих, защищающих революцию. Антонов вздохнул и согласился. Перед лицом всех тех проблем, которые легли на его плечи — Антонов только что был назначен, по сути дела, главнокомандующим всех войск Российской республики, — он, видимо, решил не обременять себя еще одной, которая пока ограничилась тем, что в старом, видавшем виды автомобиле стало еще тесней. Не возражал и Дыбенко — комиссар военно-морских сил. Ему было тогда 28 лет, и выглядел он довольно эффектно: темные вьющиеся волосы, сдвинутая на затылок каракулевая папаха, короткая, подстриженная веером бородка и закрученные кверху усы.

Впоследствии мы, конечно, не спешили обнародо-

---

* К. Гюйсманс (1871—1968) — бельгийский политический деятель, в 1904—1919 гг. был секретарем Международного социалистического бюро II Интернационала.

вать тот факт, что после ленинского «нет» нам с помощью Гамберга удалось все-таки попасть на фронт — и не просто с красногвардейцами, а с главнокомандующими всех войск и флота республики. Учитывая все, что мы тогда слышали о «железной руке» Ленина, мы особенно тщательно скрывали наших «пособников». (Скрывали даже вид транспорта, которым добирались!) Наши друзья-большевики говорили, что в принципиальных вопросах Ленин тверд и непримирим. Нам еще предстояло узнать, какая это была многосторонняя личность, понять, что простота и прямота не отрицают сложности. Мы рассуждали так: «Ленин вводит железную дисциплину. Значит, он будет непреклонен даже в мелочах». Многому нам пришлось потом научиться. А тогда мы решили быть предельно осторожными. Он сказал «нет», несмотря на мои рекомендательные письма. Значит, надо постараться, чтобы вокруг нашей поездки было как можно меньше шума. Главное, мы попали на фронт! Рид рассказал о поездке устами «одного русского знакомого», которому он дал прозвище «Trusishka», а про нас написал, что мы поехали на фронт поездом.

«Trusishka» происходит от русского слова «трус». В выборе этого псевдонима, безусловно, сказалось отношение Рида к Гамбергу, с которым он находился в постоянной вражде.

Нашу тайну раскрыл Дыбенко, который через несколько лет в своих воспоминаниях об Октябре рассказал, как два восторженных американских корреспондента набились в попутчики к двум самым главным военным начальникам тех дней...

Дыбенко вспомнил, что ничего не ел и не пил со вчерашнего утра, то есть с самого Гельсингфорса. Антонов согласился остановить машину около ближайшего трактира или продовольственного магазина. Шофер зашел в какую-то лавку на Суворовском проспекте и вскоре вернулся с хлебом и колбасой. Но хозяину надо было заплатить. И тут оказалось, что ни у того, ни у другого комиссара в карманах не было ни копейки. Заплатил кто-то из нас, скорее всего Гамберг, которого недавно взял к себе в помощники Раймонд Робинс.

Мы уже почти выехали из города, когда наш автомобиль вдруг вышел из строя. Дыбенко остановил прибли-

жавшуюся к нам автомашину с итальянским флажком. Был ли ее владелец действительно итальянским консулом, как он утверждал, претендуя на дипломатическую неприкосновенность, что было в те дни довольно распространенной уловкой, мы так и не узнали. Нашим комиссарам выяснять было некогда. Сначала иностранца вежливо попросили уступить свою машину на время и взять вместо нее нашу, как только ее починят, — Дыбенко не моргнув глазом заявил, что это будет очень скоро, — а когда он отказался, то именем революции машину просто отобрали. Мы сели в нее и поехали дальше. По дороге на Гатчину непрерывным потоком двигались группы вооруженных рабочих и солдат (матросы вот-вот должны были подойти, говорил всем Дыбенко). Марша регулярных воинских частей мы не увидели. Люди шли безо всякого строя, тяжело хлюпая по грязи сапогами, башмаками, ботинками или еще чем-то, что трудно было даже назвать обувью. Но, странное дело, эта сугубо нерегулярная армия вызывала любые чувства, кроме чувства жалости. По мере того как мы приближались к фронту, на дороге становилось все теснее, но одновременно росла тревога командующих, и в особенности Антонова. Было похоже, что этими разрозненными отрядами рабочих и солдат никто не командует. Время от времени Дыбенко и Антонов останавливали автомобиль и спрашивали: «Кто у вас командир?» Никто не знал, а если и знали, то это всегда оказывался кто-нибудь из их же товарищей, избранный на месте только для их маленькой группы. И тем не менее все эти люди внушали невольное уважение. Даже одетые во что попало рабочие с допотопными ружьями за плечами и жестяными чайниками, громыхавшими у них на спине вместе со всевозможными боеприпасами, имели решительный, боевой вид. Они шли сюда по собственной воле, так же как и шагающие рядом с ними солдаты. На некоторых были хорошо сшитые мундиры и шинели знаменитого гренадерского полка.

В любой революции определенную роль играют случайности и непредвиденные обстоятельства. На Джона Рида и на меня большое впечатление произвел эпизод, который Дыбенко в своих воспоминаниях опустил. Этот эпизод чрезвычайно характерен для тех дней, когда человеческая воля должна была преодолевать неопытность, беспорядки и всякого рода нехватки.

Между Нарвской заставой и Пулковом мы остановились у линии обороны, которую занял на краю города большой, в несколько сот человек, отряд петроградских рабочих. Они заканчивали рытье окопов, и кое-кто уже готовил чай на костре. Все были заняты делом, и если нервничали, то со стороны это не было заметно. Антонов и здесь спросил, кто у них командир, но на этот раз нам сразу же показали на молодого красногвардейца, который сказал, что боевой дух в отряде высок и что позиция, которую они выбрали, наилучшим образом отвечает поставленной перед ними задаче: не пропустить казаков.

— Все готово к отпору. Пусть только сунутся! Есть, правда, одна загвоздка, — добавил он извиняющимся тоном, — винтовок у нас хватает на всех, а вот боеприпасов совсем нет.

Антонов поспешил заверить его, что в Смольном и в Петропавловской крепости боеприпасы в изобилии и, кроме того, с военных заводов непрерывно поступают новые партии...

— Я вам сейчас выпишу ордер, — сказал он, и полез сначала в карман пальто, потом пиджака, потом обыскал все остальные карманы, и, наконец, с мягкой улыбкой обратился к нам: — Не найдется ли у когонибудь клочок бумаги?

У Дыбенко не оказалось. Мы с Ридом вытащили свои потрепанные блокноты и начали тщательно их перелистывать в поисках чистой странички. Гамберг между тем достал свой блокнот, вырвал листок и дал Антонову.

— И карандаш, пожалуйста, товарищ, — попросил Антонов, — у меня, кажется, нет с собой.

* * *

Не буду повторять в подробностях рассказ о том, что мы видели в Царском Селе и его окрестностях. Я уже писал об этом и, в частности, о нашем появлении в штабе белых в огромном Екатерининском дворце. Подчеркнуто вежливые офицеры были слегка ошарашены, увидев большевистские пропуска, с которыми мы во время штурма прорвались в Зимний дворец. Нам сказали, что, когда придет Керенский, за жизнь обладателей этих пропусков никто не даст и ломаного гроша,

поэтому нам предложили переночевать в офицерской столовой, а рано утром явиться за другими пропусками. Нет, они не знают, когда начнутся новые бои. Казаки где-то поблизости. Офицер в чине полковника с грустью признал, что понятия не имеет, чем это все кончится. Гарнизон разделился, и сегодня после боя многие части ушли, захватив с собой большое количество артиллерии. А те, что остались, сделали это не ради Керенского — он, например, не сторонник Керенского, хотя большинство офицеров за него.

— Наше положение исключительно трудное, — печально улыбнулся полковник.

Значит, не только защитники революции испытывали трудности и неуверенность в исходе борьбы. Там не хватало офицеров, а здесь, в войсках Керенского, их было полно, но не было солдат, которыми они могли бы командовать. И ни один офицер не был уверен в победе!

Мы решили в ту же ночь вернуться в Петроград. Полковник послал своего денщика проводить нас до станции. На этот раз мы действительно ехали поездом. В городе все было спокойно, однако это спокойствие длилось недолго.

* * *

С первых же дней контрреволюция начала испытывать прочность нового строя и не нашла никакой поддержки. Почему это было так, почему уже через несколько дней отряды рабочих, солдат и матросов возвратились с победой обратно в Петроград, до сих пор остается для меня тайной. Антонов без бумаги и карандаша, голодный Дыбенко без копейки денег, машина, вышедшая из строя по дороге на фронт, куда они ехали, чтобы организовать битву, в которой рабочая армия без командиров должна была разгромить сильного и жестокого врага, — все это было типичным для революции и тем, кому она была дорога, казалось такой же неотъемлемой частью ее, как первый выстрел «Авроры».

Потом, когда я ближе познакомился с Антоновым, он рассказал, что, вернувшись в Петроград в ту же субботнюю ночь 28 октября, он сделал отчет о поездке на заседании Военно-революционного комитета и отвечал на многочисленные вопросы Ленина, который, склонив-

шись над картой, расспрашивал его о мельчайших деталях. К концу заседания Антонов был в таком состоянии, что о возвращении на фронт не могло быть и речи. Его пришлось немедленно уложить спать.

Рано утром следующего дня Антонов был снова на ногах, но вместо того, чтобы командовать вооруженными силами, оказался моим товарищем по заключению. Это был первый (и в данном случае последний) день контрреволюционного мятежа в Петрограде. В воскресенье 29 октября мы с Бесси Битти попали в плен к юнкерам, захватившим телефонную станцию. Как и полагается журналистам, мы даже в этих обстоятельствах проявляли повышенный интерес к тому, что происходит за закрытыми дверями. За одной из таких дверей я обнаружил Антонова. Ничего удивительного в этом не было: в Петрограде тогда все казалось возможным. Нам, американским корреспондентам, уже несколько раз удавалось безнаказанно совать свой нос в чужие и, как считалось, довольно опасные дела, поэтому мы с Бесси Битти, недолго думая, в воскресенье с утра пораньше отправились на телефонную станцию. Это было одно из первых правительственных зданий, которое заняли большевики 24 октября. Вполне естественно было предполагать, что и контрреволюционеры постараются прежде всего захватить телефонную станцию. Массивная каменная цитадель, выходящая фасадом на Морскую улицу, была жизненно важным центром Петрограда. Сотни тысяч проводов расходились от нее в разные стороны, связывая Смольный с революционными полками, с Петропавловской крепостью, со всем городом и пригородами. «Военный отель», где жило большинство иностранных корреспондентов, находился всего в двух шагах от телефонной станции.

Что же произошло ночью? Как мы потом узнали, ночью отряд в 20 юнкеров, переодетых красногвардейцами, явился на телефонную станцию под видом смены караула. Они назвали правильный пароль, поэтому часовые, охранявшие станцию, спокойно поставили винтовки в пирамиду, а когда повернулись, их встретили направленные в грудь револьверы. Сопротивляться с пустыми руками было бессмысленно. Всех их заперли где-то внутри здания.

Утром такая же сцена с переодеванием произошла в «Военном отеле». Другая группа юнкеров, предъявив

поддельные документы с синей печатью Военно-революционного комитета, обезоружила часовых и посадила их под замок в подвал. Как я уже сказал, отель находился в двух шагах от телефонной станции, которая, я тому свидетель, была захвачена раньше отеля.

Когда я подошел к станции, юнкера поспешно возводили нечто вроде баррикады. Командовавший ими французский офицер спросил, что я здесь делаю. Показав свой паспорт, я небрежно ответил, что являюсь американским корреспондентом и «заглянул» сюда посмотреть, что здесь происходит. Помню, при этом я подумал: а что, если самым невинным тоном задать ему тот же вопрос, — но вовремя удержался, так как в этот момент на телефонную станцию «заглянула» Бесси Битти. Это было уже слишком. Офицер приказал направить нас наверх, строго-настрого запретив подпускать к телефону. Вскоре послышались выстрелы, свист пуль, шум и грохот. Красногвардейцы и матросы, окружив здание, стреляли с соседних крыш, из окон напротив, с чердака и из-за колонн.

Как попали мы туда с Бесси Битти, я уже объяснил. Но как мог попасть в эту переделку комиссар вооруженных сил и почему именно в это пасмурное воскресное утро он оказался на телефонной станции? Как бы там ни было, когда я открыл ту дверь наверху и увидел перед собой Антонова, он был совершенно спокоен. Ни досады, ни следов паники или нервозности я не заметил. Насколько я помню, он даже не испытывал смущения от нелепости ситуации, в которую попал.

Детали контрреволюционного мятежа не представляют сейчас никакого интереса. Я останавливаюсь на этом эпизоде лишь для того, чтобы дополнить портрет Антонова, так как по крайней мере в одном отношении Антонов был типичной фигурой в созвездии молодых большевистских руководителей. Подобно Ленину, они прежде всего чувствовали себя представителями партии. Именно в этом была их исключительность, хотя каждый из них сиял не только отраженным светом ленинского гения, но и сам по себе обладал яркой индивидуальностью. В основе их этики лежал принцип коллективизма. Они действовали коллективно и подчинялись коллективному разуму партии, но это ни на йоту не умаляло свободы их личности.

По-разному можно писать о революции. Одни представляют дело так, будто ею управляла группа выдающихся деятелей, хорошо знающих свое дело, другие пишут, что революция вообще была делом случайным, серией разрозненных событий и что решающую роль в ее победе сыграло стечение обстоятельств. И та, и другая версии ложные. Без организации и плана революция быстро захлебнулась бы или закончилась страшной резней и в конечном счете победой реакции. Но и элемент случайности нельзя полностью игнорировать.

Владимиру Александровичу Антонову-Овсеенко было в то время тридцать три года. С девятнадцати лет он состоял в большевистской партии. Происходил он из военной семьи и сам в прошлом был младшим офицером. В 1905 году он участвовал в севастопольском восстании. Антонов был, пожалуй, самым надежным из большевистских руководителей, работавших непосредственно во флоте, и как только его выпустили из тюрьмы (в день, когда начался корниловский мятеж), он сразу же направился в Гельсингфорс, чтобы мобилизовать матросов на вооруженное восстание.

Размышляя теперь о прошлом, я бы сказал, что тогда, на телефонной станции, Антонов обнаружил весьма ценные для революционера качества. Каковы бы ни были его личные свойства и степень эмоциональности, он ни разу на протяжении всего эпизода не впадал в пессимизм и не проявлял излишнего оптимизма. Судя по его внешности, можно было подумать, что характер у него неровный, что он немного экзальтирован. А вел он себя тогда почти как флегматик. Реакция на мое появление была у него достаточно быстрая, но никакого удивления он при этом не выразил. Своим поведением и бесстрастным лицом он напоминал крупного профсоюзного деятеля, ведущего переговоры с хозяином о новом трудовом соглашении. Возможно, конечно, что после бурных событий последних дней его уже ничем нельзя было удивить. Однако скорее всего дело было в том, что обладатель экстравагантной рыжей шевелюры был человеком быстрого, хорошо организованного и — самое главное — дисциплинированного ума. Каково бы ни было его прошлое, он выработал в себе эту внешнюю бесстрастность, и она всегда оказывала ему добрую услугу. Помню, как он смотрел поверх очков на молоденьких юнкеров. Этот взгляд,

суровый и проницательный, на меня, например, произвел довольно сильное впечатление.

Нельзя утверждать, что попал он туда из-за своей неосмотрительности. Но можно с уверенностью сказать, что к своей личной безопасности он относился недостаточно серьезно. В те дни в Петрограде время измерялось на часы и минуты. Когда мы уезжали в Гатчину, все было спокойно. Внешне Петроград выглядел почти мирным городом. Ходили трамваи, работали извозчики, значительно уменьшилось количество ограблений. Здание министерства иностранных дел было пусто — чиновники всех рангов демонстративно оставили службу, когда от них потребовали передать секретные договоры, которые, как обещал Ленин, большевики собирались полностью опубликовать. Не выходили на работу и банковские служащие. Однако все здания государственных учреждений оставались в целости и сохранности, хотя поставленный у их дверей караул был чисто условным. Так было два дня тому назад. Теперь самые непримиримые силы реакции, замышлявшие заговор против революции, решили выступить открыто. Возглавили заговор «Комитет спасения» и «Совет республики» при тайной поддержке многих иностранных дипломатов, которые не могли примириться с победой большевиков. Саботаж оказался недостаточной мерой, готовилось вооруженное восстание. Для этой цели привлекли юнкеров и кадетов, заверив их, что Краснов и Керенский вот-вот войдут в город и будут встречены «верными» частями гарнизона.

По плану заговорщиков к рассвету должны были быть захвачены все ключевые здания. По счастливой случайности и благодаря бдительности одного советского работника накануне мятежа этот план вместе с картой, на которой были отмечены основные цели удара и расположения резервов, стал известен Советам. Для разоружения кадетов к Павловскому и Владимирскому военным училищам послали группу солдат Химического батальона знаменитого гренадерского полка. (Во Владимирском училище кадеты оказали упорное сопротивление, что привело к значительным жертвам.)

Однако телефонная станция к тому времени, когда Антонов ехал в своем автомобиле по Морской, была уже захвачена юнкерами. В баррикаде, построенной поперек улицы, они оставили свободное место и только

некоторым автомобилям и экипажам разрешали проехать мимо. Легко представить радость безбородых юнцов, когда, задержав одну из машин, они на одну треть ослабили руководство Военно-революционного комитета. Но даже если бы весь комитет попал к ним в руки, ничего бы не изменилось, так как в действие вступили бы инстинкт самоорганизации русских масс и дисциплинированность большевистских кадров. Так уже было в Зимнем дворце, когда была одержана победа, несмотря на неувязки и промахи, несмотря на то, что дали убежать Керенскому. В этом смысле механизм защиты Октябрьской революции как бы срабатывал сам собой. Теперь к тому же все военные операции находились под контролем Ленина. Ему больше не нужно было писать письма из подполья и тайно встречаться с горсткой надежных товарищей.

* * *

Обстоятельства ареста Антонова, направлявшегося к телефонной станции, чтобы возглавить бой против юнкеров, может быть, и кажутся трагикомичными, но они в этом отношении немногим отличались от других эпизодов этой величайшей революции, про которые я узнал позже. И это составляло часть волшебства. Нелепые в своей элементарности проблемы представлялись временами абсолютно неразрешимыми и все в конце концов разрешались. Этот «микроэпос» революции делал ее еще дороже для меня. К такому «микроэпосу» относится и эпизод в Петропавловской крепости в день штурма Зимнего. В нем, как в зеркале, отразился характер тех мелких проблем, которые для людей, ответственных за штурм, переросли в весьма крупные. Об этом эпизоде я узнал позже и понял, почему тогда, в Зимнем дворце, во время ареста министров, Антонов выглядел таким взмыленным и растерзанным, почему его сапоги были забрызганы грязью.

По плану штурма Петропавловская крепость являлась центром штурмующих сил, звеном, связывающим сухопутные части с крейсером «Аврора», откуда Антонов отдавал приказания. Предполагалось, что, когда все силы атакующих — революционные войска, расположенные на Миллионной улице и Невском проспекте, «Аврора» и ее главное орудие, а также сама Петропав-

ловская крепость со своими пушками — будут готовы к штурму, на флагшток крепости поднимут красный сигнальный фонарь. По этому сигналу «Аврора» откроет огонь: сначала холостым выстрелом в надежде, что министры примут посланный им ультиматум и сдадутся без боя. Если ультиматум будет отклонен, пушки Петропавловской крепости должны ударить по дворцу боевыми снарядами, если же и после этого министры не поднимут белый флаг, обстрел Зимнего начнет и «Аврора».

Однако пушки, выглядевшие такими грозными на парапетах крепости, оказались просто декорацией, стрелять из них было нельзя. На арсенальном дворе нашли несколько трехдюймовых орудий, вытащили их из крепости и спрятали за мусорные кучи, а когда стемнело, установили на небольшом возвышении между стеной и Обводным каналом (с территории крепости стрелять было невозможно, так как для траектории полета ядер этих пушек Зимний дворец находился слишком близко). После того как пушки установили и поднесли к ним снаряды, оказалось, что нет надежных артиллеристов. Пришлось обращаться в артиллерийский дивизион крепости, который не сочувствовал большевикам. От дивизиона потребовали выделить небольшую команду для обслуживания пушек. Артиллеристы осмотрели орудия и заявили, что стрелять из них нельзя: в замках нет смазки, и снаряды разорвутся в стволах. Послали искать надежного человека, разбирающегося в артиллерийских орудиях. Ультиматум был послан во дворец прежде, чем пушки смогли выстрелить.

Затем обнаружили, что во всей крепости нет ни одного красного фонаря! После отчаянных поисков, когда уже давно прошел назначенный для штурма срок (девять часов), фонарь наконец где-то раздобыли. Но чтобы его увидели с «Авроры», надо было его водрузить на флагшток. Первые попытки Трегуловича, которому было поручено это сделать, не увенчались успехом.

Так обстояли дела в Петропавловской крепости, когда туда с «Авроры» прибыл взбешенный Антонов. Комендант крепости Г. Благонравов рассказал ему о всех неприятностях, и Антонов вместе с ним отправился к пушкам, чтобы лично осмотреть их: «нейтральные» артиллеристы могли ведь и саботировать приказ.

Недавно прошел дождь, оставив во дворе огромные лужи. Ночь была безлунная, Антонов близорук, к тому же он очень спешил, поэтому бежал, не разбирая дороги, поднимая вокруг себя брызги грязи, поминутно спотыкаясь в кромешной тьме лабиринтов и закоулков старинной крепости-тюрьмы. Когда они наконец выбрались на набережную, со стороны Зимнего дворца послышался сильный ружейный огонь, время от времени оттуда доносились пулеметные очереди. Что же, этого следовало ожидать. Но они никак не ожидали, что их собственные войска, расположившиеся на стенах крепости, начнут беспорядочную стрельбу в направлении Дворцового сада, то есть в сторону набережной Невы. Два комиссара подошли к пушкам и внимательно их осмотрели. Артиллеристы оказались правы: стволы заржавели, замки не смазаны. Но приход Антонова все же был не напрасным. Вернувшись на «Аврору», он нашел трех матросов — опытных артиллеристов, которые согласились, рискуя жизнью, выстрелить из этих старых пушек.

Так осуществлялось в те дни чудо революции.

* * *

Антонов в своей книге о революции описал растерянность и неразбериху на телефонной станции, когда град пуль, обрушившийся на здание, возвестил о начале большевистской атаки. Юнкера не знали, что делать и куда деваться. «Гул все рос, трещали выстрелы. Затем внезапно открылась дверь, и с парой трясущихся юнкеров передо мной предстала довольно знакомая фигура Вильямса, корреспондента социалистической американской газеты...» (это было сильно преувеличено: «Нью-Йорк ивнинг пост» была определенно капиталистической газетой). Антонов продолжает:

«— Я выступаю посредником с предложением к вам. Юнкера хотят сдаться вам на условии сохранения им жизни... — сказал Вильямс.

— Хорошо, я отвечаю за сохранность им жизни, пусть несут сюда оружие, — ответил я».

Далее Антонов вспоминает, как сквозь взломанную дверь он увидел внизу вооруженную толпу во главе со Старком с винтовкой в руках. (Старк, один из комиссаров Военно-революционного комитета, 24 октября

с небольшим отрядом матросов занял правительственное агентство информации и был его директором вплоть до назначения послом в Афганистан.) Потом у Антонова следует лаконичная запись событий:

«Повышаю голос:

— ...Отведу их лично под арест!

Недовольный гул, угрозы, но приказ исполнен. Без помехи довожу своих арестованных до казарм гвардейского флотского экипажа» *.

На самом деле все было не так просто. Первые слова Антонова потонули в шуме и криках матросов и красногвардейцев, которые требовали возмездия.

Среди юнкеров я заметил несколько знакомых лиц — мы видели их в Зимнем, когда бродили по его залам после бегства Керенского. Тогда они клялись умереть за Временное правительство. Теперь они имели эту возможность, однако не спешили ею воспользоваться, что делало честь их здравому смыслу.

Бесси Битти как-то доказывала мне, что юнкера еще почти дети и что их втянули в эту авантюру бывшие царские офицеры и люди, подобные тому французскому офицеру. Я тогда ответил, что во время штурма Зимнего дворца большевики делали все возможное, чтобы избежать кровопролития. Тем не менее многие из атакующих были убиты, ранены, а со стороны защитников дворца не пострадал ни один человек. Когда же красногвардейцы и матросы ворвались наконец во дворец, то у них никто не спросил совета, как быть с юнкерами. Потому что, если бы спросили, юнкеров не только бы разоружили, но и посадили под арест. (Чудновский сначала даже предлагал отпустить юнкеров с оружием. Этого Антонов уже не смог перенести: «До каких пор будет длиться наше всепрощение? — возмутился он. — Если схватим Керенского, нам останется только приколоть ему медаль на грудь». Чудновский сдался.) Юнкеров разоружили, прочли им нотацию и отпустили восвояси под честное слово. И вот как они воспользовались свободой! Я обратил внимание Бесси Битти на то, что среди выстрелов, которые мы слышали, были и выстрелы, направленные в защитников революции, и кому-нибудь из них придется сегодня умереть (так, кстати, и случилось).

* В. Антонов-Овсеенко. В революции. М., 1957, с. 180—181.

Антонов старался теперь выиграть время и, следуя большевистской политике, прилагал все силы к тому, чтобы не допустить ненужного насилия. На его месте я бы подумал: «Моя собственная жизнь висит на волоске». А он был спокоен и уверен в себе, не проявлял страха.

— Их нельзя трогать, — сказал он ровным, призывающим к благоразумию тоном. — Они наши пленники. Я обещал им жизнь.

— А мы не обещали! — раздались гневные возгласы

— Мы должны сдать их в трибунал, в народный суд, — убеждал Антонов.

— А трибунал их освободит! Они хотели убить нас. И мы их расстреляем! — отвечали красногвардейцы.

Даже после этого Антонов продолжал вести себя так, будто был абсолютно уверен в торжестве разума. Он верил в революционную дисциплину, о которой несколько раз им напомнил. У меня такой уверенности не было, и, так как не в моем характере оставаться в подобные моменты пассивным наблюдателем, я решил действовать. Оттеснив Антонова в сторону, я оказался наверху лестничного марша перед толпой матросов и красногвардейцев. Здесь я должен сделать небольшое отступление. Дело в том, что дальше рассказ будет расходиться с версией этого эпизода, которую я давал раньше и которая возникла помимо моей воли. Случилось так, что в какой-то момент на телефонную станцию, не знаю по чьей инициативе, явилась перепуганная делегация Городской думы. Страсти к тому времени уже улеглись, и делегация, вернувшись в Думу, публично заявила, что вместе с Антоновым я спас положение и предотвратил кровопролитие. Это сообщение было немедленно подхвачено эсеровской газетой «Воля народа», которая 30 октября опубликовала цветистый отчет о событиях на телефонной станции. Перед такой сенсацией не устояло даже агентство Ассошиэйтед Пресс. Вот почему, когда я писал в те годы книгу, я чувствовал, что, во-первых, должен был в какой-то мере вести себя соответственно этой героической легенде; во-вторых, даже если бы я рассказал правду, мне бы все равно никто не поверил; и, в-третьих, мне не хотелось портить портрет храбрых и мужественных матросов и красногвардейцев, которые, рискуя жизнью,

сокрушили баррикады и ворвались в здание телефонной станции. Разве я мог тогда рассказать, что они кричали Антонову в ответ на его призывы к дисциплине, а потом изобразить дело так, будто мне удалось размягчить их сердца чтением стихов по-английски. И это в то время, как ни один из них не понял ни слова из того, что я говорил, а если бы даже и понял, то был бы приведен в неописуемое удивление полным несоответствием между моим поведением и возникшей ситуацией.

Потому я и написал, что, обращаясь к матросам и красногвардейцам, я напомнил им о взорах всего человечества, устремленных сейчас на них, и тому подобное. Об этой речи, которую я никогда не произносил, даже Бесси Битти написала пышный абзац.

На самом деле все было иначе. Когда я встал там, на лестнице, перед возбужденной толпой матросов и красногвардейцев, все, что я так тщательно учил, занимаясь русским языком, все правила грамматики, которые с таким терпением разъяснял мне Янышев, все уроки Воскова, читавшего со мной рассказы и стихи, — все это сразу же вылетело у меня из головы. Но это было еще не самое худшее. Гораздо страшнее оказалось то, что я ничего не соображал даже по-английски. Я люблю читать стихи наизусть и во всякой ситуации могу вспомнить хотя бы одно из сотни стихотворений. В данном случае память сработала рефлекторно, и выбор ее был для меня совершенно неожиданным. Я начал читать, не понимая даже, почему произношу именно эти строки. Голос у меня был громкий, и читал я без всяких пауз.

Вам ли жаловаться, вам, кто кормит мир,
Кто одевает мир,
Кто строит мир?
Вам ли, кто сам есть мир,
Жаловаться на то, что может сделать мир?
Ведь с этого мгновенья
Вы сами власть,
И мир пусть следует за вами!

Это было стихотворение Шарлотты Перкинс Гильман. Для матросов и красногвардейцев оно звучало сплошной абракадаброй, но я читал с таким пылом и так энергично размахивал руками, что они почувствовали: человек чем-то очень взволнован. Мой монолог на

какой-то момент прервал их справедливое возмущение. И этого было достаточно, чтобы они отрезвели. Ярость, которая еще немного и взяла бы верх, была парализована.

Всему, однако, бывает предел. Прежде чем я дошел до второй строфы и задолго до третьей (в которой были слова: «Встаньте все, как один! Пусть торжествует справедливость! Верьте, дерзайте и творите!»), терпение моих слушателей лопнуло. Раздались крики: «Долой!» Это слово я знал давно. Стольких ораторов оно при мне сбросило с петроградских трибун, не дав им даже закончить речь!

Описывая эпизод на телефонной станции, Бесси Битти вспоминает, что один из моряков узнал меня и крикнул: «Американский товарищ». Вполне возможно. Ведь всего месяц тому назад нас по-царски принимал Центробалт. Но я слышал только крики «Долой!». Потом Антонов стал спускаться вниз по лестнице. Он шел так уверенно, что толпа перед ним расступилась. Следом за Антоновым шел конвой с арестованными, некоторых юнкеров их товарищи вынуждены были волочить за собой. Гуськом, каждый юнкер между двумя конвоирами, они покинули здание.

* * *

Тот вечер Бесси Битти и я провели с Петерсом. Бои вокруг Гатчины временно утихли, но «Ленин не собирается рисковать», — сказал Петерс. На фронте вчерашний хаос уступил место порядку, войска Советов закрепляют свои позиции. Ленин лично звонил в Гельсингфорс, и по его просьбе в Петроград прибыли крейсер «Олег», броненосец «Республика» и эсминец «Победитель». Сегодня днем (29 октября) они встали на якорь у Николаевского моста. На всякий случай.

— Он звонил, — продолжал Петерс, — через два дня после того, как в своей речи перед делегатами съезда Советов говорил об усталости всех армий мира. А теперь он просил срочно выслать подкрепления для защиты революции. Нелегкая это была задача.

— А что он говорил товарищам матросам на другом конце провода? Уговаривал их? Объяснял? Или как? — спросила Бесси.

— Нет, он просто был откровенен, — ответил Петерс.

— Неужели он рассказал о хаосе на фронте, о нехватке обученных людей? — спросил я. — Сказал, что они сначала отступили?

— Именно! — Петерс очень устал за эти дни и говорил несколько резче обычного. — Он рассказал всю правду — даже о том, как части, посланные остановить казаков Краснова — Керенского, отступили при первых же выстрелах.

— Он очень ругал эти части? Не пытался ли он, ну, что ли, сыграть на самолюбии матросов? — продолжал я допрашивать Петерса. — Мне хочется прояснить для себя портрет Ленина.

— Нет, он просто объяснил, что случилось, сказал, что некоторые петроградские части устали. Он знал, что матросы откликнутся на его просьбы, поэтому перешел к практическим вопросам. Просил прийти со своим продовольствием, а если имеются лишние винтовки и боеприпасы, тоже захватить с собой, и как можно больше.

— В самом деле так плохо? — спросила Бесси.

— Не так уж плохо, но и не очень хорошо, — ответил Петерс. — Просто никто еще не брал власть, опираясь с первого же дня на рабочего человека. Все мы люди. Подвойский и Чудновский были, например, вполне удовлетворены тем, как прошло формирование революционных войск, — боевой дух красногвардейцев был очень высок. Но Ленин убедил их, что если не хватает оружия и организованности, то никакой революционный энтузиазм не поможет.

Ленин был страшно возмущен, когда узнал, что большая часть солдат Петроградского гарнизона, уже привыкших не выполнять приказы, с которыми были несогласны, не стала слушать ни Крыленко, ни Подвойского, когда те обратились к ним с призывом отправиться на фронт для борьбы с Керенским. Полки должны отправиться на фронт немедленно, потребовал Ленин, и что Подвойский будет отвечать перед Центральным Комитетом за каждую минуту задержки! Обратившись ко мне, Петерс сказал:

— Вы, я слышал, собираетесь еще раз съездить на фронт? Ну так будьте уверены, эти полки уже будут там! Ленин кажется вездесущим, во все вникает лично, спрашивает, требует, где надо, угрожает.

— Он, наверное, очень нервный, — сказала Бесси.

Петерс, питавший некоторую слабость к нашему маленькому репортеру, расхохотался, лукаво посмотрел ей в глаза и покачал головой.

— Как же вы мало знаете Ленина. Это одно из тех качеств, которые ему абсолютно не свойственны. Он бывает здесь и там, везде, входит без предупреждения, может отругать вас. Но он никогда не нервничает. Я не могу этого объяснить как следует. Ну вот вам пример. Подвойский обиделся. Он решил, что Ленин ему не доверяет, не считает его способным самостоятельно делать свое дело. И он говорит Ленину: «Я подаю в отставку!» А Ленин на это отвечает: «Тогда придется вас расстрелять. Вы не можете уйти в отставку». Через пять минут все было забыто, он уже улыбался. Подвойский, конечно, остался. Как хотите, так и понимайте. Сам я при этом не присутствовал, мне только рассказали. Думаю, Ленин понял, что Подвойский говорит не всерьез, и счел себя вправе ответить тем же.

Когда мы вышли на улицу подышать свежим воздухом, Петерс сказал:

— Мне кажется, никто, кроме Ленина, не понимает еще, какие трудности ждут нас впереди. И в то же время ни у кого нет такой уверенности в победе народа, как у него. Не могу этого объяснить.

Не зная, проживут ли партия, правительство и сама революция дольше первых дней, Ленин оставался спокоен даже тогда, когда речь шла о спасении революции, жизнь которой висела на волоске. Он знал, что эта революция — дело народное, дело рабочих и крестьян, поэтому он мог улыбаться.

* * *

Петропавловская крепость занимает небольшой остров на Неве почти напротив Зимнего дворца. В пятницу 3 ноября Бесси Битти, я, Борис Рейнштейн («Папочка») и корреспондент лондонской газеты «Телеграф», бывший русский эмигрант в Англии Михайлов отправились туда по длинному Троицкому мосту, подгоняемые со спины уже по-зимнему холодным ветром.

В среду выпал первый снег, и Рейнштейн, посмотрев вниз, на покрытую мглистым туманом Неву, втянул в ноздри воздух и заявил, что скоро опять пойдет снег. Всякий раз, пересекая Неву, я останавливался на мосту

и как завороженный смотрел на быстро мчавшиеся под ногами воды, слушал мягкие всплески волн о борта лодчонок, причаленных у берегов канала, когда по реке проходили большие баржи. К Питеру подползала ранняя зима — не пройдет и недели, как мы услышим звон первых льдинок.

Когда мост наконец кончился, мы настолько промерзли, что жизнь уже казалась немила. В таком состоянии мы направились к старинному Трубецкому бастиону, где содержались заключенные: старые и новые. Этот печально знаменитый застенок Петропавловской крепости был одним из самых мрачных остатков царизма в городе, где вообще удалось убрать всего несколько символов царизма — они оказались слишком основательно и массивно встроенными.

Крепость была заложена Петром Первым в 1703 году — с чего началось строительство самого города — и уже в конце XVIII века стала тюрьмой для первых борцов против крепостничества — Посошкова и Радищева, а также для заговорщиков против царствующих особ. В XIX и в XX веках почти все революционеры тот или иной срок просидели в камерах Петропавловской крепости.

Мы шли в крепость не в качестве арестованных, а в качестве членов комиссии по проверке условий, в которых содержались заключенные. Не скажу, чтобы эта роль очень уж меня вдохновляла.

И чем ближе мы подходили к каменной громаде крепости, тем сильнее меня грызло сомнение. Смогу ли я быть беспристрастным? Не помешает ли моя вечная привычка представлять себя на месте любого узника? Даже Бесси Битти примолкла. Очевидно, все мы в это время думали о веренице политических заключенных, которая за долгие годы царской тирании прошла перед нами по этому же маршруту — многие так отсюда и не вышли. У Рейнштейна и Михайлова возникли, наверное, и личные воспоминания. Оба бывали здесь в качестве узников в начале своей революционной деятельности.

Затея с комиссией принадлежала Городской думе. После воскресной истории с телефонной станцией ко мне и к Бесси Битти пришла делегация членов Думы и стала уговаривать войти в комиссию, которая, по замыслу Думы, должна была подтвердить имеющиеся у

них сведения о жестоком обращении с бывшими министрами Временного правительства, заключенными в Трубецкой бастион, и об ужасных условиях их содержания — по слухам, арестованные сидели голодные, в сырых, нетопленных, переполненных до отказа камерах и страдали от других незаконных лишений. Нас поспешили заверить, что идея создания комиссии иностранных корреспондентов была одобрена американским Красным Крестом.

Накануне, то есть в четверг, мы были у Раймонда Робинса и выяснили, что он действительно поддерживает эту идею. Поэтому в тот же вечер мы пошли к комиссару по делам тюрем Александре Коллонтай *. Эта элегантная, широко образованная женщина, владеющая несколькими иностранными языками, имела обманчиво мягкую наружность. Глядя в ее спокойные серые глаза и на пышные, тронутые сединой темные волосы, никак нельзя было себе представить, что на трибуне она превращается в тигрицу и ее страстные речи против классового врага зажигают огонь ненависти в сердцах рабочих и солдат. Старые аристократы, которых мы встречали в вестибюле гостиницы «Астория», не могли спокойно слышать ее имя и называли ее «изменницей своему классу». Она была удостоена чести попасть в список главных большевистских руководителей, разыскиваемых полицией в июле, и была арестована и посажена в тюрьму.

Запивая чаем кусок черного хлеба с маслом, она отвечала на наши вопросы, однако вопрос о планах деятельности нового министерства, казалось, искренне ее развеселил:

— Боже упаси! Нет у меня никаких планов. Да и министр из меня не получится. Или получится такой же глупый, как все предыдущие. (Очевидно, ее назначение комиссаром по делам тюрем было временное, так как я потом нигде не встречал упоминания ее имени в связи с этой должностью. Позже она была советским послом в Норвегии, в Мексике и в Швеции. Коллонтай, между прочим, выступала в защиту и поддержку Ленина в апреле, на общем собрании большевиков и меньшевиков, где он изложил свои Апрельские тезисы.)

* А. М. Коллонтай была народным комиссаром государственного призрения (как тогда называлось социальное обеспечение).

Мы знали, что в Петропавловскую крепость была доставлена часть юнкеров, обезоруженных на телефонной станции, во Владимирском военном училище и во время других столкновений, происходивших в то воскресенье в разных частях города и стоивших жизни доброй сотне красногвардейцев и солдат. Другая часть арестованных юнкеров была отослана в Кронштадт.

Мы вошли в крепость через Петровские ворота, и я вспомнил Чернышевского. Думал ли он, когда за ним закрылись эти тяжелые ворота, что он пробудет здесь десять лет? * И как он смог написать в таком мрачном месте такой удивительно светлый роман «Что делать?»?

В моем архиве сохранился перевод статьи, опубликованной в «Правде» 16 ноября, в которой полностью приводится отчет нашей комиссии, озаглавленный «Декларация иностранных корреспондентов об условиях содержания заключенных в Петропавловской крепости».

После штурма Зимнего дворца в крепость было посажено в общей сложности около 250 человек, причем большую часть составляли арестованные 29 октября участники юнкерского мятежа. Этот неожиданный наплыв заключенных сразу же истощил запас тюремного продовольствия: ведь здесь после Февральской революции сидело лишь несколько представителей царского режима. (Большевики, заключенные в тюрьму в июле, были выпущены в октябре.)

В своей декларации мы отметили, что, за исключением одной камеры, которую мы нашли слишком переполненной, все камеры были «сухими, чистыми, теплыми, достаточно просторными, имели сравнительно хорошую вентиляцию и современные санитарные удобства и вообще находились в гораздо лучшем состоянии, чем большинство известных нам американских тюрем».

Почти все заключенные, с которыми мы разговаривали, считали вполне естественным, что в первые сутки после падения Зимнего пища в тюрьме была весьма скудной. Почти все заявили, что в настоящее время у них нет никаких жалоб на питание и условия заключе-

---

* Н. Г. Чернышевский сидел в Петропавловской крепости около двух лет, а затем был приговорен к 7 годам каторжных работ и вечному поселению в Сибири.

ния. В одной камере юнкера захотели поговорить с нами без часового, и тот сразу же вышел. Тогда они рассказали, какого натерпелись страха, когда их вели сюда сквозь жаждущую мщения, разъяренную толпу. В крепости их чуть не расстреляли на месте, и только «решительные действия комиссара и охранявших их солдат предотвратили расправу». Два офицера и помощник коменданта подтвердили потом этот рассказ и добавили, что несколько насмерть перепуганных юнкеров, несмотря на предупреждения охраны, бросились бежать. Трое были убиты на месте, четвертый тяжело ранен. Когда обо всем этом доложили в Смольный, Ленин лично распорядился, чтобы были приняты «самые энергичные меры» по охране пленных, в том числе министров, от самосуда.

В другой камере юнкера жевали конфеты, присланные им родственниками и друзьями, и это окончательно убедило нас в том, что они совсем не испытывали тех страшных лишений, какие мерещились джентльменам из Городской думы. Ну а когда мы вошли в камеру Терещенко, нам вообще показалось, что мы не в тюрьме. Красивый и, как всегда, изысканно-вежливый, он поднялся с койки, на которой сидел, куря сигарету, и приветствовал нас на безукоризненном английском языке. Во время дальнейшего разговора он обращался главным образом к мисс Битти, которая всегда ему нравилась, но я с радостью отметил, что на сей раз ее мягкое, отзывчивое сердце не растаяло от жалости.

Кроме Терещенко, Пальчинского, Кишкина, Рутенберга, Бурцева и других деятелей Временного правительства, которые пожаловались только на то, что к ним не пускают посетителей, мы взяли интервью у некоторых узников предоктябрьского периода. В камере № 55 сидел, например, семидесятилетний генерал А. А. Сухомлинов, который при царе был военным министром и который сказал нам, что «царь был хорошим человеком, настоящим отцом России». За восемь месяцев, что он пробыл здесь, много раз менялись тюремные порядки, но большевистские порядки нравились ему больше всех хотя бы потому, что ему разрешили получать газеты.

Самым интересным узником оказался для нас знаменитый шеф царской полиции, а до февраля министр внутренних дел С. П. Белецкий. Вот он предстал перед

нами собственной персоной: крупный мужчина с седой головой, злобно-хитрым взглядом и приторно-ласковыми, вкрадчивыми манерами. Было ясно, что каждое его слово имело вполне определенную цель: любыми способами снова всплыть на поверхность. Он был своим человеком при дворе, любимцем Распутина на протяжении всего периода его мракобесной власти, доверенным лицом всех интриг распутинской клики, к которой принадлежала и сама царица и которая проводила пронемецкую политику. Когда по приказу Временного правительства Белецкий был посажен в Петропавловскую крепость, он стал бомбардировать специальную следственную комиссию доносами на своих бывших приятелей, отъявленных реакционеров. Теперь же он ясно дал нам понять, что Керенский для него битая карта. Бывший премьер оказался «жалким истериком, не способным управлять страной».

По собственной инициативе он начал вдруг рассказывать, как организовал слежку за Лениным сразу же после раскола социал-демократической партии. А потом поведал нам, как однажды в июльские дни к нему в камеру примчались агенты Керенского и попросили помочь в изобличении большевиков и в первую голову Ленина.

— Многие приходили сюда спрашивать о Ленине, — сказал он многозначительно, сверля нас ястребиным взглядом. — Все интересовались, был ли он немецким шпионом. Но поскольку это были агенты правительства, — добавил он с видом добродетельного человека, выполнившего свой долг, — я особенно не откровенничал.

Нам же он может сказать: Ленин — человек принципов и идеалов, а историю с немецким золотом принес Керенскому «какой-то австрийский провокатор».

Когда мы выходили из камеры, Белецкий пожал нам руки, церемонно склонившись к ручке мисс Битти. Рейнштейн и Михайлов — двое русских среди нас — убрали руки за спину. Они принципиально не хотели пожимать руку слуге царского режима.

В Петропавловской крепости я познакомился с очень интересным человеком — комендантом крепости Г. Благонравовым. Не помню, почему у нас зашел разговор об Антонове, возможно, я рассказал, как несколько дней тому назад очутился вместе с Антоновым в

плену у юнкеров. Во всяком случае, было сказано что-то такое, что вызвало у Благонравова воспоминания о той знаменитой октябрьской ночи, когда пал Зимний дворец, и его рассказ еще больше увеличил мое уважение к Антонову.

Красногвардеец принес Благонравову записку от Антонова с просьбой приготовить камеры в Трубецком бастионе для арестованных министров Временного правительства. (Я уже рассказывал, как перепуганные министры чуть было не попали под обстрел при переходе через мост.) Под охраной большого отряда рабочих и солдат, возглавляемого Антоновым, они подошли к воротам крепости, где обнаружили пятерых министров с конвоирами, которые по дороге каким-то образом оторвались от основной группы. Антонов пересчитал их и, построив в шеренгу, повел внутрь.

В крепости не горело электричество, поэтому перекличку арестованных Антонов проводил при тусклом свете одинокой коптилки в душной и тесной караулке. Благонравов описал мне эту сцену: потерявшие власть министры выглядели жалкими, съежившимися и, как ни старались сохранить достоинство, комичными. Глубоко уязвленные в своем самолюбии, они сидели на краешке грубо сколоченных низких скамеек, окруженные торжествующими рабочими и солдатами, которые стояли с винтовками в руках, гордо расправив плечи, отбрасывая на стену гигантские тени, и с любопытством разглядывали своих поверженных врагов.

Позже кто-то рассказал мне несколько дополнительных подробностей той ночи.

Составив протокол, Антонов прочел его вслух и, вызывая арестованных по очереди, предложил каждому расписаться. Однако перед тем, как прочесть протокол, он снял свою широкополую шляпу, положил ее на стол, вокруг которого сидели министры, вытащил из бокового кармана длинную расческу и занялся своими волосами. Сначала он начесал их на лоб, потом, разделив пробором, аккуратно расчесал на обе стороны и наконец заправил за уши. Покончив с этим делом, он спрятал расческу обратно в карман и взял в руки протокол. Когда все формальности были выполнены и протокол подписан, Антонов отсутствующим взглядом (возможно, он почти терял сознание от усталости и держался на одном энтузиазме — в этом не было ниче-

го невероятного) посмотрел на рабочих, солдат и матросов, столпившихся за спиной августейших пленников, и задумчиво произнес:

— Да... Да, это будет интереснейший социальный эксперимент! — Сделав паузу, он радостно воскликнул: — А Ленин! Если бы только знали, как он сегодня был великолепен! Он снял наконец свой рыжий парик. А как он говорил! Он был просто прекрасен!

Министрам все поведение Антонова казалось, очевидно, диким и абсурдным. Но я нисколько не сомневаюсь, что подлинные герои и победители той ночи — красногвардейцы, солдаты и матросы, столпившиеся в карауле, — не узрели ничего обидного в процедуре причесывания, и я лишь сожалею, что не был там и не видел, как загорелись их глаза при упоминании имени Ленина.

* * *

В этой главе я остановился на некоторых второстепенных моментах революции и рассказал о начальной стадии контрреволюции. Все это тоже достояние истории наравне с теми главными, волнующими эпизодами, о которых почти невозможно говорить, не впадая в восторженность. Надеюсь, что мне удалось здесь хоть в какой-то мере исправить тот искаженный портрет Антонова, который проник на страницы различных исторических изданий.

Дело не в защите Антонова — он в ней совсем не нуждается. Он был таким же, как любой другой большевистский руководитель тогда, исключая, конечно, Ленина. Я вполне верю всем рассказам о странностях Антонова, но он был человеком, на которого Ленин мог всегда положиться, и это главное. Я уверен, что для Ленина не имело никакого значения, как выглядит человек и насколько безукоризненны его манеры, особенно в таком необычном деле, как арест министров Временного правительства. Кстати, именно от них, от некоторых министров, исходят наиболее яростные нападки на Антонова и презрительно-злобные характеристики.

Известно, что Ленин не выпускал из виду Антонова, поправляя его, когда он ошибался. А кого Ленин упускал из виду? Но известно также, что по крайней

мере один раз в течение последующих месяцев Ленин официально похвалил Антонова. В тяжелые декабрьские дни 1918 года Советское правительство пригрозило предпринимателям, закрывающим заводы и останавливающим производство, что их будут арестовывать и посылать на работу в шахты: саботаж капиталистов усугублял голод и безработицу. К Антонову, который был в то время руководителем вооруженных сил на юге и находился в Харькове, пришла делегация рабочих с жалобой на хозяев, лишивших их обещанной рождественской премии. Антонов приказал арестовать пятнадцать акционеров — владельцев фабрик, запер их в вагоне и заявил, что, если в течение двадцати четырех часов они не выплатят рабочим миллион рублей, он отправит вагон прямиком на шахты. Деньги были выплачены, фабрикантов отпустили, а Ленин прислал Антонову телеграмму с поздравлением.

«СОЦИАЛИЗМ НЕ ПРЕПОДНЕСУТ НА ТАРЕЛОЧКЕ»

Погода становилась все холоднее. С берез, кленов и дубов слетели последние листья. Лужи покрылись тонкой корочкой льда. Энтузиазм масс, поднявшийся до самой высшей точки в момент общей опасности, стал постепенно спадать. Советы добились полной власти. Но впереди их ждало немало горьких дней.

Прошло всего шесть месяцев с тех пор, как в ответ на заявление Церетели о том, что в России нет ни одной партии, которая взяла бы на себя ответственность за управление страной, раздался возглас: «Есть!» Теперь Ленин получил возможность это доказать. Его партия взяла власть, а вместе с ней ей досталась страна, погибающая от голода, холода и полного разорения. Старый строй рухнул, и, по словам Ленина, «...новая организация государства рождается с величайшим трудом...» *.

В течение шести предыдущих месяцев Ленин и его партия указывали на несостоятельность коалиционных правительств, на их преступную бездеятельность, полную неспособность прекратить спекуляцию и разрушение транспорта, справиться с голодом в городах и

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 38, с. 371.

выполнить обещания, данные крестьянам, остановить падение производства и обеспечить снабжение армии, которая, истекая кровью, продолжала выполнять царские обязательства перед союзниками. Придя к власти, большевики оказались перед лицом тех же проблем, да к тому же должны были создавать новую, жизнеспособную экономическую систему без капиталистов и помещиков. А по какому образцу ее создавать? Ведь у них не было ни планов, ни схем.

«Маркс показал рабочему классу цель, — писал У. С. Уайт в своей книге о Ленине, — Ленин дал ему партию, путевую карту и походное снаряжение». Но у Ленина не было готовой путевой карты, и он этого не скрывал. Ни в большевистских, ни в меньшевистских учебниках об этом ничего не писалось.

Что же касается походного снаряжения, то Ленин был убежден, что рабочие сами себя обеспечат. Во всех своих речах, в выступлениях перед рабочими и в беседах с крестьянами он призывал к инициативе снизу...

Он непрестанно напоминал народу о реальном положении дел. Он даже не обещал, что их эксперимент продлится долго. Выступая на III Всероссийском съезде Советов 11 января 1918 года, он скажет: «2 месяца и 15 дней — это всего на пять дней больше того срока, в течение которого существовала предыдущая власть рабочих... власть парижских рабочих в эпоху Парижской Коммуны 1871 года... Представлять себе социализм так, что нам господа социалисты преподнесут его на тарелочке, в готовеньком платьице, нельзя, — этого не будет... Рабочие и крестьяне еще недостаточно верят в свои силы, они слишком привыкли, в силу вековой традиции, ждать указки сверху» *.

Меньшевики, правые эсеры и другие «умеренные» партии, а также объявленная врагом народа милюковская партия кадетов находились в открытой оппозиции к большевикам. Поэтому в проведении земельной реформы, в организации раздачи земли Ленин и его партия зависели пока от левых эсеров. Во многих районах левым эсерам, чтобы превратить бывшие деревенские общины и земства в Советы, пришлось вступить в борьбу с правыми эсерами и кулаками.

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 261, 265, 276.

На данном этапе большевики поддерживали левоэсеровскую политику раздела земли, которую Ленин считал ошибочной, так как она не вела к социализму в деревне и не имела целью социалистическое производство, но не была опасной. В тот момент большевики, поглощенные основной задачей — остановить катастрофическое падение производства и обеспечить хлебом голодающие города, не имели времени заняться организацией комитетов деревенской бедноты. Комитеты начали действовать только с лета и осени 1918 года, и Ленин по этому поводу писал, что только тогда деревня пережила свою Октябрьскую (то есть пролетарскую) революцию и только тогда был перейден рубеж, отделяющий буржуазную революцию от социалистической.

А пока большевики пытались спасти трещавшую по всем швам экономику и наладить производственную машину, которая при Керенском уже еле скрипела и грозила полностью остановиться. Кроме того, они должны были разрушить капиталистическую основу экономики, постепенно переводя ее на социалистические рельсы.

Лозунг «Земля, мир, хлеб!» был лозунгом и Февральской революции. Однако теперь, после того как все сменявшие друг друга правительства, начиная с кабинета Милюкова — Гучкова и кончая различными коалициями во главе с Керенским, не смогли дать ни земли, ни мира, ни хлеба, эти три слова стали ассоциироваться только с деятельностью большевиков.

В первый же день Октябрьская революция покончила с частной собственностью. В первый же день она предложила мир всем воюющим нациям — как правительствам, так и народам. В первые же дни новая власть начала публиковать все секретные царские договоры, которые Временное правительство хранило в тайне.

Вскоре, однако, пришли трудности и разочарования. Людям, совершавшим революцию, она обещала мир, хлеб и землю, и они не делали различия между тем, к чему Ленин призывал, и тем, что он обещал. Хлеб? Но мизерный паек стал еще меньше, а качество хлеба еще хуже. Мир? Но в первые же часы мы были свидетелями начала гражданской войны. Пока контрреволюция получила достойный отпор, но она не сдалась, она ушла в подполье, дожидаясь более благоприятного момента.

Если какая-то часть населения и смогла немедленно воспользоваться благодеяниями революции, то это, безусловно, были крестьяне. Формальное отражение этого я увидел здесь, в Петрограде, наблюдая одну из самых волнующих демонстраций, какую мне довелось видеть на протяжении всей революции, наблюдая событие огромной исторической важности. Старый исполком Совета крестьянских депутатов, которым заправляли правые эсеры, отказался от какого бы то ни было сотрудничества с новым правительством. Однако I съезд Советов крестьянских депутатов, несмотря на уговоры лидеров, после долгих, бурных дебатов принял решение объединиться с Советом рабочих и солдатских депутатов. Построившись в колонну, крестьянские депутаты отправились в Смольный, чтобы влиться в большой Центральный Совет, создав тем самым Совет рабочих и крестьянских депутатов, эмблемой которого стали серп и молот.

Так как на улице было уже совсем темно, то этот — в любом случае исторический — крестьянский марш приобрел еще и необыкновенно романтический характер. Когда процессия крестьянских депутатов неожиданно выплыла передо мной на плохо освещенном Невском проспекте, я остолбенел перед этим драматическим зрелищем. Бархатную темноту прорезали откуда-то взявшиеся прожекторы и яркими снопами света осветили марширующую колонну. Депутаты шли быстрым шагом под звуки «Марсельезы», которую с подъемом исполнял сопровождавший их военный оркестр. Длинные косые линии падающих снежинок натыкались на острые штыки винтовок, высоко вскинутых на плечах солдат почетного эскорта. Кое-кто из депутатов нес зажженные факелы, освещавшие первые буквы лозунгов на красных плакатах. Часть плакатов была развернута над шеренгами, другие трепыхались на одном древке, как крылья огромных птиц. Процессия была небольшой: она шла мимо меня не более десяти минут и так же неожиданно, как возникла, ослепив ярким светом и красками, исчезла в темноте, оставив меня в одиночестве потрясенным и взбудораженным, пока наконец я не пришел в себя и не бросился ее догонять.

В Смольном я стал свидетелем официальной церемонии «венчания» крестьян с рабочими и солдатами.

Я потом писал, как один немолодой крестьянин воскликнул: «Я шел сюда не по земле, а летел, будто птица, по воздуху». Большевики предложили левым эсерам несколько мест в правительстве, возникло то, что Ленин назвал «честной коалицией, честным союзом», так как это был союз рабочих и крестьян. Но этот союз, объяснял он, «будет честной коалицией и на верхах» *, между левыми эсерами и большевиками, если левые эсеры более определенно выскажут свое убеждение в том, что переживаемая революция есть революция социалистическая. «Уничтожение частной собственности на землю, введение рабочего контроля, национализация банков — все это меры, ведущие к социализму. Это еще не социализм, но это меры, ведущие нас гигантскими шагами к социализму. Мы не обещаем крестьянам и рабочим сразу молочных рек с кисельными берегами, но мы говорим: тесный союз рабочих и эксплуатируемых крестьян, твердая, неуклонная борьба за власть Советов ведет нас к социализму...» ** — говорил Ленин.

Однако «медовый месяц» был коротким и был прерван реквизициями хлеба. (Временный союз большевиков и левых эсеров тоже разорвался. Эсеры вышли из правительства после ратификации Брестского договора.) Это было началом длительной борьбы не только за подлинную социализацию земли, но и за перестройку крестьянской психологии.

Несколько месяцев спустя на III Всероссийском съезде Советов я услышал из уст Ленина следующие слова:

«Всякий сознательный социалист говорит, что социализм нельзя навязывать крестьянам насильно... Мы знаем, что только тогда, когда опыт показывает крестьянам, каков, например, должен быть обмен между городом и деревней, они сами снизу, на основании своего собственного опыта, устанавливают свою связь. С другой стороны, опыт гражданской войны указывает представителям крестьян воочию, что нет другого пути к социализму, кроме диктатуры пролетариата и беспощадного подавления господства эксплуататоров» ***.

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 100.
** Там же, с. 101.
*** Там же, с. 264.

Между тем в период «медового месяца» обстановка была далеко не простой. Во многих, особенно в отдаленных от Москвы и Петрограда губерниях зажиточные крестьяне становились богаче, а бедняки лишь менее бедными. Правда, уничтожение материальных ценностей, разграбления и поджоги помещичьих усадеб, в чем нередко с ожесточившимися крестьянами принимали участие солдаты и матросы, прекратились.

Помимо крестьян, реально ощутимые блага октябрьского переворота получили и некоторые другие группы населения. Какая-то немногочисленная часть рабочих переселилась с чердаков и из подвалов в более приличные квартиры. Люмпен-пролетариат, хулиганы и грабители некоторое время наслаждались роскошной жизнью, утоляя жажду разливанными морями водки и отборных вин. Еще до Октября стали обычными налеты на спирто-водочные заводы и склады — их участники пытались восполнить все недопитое ими за многие годы. Теперь сфера этой деятельности расширилась за счет винных погребков аристократии, пока красногвардейцы после строгого предупреждения не положили конец «винным погромам».

Итак, крестьяне получили землю. А рабочий класс? Класс, на который легла главная ответственность за революцию? Его условия жизни ухудшились. До 1917 года массовые мобилизации в армию и в оборонную промышленность истощили деревню. Однако, несмотря на приток рабочей силы, производство неуклонно падало. Февральская революция не выполнила требований рабочих: восьмичасовой рабочий день был введен на немногих предприятиях.

После Октября производство сократилось еще больше. Голод заставил многих фабричных рабочих, набранных из крестьян, вернуться в деревню. Железные дороги были в самом плачевном состоянии. Назревал топливный кризис.

Чем же объяснялась преданность масс Советам, то есть фактически большевикам? Как большевикам удалось сохранить доверие масс? По этому поводу у нас с Ридом было много споров.

Уже в декабре мы увидели, что если революция принесла рабочим дополнительные лишения, усилила голод и холод, то она с избытком компенсировала это другим. В морозном воздухе все еще витал дух победы.

Декрет выпускался за декретом, и каждый из них вводил новые социалистические реформы. Большинство декретов 1917—1918 годов было написано самим Лениным. Они, в частности, отменили все старые ограничения, основанные на сословном положении, национальной принадлежности, вероисповедании и различии полов. Они, как бульдозер, смели все препятствия и табу, мешавшие низшим сословиям выбраться из нищеты и бесправия. На уличных баррикадах революции рабочие завоевали возможность разрушить баррикады на своем жизненном пути.

А голод между тем настолько усилился, что Ленин 14 декабря вынужден был написать:

«Два вопроса стоят в настоящий момент во главе всех других политических вопросов: вопрос о хлебе и вопрос о мире» *.

Мы с Ридом не переставали удивляться, как мало ели и как много энергии вкладывали в свою работу наши знакомые большевистские активисты.

— Очевидно, революция тоже не хлебом единым жива, — сказал я Риду.

— Но и без хлеба она не может прожить, — возразил он.

К этому времени Рид, если память мне не изменяет, уж знал, что его вместе с остальными редакторами журнала «Мэссиз» в США привлекают к судебной ответственности и что сам журнал закрыт. Лично Риду вменялась в вину публикация одной из статей под заголовком: «Сшейте смирительную рубашку для вашего бравого солдата». Как бы то ни было, он перестал носиться по всему городу в поисках свежей информации для журнала и бегать на почту, чтобы вовремя отправить ее в редакцию (телеграфом было слишком дорого).

Статьи и корреспонденции, которые он тогда писал, увидели свет лишь спустя много месяцев. В то время мы с ним работали под началом Бориса Рейнштейна в только что созданном при Наркоминделе бюро пропаганды. Наша работа состояла в составлении листовок, плакатов и брошюр, которые распространялись среди немецких и австрийских солдат на фронте. Мы призывали их сбросить своих монархов, как русские

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 169.

сбросили своего царя. Вместе с нами в бюро работал один из русских американцев, «профессор» Чарли Кунц. Он тогда ничего не понимал в журналистике, но хорошо знал немецкий язык, во всяком случае, намного лучше меня, хотя и я знал его неплохо.

— Я позволю себе напомнить, — продолжал Рид, — что еще Кропоткин в свое время сказал: «Революция с самого своего зарождения должна представлять собой акт справедливости по отношению ко всем угнетенным и порабощенным». Она не может откладывать выполнение обещанного, иначе она потерпит поражение. Другими словами, революция должна раздать вознаграждения немедленно.

— Да, но Кропоткин никогда не делал революцию, — возражал я, — и посмотри, к чему он пришел. Кроме того, он не уточнял характер вознаграждения. Ведь не все имеет вещественное выражение, существуют какие-то духовные потребности, которые удовлетворяют революции, и народ это понимает, иначе нас не принимали бы так на митингах, иначе бы народ не поддерживал...

— Минуточку, минуточку, — прервал меня Рид. — А ну-ка назови мне эти удовлетворенные духовные потребности.

В разное время я по-разному их формулировал, но тогда я назвал три основных завоевания революции, которые нельзя было ни потрогать, ни съесть, ни надеть: 1) новый статус рабочих; 2) торжество справедливости и возмездие; 3) открытие широких горизонтов, счастливое сознание своей причастности к великому социалистическому движению, охватывающему все страны земного шара, а отсюда готовность вынести любые теперешние лишения ради оказания помощи трудящимся мира, которые, в свою очередь, придут на помощь русской революции и тем самым уменьшат эти лишения.

Для Рида слово «духовный» было еретическим, и он стал оспаривать каждый мой пункт, утверждая, что для рабочих все они имеют смысл только в практическом значении.

Первое. Декрет о рабочем контроле означает конец эксплуатации рабочих капиталистами, которые за это ненавидят большевиков и стремятся всеми способами саботировать производство. Второе. Новые народные

суды — это самое прямое выражение того факта, что правящим классом является теперь пролетариат.

— А что касается твоих «широких горизонтов», то их «земным» воплощением может, в частности, служить массовый поход за ликвидацию неграмотности, который возглавляет наш друг Луначарский с помощью Крупской.

— Совершенно правильно, — подхватил я, — только где же твоя железная логика? Разве в этом есть что-нибудь материальное? Зачем, спрашивается, Советам тратить столько энергии и капитала чтобы учить и молодежь и стариков? Мне кажется, дело не в том, чтобы научить их читать и писать, а в том, чтобы они почувствовали себя полностью раскрепощенными, осознали возможности развития личности, познали самих себя.

— Ах вот оно что! — язвительно откликнулся Рид. — Опять, значит, твои «духовные» ценности! Неужели ты воображаешь, что они проголосовали за выделение такой огромной суммы на образование и занялись так серьезно подготовкой новых учителей только потому, что большинство профессиональных преподавателей забастовало? А тебе не пришла в голову мысль, что индустриализацию нельзя провести в стране, где большинство населения неграмотно. Большевики реально смотрят на вещи, они понимают, что люди, которым предстоит освоить новую технику, управлять новыми машинами, а со временем самим их создавать, которым предстоит с помощью машин перестроить все сельское хозяйство, — эти люди должны быть грамотными.

Наконец в спор вмешался Кунц.

— Дорогой Джон, — сказал он, — Маркс и Энгельс не избегали слова «духовный». Не боится его и Ленин. Вы, Джон, по существу, говорите то же, что и Альберт, только немного точнее. Оба вы чудесные ребята, и если бы вы серьезно занялись изучением марксизма...

— То мы бы никогда не закончили эти листовки, — сказал, смеясь, Рид. По его глазам я видел, что ему приятно было услышать похвалу из уст «профессора», которого он искренне любил.

Однако этот вопрос продолжал волновать нас. Не знаю, кто из нас был прав: Рид, я или Кунц, но повсюду, где бы мы ни были, мы замечали свидетельства

зарождения у трудящихся чувства достоинства и самоуважения. В ресторанах посетителей по-прежнему обслуживали официанты, хотя меню значительно сократилось. В одном из ресторанов на столиках появились аккуратно написанные таблички: «Официант — тоже человек: не оскорбляйте его достоинства чаевыми».

* * *

Ни в чем сущность Октября — страстная ненависть к прошлому и твердая вера в будущее — не проявилась с такой наглядностью, как в проведении в жизнь довольно прозаического декрета о народных судах. Здесь народ ярче всего продемонстрировал свою способность преодолеть старые привычки, старый образ мышления.

В первые же послеоктябрьские дни были созданы рабочие трибуналы. Действовали они нерегулярно и поражали непоследовательностью своих решений и почти милосердным отношением к буржуазии. В грозных прокламациях тех дней «хищники, мародеры и спекулянты» объявлялись врагами народа, а одно из воззваний оканчивалось словами: «Саботажников к позорному столбу! Долой преступных наемников капитала!»

Правосудие вершилось революционными рабочими трибуналами, и чаще всего приговор, произносимый с устрашающей строгостью, гласил: «Именем международного пролетариата заклеймить позором». (Большинство старых судов отказалось признать правомочность Советской власти, однако им разрешили исполнять свои функции, если применяемые в каждом случае законы не противоречили «революционной совести и революционному правосознанию».)

Ясным морозным утром 28 ноября Агурский (русско-американский анархист, ставший большевиком), Бесси Битти и я, перейдя по Дворцовому мосту через Неву, пробирались через сугробы к дворцу великого князя Николая Николаевича, где в бывшей музыкальной гостиной — просторном зале, украшенном панелями из редких пород деревьев, — проходило первое заседание рабочего трибунала. В числе обвиняемых была графиня Панина — одна из лидеров партии кадетов и

министр общественного призрения в кабинете Керенского. В этот день был опубликован декрет об аресте всех кадетских лидеров как врагов народа, причастных к мятежу Корнилова. Графиня, кроме того, обвинялась в хищении 93 тысяч рублей. В зале уже было полно народу, ждали появления судей. Если не считать нескольких рабочих, публика состояла из хорошо одетых дам и мужчин, друзей Паниной, и других обвиняемых, в частности бывшего царского министра, организатора еврейских погромов и одного из руководителей «Черной сотни», Пуришкевича.

Было сделано все, чтобы дебют революционного трибунала прошел подобающим образом. Однако в последнюю минуту обнаружилось, что электричество не горит. Единственным освещением зала оказались две керосиновые лампы под красными абажурами, установленные по обеим сторонам полукруглого стола, который стоял в одном конце зала и был покрыт куском красной ткани. Дамы стайкой кружились вокруг Паниной, сидевшей на скамье подсудимых под охраной двух солдат. В зал вошел еще один солдат и с размаху швырнул на стол автоматический пистолет — стайка в испуге разлетелась. Как потом выяснилось, пистолет был просто вещественным доказательством в деле Пуришкевича: сотрудники ЧК изъяли его при аресте вместе с обвиняющими контрреволюционными документами. Шум неожиданно стих, в зал по одному входили судьи: председатель трибунала Жуков, человек с интеллигентным, гладко выбритым лицом, державшийся легко и уверенно, и шесть членов трибунала — два крестьянина, два солдата и два рабочих. (Это был один из шести составов, и они должны были меняться раз в неделю.) Бросалась в глаза белая, с воротничком, рубашка председателя, на остальных были темные, почти черные блузы, гимнастерки, а на одном из крестьян — вышитая косоворотка. Члены трибунала осторожно опустились на обтянутые парчой стулья. Все они, кроме председателя, сидели, напряженно выпрямившись, с сурово-торжественным выражением на лице, с полным сознанием возложенной на них ответственности. Однако больше всего меня занимала фигура коменданта, стоявшего у одного конца стола. На вид ему было лет 25. В брезентовом пальто на вате, в высокой барашковой папахе, похожей на солдатскую, только надетой не по

уставу, он представлялся мне символом диктатуры пролетариата.

Дело Паниной заняло много времени, главным образом потому, что основным свидетелем защиты был рабочий и обвинитель, тоже рабочий, хотел во что бы то ни стало разубедить этого свидетеля. (Кстати сказать, обвинитель, как и свидетель, вышел к судейскому столу прямо из публики.) Характерно, что ни тот, ни другой не обращали особого внимания на существо обвинения. Свидетель говорил о добрых делах графини, о Народном доме, где он научился читать.

— Она дала мне возможность стать мыслящим человеком, — сказал он и добавил фразу, которой, по-видимому, выиграл очко в свою пользу: — Мы хотим, чтобы весь мир увидел великодушие революции. — Он настаивал, чтобы Панину отпустили на свободу.

— Все это верно, товарищи, — начал прокурор Наумов, и голос его звучал убежденно и искренне. — У этой женщины доброе сердце, она пыталась принести пользу своими школами, яслями и столовыми для бедных. Но если бы у народа были те деньги, которые она получила с его пота и крови, мы бы имели свои собственные школы, ясли и столовые. Товарищ рабочий не прав. Народ должен учиться читать потому, что он имеет на это право, а не по милости или доброте какого-то одного человека.

Получив слово, Панина встала перед судьями и заявила, что она действительно взяла деньги и поместила их в банк, чтобы большевики не смогли ими воспользоваться (Декрет о национализации банков еще не вступил в силу к тому времени). Судьи удалились на совещание. Через полчаса они появились снова, и лица их были еще более торжественными. Бесси Битти, сгорая от нетерпения, пыталась предсказать приговор.

— Все говорят о гильотине, — шептала она мне на ухо, — но Петерс заверил меня, что казни не будет, скорее всего ее отправят в ссылку. Я убеждена, что приговор будет суровым.

В абсолютной тишине Жуков начал читать текст приговора. Он был длинным и изобиловал многоступенчатыми придаточными предложениями о священном характере народной собственности. Нам пришлось выслушать подробнейшую преамбулу, которая по своей обстоятельности вполне могла бы быть прелюдией

к смертному приговору. По этой преамбуле догадаться о мере наказания было совершенно невозможно. Но вот наконец Жуков тоном, который должен был внушить благоговейный страх, произнес:

— Революционный трибунал, кроме того, постановляет: вынести гражданке Паниной суровое порицание перед лицом революционных трудящихся всего мира.

Члены трибунала, ловившие каждое слово приговора, переглянулись с таким видом, будто поздравляли друг друга и будто говорили: «Вот как мы ее. А она-то надеялась своими слезами разжалобить нас! Вот это строгий суд!»

Несколько бестолковых поклонников Паниной захлопали, но их сразу же одернули более сообразительные друзья. (Через несколько дней деньги, похищенные Паниной, были переданы министру просвещения Луначарскому, и Панину освободили.)

Следующим судили какого-то генерала, которого защищали не только солдаты, служившие под его началом. Генерала, к ярости тех, кто хотел добиться для него сурового приговора за неподчинение приказу Крыленко, вызвавшего его на какой-то совет, приговорили к трем годам тюремного заключения. Приговор вызвал неодобрение обеих сторон. Раздались крики: «Позор! Позор!» Жуков пригрозил очистить зал, если беспорядок не прекратится.

Комендант объявил к слушанию дело Владимира Пуришкевича. Когда этот отъявленный монархист и воинствующий антисемит с самоуверенно-наглой улыбкой вышел вперед в сопровождении двух своих адвокатов — отца и сына Пушкиных, публика заволновалась. Этот самый надежный царский слуга, готовый совершить любое мерзкое преступление, инициатор многих грязных дел, в том числе знаменитой инсценировки процесса Менделя Бейлиса в 1913 году, был далеко не глупым человеком. Агурский — еврей по национальности — с возмущением прошептал мне, что Пушкины по рождению тоже евреи! В списке свидетелей обвинения было названо около 12 человек, трое носили еврейские фамилии. Одному из них защита заявила отвод, мотивируя тем, что он будет говорить неправду. Суд удовлетворил отвод, даже не выслушав свидетеля!

— Такая снисходительность пахнет либерализмом! Просто абсурд какой-то! — негодовал Агурский.

Но это было еще не все. Пушкины, опираясь на множество процессуальных правил, потребовали, чтобы рассмотрение доказательств было разделено на две части. Чтобы в первой части суд изучил прошлую деятельность их подзащитного в той мере, в какой она имеет отношение к обвинению в принадлежности к контрреволюционному заговору. Здесь должны быть выслушаны и свидетели защиты, которые докажут, что он всегда был сторонником Временного правительства. (В действительности Пуришкевич играл ведущую роль в создании прокорниловской клики, господствовавшей на московском Демократическом совещании летом 1917 года.) Во второй части, говорили адвокаты, суд может заняться рассмотрением доказательств, которые якобы были найдены при аресте их подзащитного 3 (16) ноября.

Суд решил принять предложение адвокатов и перенес рассмотрение второй группы доказательств на следующий день.

Агурский так и кипел:

— Если они начнут разбираться во всех прошлых преступлениях Пуришкевича, им не хватит и целого года! — Это было не таким уж сильным преувеличением. Среди многих «деяний» Пуришкевича была и организация заговора с участием великого князя, имевшего целью предотвратить революцию снизу «революцией сверху». Центральным звеном заговора было убийство Григория Распутина, неграмотного сибирского мужика, который подчинил своему религиозно-мистическому влиянию большинство двора, включая царицу. Убийство совершилось в декабре 1916 года во дворце князя Юсупова, вызвав вздох облегчения у либералов и на короткий срок обнадежив Пуришкевича и других монархистов, но спасти монархию уже не могло. (Пуришкевич был признан виновным в предъявленном ему обвинении, осужден на небольшой срок тюремного заключения, но вскоре бежал и участвовал в формировании полка из офицеров и юнкеров, который был послан в распоряжение Каледина. Некоторое время спустя Пуришкевич объявился на Кавказе, где присоединился к генералу Деникину, а позже стал издавать какой-то черносотенный журнал. Умер он естественной смертью в Новороссийске в 1920 году.)

После Пуришкевича суд с той же серьезностью за-

нялся молодым парнишкой, который обвинялся в краже пачки газет из киоска, принадлежавшего одной пожилой женщине. Не спрашивая, правда это или нет, и не требуя от истицы особых доказательств, судьи сразу спросили у обвиняемого, что он сделал с газетами. Оказалось, что тот продал их, выручив один рубль шестьдесят копеек. Последовал новый вопрос: куда он дел деньги? Паренек отвечал бойко и даже весело. У него было плохое настроение, и он пошел в Народный дом на какую-то оперу — он давно мечтал посмотреть, что это такое.

— Ну и как, легче тебе стало после оперы? — спросил один из судей.

Паренек, улыбаясь, кивнул головой. Суд обязал его возместить ущерб, нанесенный продавщице газет, напомнив, что иметь киоск еще не значит быть капиталистом. Так как у парня не было ни копейки за душой, ему предложили продать что-нибудь из имущества. Он ответил, что все его имущество на нем. Тогда судьи внимательно посмотрели, в чем он одет, и выбрали галоши — они стоили приблизительно столько, сколько требовалось. Печально вздохнув, паренек неохотно снял их и передал женщине. Потом он снова улыбнулся и сказал:

— Зато я видел оперу.

* * *

Рабочие трибуналы были для меня примером «расширения горизонтов», о котором я говорил Риду, и в тот период примером более наглядным, чем кампания по ликвидации неграмотности, приостановившаяся из-за забастовки старых учителей и отсутствия новых. Мягкость приговоров, выносимых трибуналами, отражала сознательную политику большевиков, которые, казалось, были одержимы идеей лучезарной справедливости, расцветающей пышным цветом под солнцем их революции. Только что одержана победа, народ пропитан духом международной пролетарской солидарности, поэтому большевики, оказавшись в новом для себя качестве вершителей правосудия, сочли возможным проявить снисхождение к своему классовому врагу. Рабоче-крестьянским судьям, наверное, и в голову не приходило, что стоявших перед ними «буржуев» и

монархистов абсолютно не волнует «суровое порицание» международного пролетариата.

Во что обошлась им чрезмерная снисходительность первых дней? Если бы вначале они были менее милосердными, нам, возможно, не пришлось бы писать кровавую историю контрреволюции и интервенции. Милосердие притупило жажду мщения, которая сопутствует всем революциям. С другой стороны, если бы они не проявили эту чрезмерную мягкость, мы не смогли бы сегодня рассказывать о том, как они вначале пытались вести гражданскую войну мирным оружием.

Я не отрекаюсь от своих слов, написанных много лет тому назад в книге «Сквозь русскую революцию», и могу повторить их снова: «Революция не везде была достаточно сильной, чтобы смирить дикие порывы толпы. Не всегда ей удавалось вовремя остановить кровопролитные расправы. Хулиганы нападали на ни в чем не повинных граждан. В захолустье бандиты, назвавшись красногвардейцами, совершали гнусные преступления. На фронте генерал Духонин был вытащен из своего вагона и, невзирая на протесты комиссаров, растерзан в клочья. Даже в Петрограде разбушевавшиеся толпы забили до смерти нескольких юнкеров, а некоторых побросали в Неву.

...Но страшной кровавой бойни не последовало. Напротив, мысль о репрессиях меньше всего занимала рабочих» *.

Однако очень скоро и неизбежно наступит момент, когда от мягкости и снисходительности первых послеоктябрьских месяцев придется отказаться. В течение двух-трех лет в стране будет установлен суровый военный порядок. В инструкциях начнет применяться сталь, железный режим не дрогнет перед пролитием крови. Но это будет потом, после принятия жестоких условий унизительного Брестского договора, который к тому же постоянно нарушался немцами и после того, как страны Антанты, объединившись с самыми реакционными белыми генералами — кандидатами в военные диктаторы — Колчаком, Деникиным и другими, начнут открытую интервенцию против молодой республики.

---

* Альберт Рис Вильямс. О Ленине и Октябрьской революции. М., 1960, с. 184—185.

Правда, еще в декабре, вскоре после победы большевиков, Ленин счел необходимым предупредить товарищей против мягкотелости и всепрощения. Вот что он говорил в пересказе Воскова: рабочие еще не совсем осознали свою власть, и это естественно, но «горереволюционеры» хотят, чтобы мы, поймав саботажника или Пуришкевича с документами контрреволюционного заговора, подставляли бы им для удара вторую щеку. Нет, говорил Ленин, не щеку им подставлять, а расстреливать их надо! Где же у нас диктатура? И что будет с нашей революцией без нее? Вместо диктатуры — растерянность и болтовня. Если мы не проявим твердости, враг нас сломит.

Тем не менее в те голодные, но счастливые дни и недели после отпора войскам Керенского — Краснова, пытавшимся захватить Петроград, новая власть проявляла необычайное великодушие и мягкость, несмотря на все предупреждения Ленина.

* * *

Петерс был назначен заместителем председателя только что созданной Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (сокращенно ВЧК). Новые обязанности поглощали все его время, однако, если выдавалась свободная минутка, он по-прежнему охотно с нами беседовал. Когда встревоженная слухами Бесси Битти спросила его, правда ли, что будет введена казнь на гильотине, он ответил:

— 25 октября было свергнуто Временное правительство. 26 октября была отменена смертная казнь. И мы никогда ее не восстановим... разве только, — поколебавшись, добавил он, — разве только нам придется применить ее к предателям из наших собственных рядов. А как иначе можно поступить с предателями? Нас ведь так мало для выполнения стоящих задач, что мы вынуждены брать всех, кто к нам идет.

Как-то раз мы с Ридом, закончив работу в Наркоминделе, решили по дороге домой зайти к Петерсу в ЧК. Он сидел на самом верхнем этаже дома на Гороховой, где раньше помещалось полицейское (или жандармское) управление.

ЧК выполняла главным образом следственные функ-

ции и придерживалась при этом определенных социалистических принципов, хотя мы с Ридом часто поддразнивали Петерса, подвергая это сомнению. (Даже анархист Махно, описывая свое пребывание в тюрьме летом 1918 года в качестве политического заключенного ЧК, рассказывает, как ЧК создала комиссию из бывших политических узников московских тюрем с целью разоблачения наиболее жестоких тюремщиков, которые были потом арестованы и привезены на допрос в ЧК.)

В тот вечер Петерс выглядел усталым, был явно чем-то расстроен и не склонен вступать в споры. Он рассказал нам об одном офицере, который под видом советского комиссара появлялся в дорогих отелях и реквизировал кошельки и бумажники. Прежде чем его поймали на месте преступления, он успел награбить довольно крупную сумму денег.

— И что же с ним сделали? — спросил Рид. — Вынесли суровое порицание перед лицом международного рабочего класса? Или, может быть, включили его имя в список врагов народа?

Это были самые распространенные в те дни наказания.

— Пожизненное заключение, — лаконично ответил Петерс. Я был ошеломлен.

— Но ведь другие за более тяжкие преступления получали лишь несколько недель!

— Дело в том, что этот офицер совратил шестнадцатилетнюю девочку и вообще отъявленный негодяй. Я бы сгноил его в тюрьме, — сказал Петерс.

— Так за что же он все-таки получил пожизненное заключение: за совращение девочки, за грабеж или за то, что изображал из себя комиссара? — пытался выяснить Джон.

Но прежде чем Петерс успел ответить, Рид неожиданно изменил направление атаки, как это часто с ним бывало.

— Впрочем, меня совершенно не волнует, что вы сделаете с каким-то мелким мерзавцем, — сказал он, — но вот чего я никак не могу понять, так это вашего отношения к мерзавцам крупного калибра. Почему они остаются ненаказанными? Корнилов, например. Большевики приходят к власти, заключенный Корнилов узнает об этом и просто покидает тюрьму, будто снимается с бивака. Керенский открыто выезжает из

Петрограда, а потом в костюме матроса проскальзывает мимо постов, в двух шагах от Дыбенко, пока тот ведет с казаками переговоры о его выдаче. А Краснов! Стоило ли его сажать под арест, чтобы затем выпустить? Мы пишем листовки, объясняя немцам, как избавиться от угнетателей. А как прикажете объяснить им, почему русские отпускают своих на свободу?.. Ладно, черт возьми, — неожиданно засмеялся он и хлопнул Петерса по плечу, — подождем, пока мы сами совершим у себя революцию, тогда уж и будем вас учить.

— Интересно, что бы сказали немецкие солдаты, если бы узнали, что эти листовки, в которых говорится, насколько легко свершается революция, пишут два американца? — задал я риторический вопрос.

Мы действительно это писали. Вот как, например, объяснялась природа революции в одной из наших листовок: «Революция свершается легко. Власть аристократии держится только на рабстве и покорности, на пассивности народа. Когда они исчезают, исчезают и цари».

Мой рассказ о листовках наконец развеселил Петерса. У нас действительно все выглядело гораздо проще, чем у Ленина, подтвердил он, смеясь, и напомнил одно место из недавней речи Ленина на съезде военного флота: «Если было так легко справиться с шайкой жалких, полоумных людей, как Романов и Распутин, то зато неизмеримо труднее бороться с организованной и сильной кликой германских коронованных и некоронованных империалистов» *.

— Не менее трудно, — продолжал Петерс, уже совсем успокоившись, — проводить политику нейтрализации генералов и контрреволюционных лидеров, не теряя при этом из виду основные цели революции и не позволяя себе захлебнуться в волне анархистской распущенности. Но вы правы: мы многих выпустили из наших рук. Все это не так просто...

Мы молчали. Возразить было нечего. Генерал Н. Н. Духонин, последний начальник штаба верховного командования при Керенском, стал после бегства Керенского первым верховным главнокомандующим нового режима. 8 (21) ноября Духонин получил приказ

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 117.

Совета Народных Комиссаров немедленно начать переговоры о перемирии. В то время мало кто из генералов воспринимал Октябрьскую революцию и советских комиссаров всерьез. Духонин отказался выполнить приказ, а когда ему было заявлено об отстранении его от должности за неповиновение предписаниям правительства, он не признал законности этого распоряжения. Совет Народных Комиссаров заклеймил его поведение как «...несущее неслыханные бедствия трудящимся массам всех стран и в особенности армиям» * и назначил новым главнокомандующим прапорщика Н. В. Крыленко, который тут же с военным отрядом отправился в Могилев, в ставку главковерха. 9 (22) ноября «всем полковым, дивизионным, корпусным, армейским и другим комитетам, всем солдатам революционной армии и матросам революционного флота» была послана радиотелеграмма за подписью Ленина и Крыленко, которая излагала суть дела и призывала солдат и матросов не дать «контрреволюционным генералам сорвать великое дело мира», окружить их стражей, «чтобы избежать недостойных революционной армии самосудов и помешать этим генералам уклониться от ожидающего их суда». Радиотелеграмма настойчиво убеждала: «Вы сохраните строжайший революционный и военный порядок». И с той же настойчивостью предлагала выбирать уполномоченных «...для формального вступления в переговоры о перемирии с неприятелем» **.

Когда Крыленко прибыл в ставку, Духонин не оказал никакого сопротивления. Некоторые офицеры и небольшая часть войска, не симпатизирующие большевикам, ушли из Могилева. 19 ноября по решению местного Совета власть в городе была передана в руки большевистского Военно-революционного комитета. Крыленко обосновался в штабе, большинство офицеров, арестованных вместе с Духониным, было выпущено на свободу. Казалось, все шло спокойно, и вдруг — самосуд над Духониным. Это было полной неожиданностью. Группа разъяренных солдат вытащила его из вагона, где он содержался под стражей, и убила. Потом выяснилось: солдаты узнали, что по приказу Ду-

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 82.
** Там же.

хонина Корнилов, Деникин и другие офицеры были выпущены из тюрьмы. Это и послужило причиной расправы. Освобожденные генералы отправились на Юг, в Донскую область, и вместе с генералом Алексеевым начали создавать добровольческую белую армию. Контрреволюция собирала силы.

— Конечно, нельзя пока ожидать, чтобы каждый солдат понимал значение слов «революционная дисциплина», — сказал Рид, — но они прекрасно поняли, что приказ Духонина создал угрозу для их революции.

— И все-таки, — заметил я, — несмотря на отдельные эксцессы, которые, конечно, сразу же попадают на первые полосы всех газет мира, русскому народу в целом глубоко чужда мстительность, он очень легко и быстро прощает зло. Мне рассказывали, что в провинции крестьяне-присяжные, как правило, сочувствовали подсудимому. Помню, Янышев даже говорил мне, что в русском языке нет точного эквивалента слову «criminal». Когда мы были в суде, я не мог отделаться от ощущения, что рабоче-крестьянские судьи и не считают стоящих перед ними представителей буржуазии лично ответственными за свои антисоветские действия.

Рид поморщился и стал обвинять меня в идеализации крестьянина и в романтизме. Он особенно охотно критиковал романтизм в других.

— Но вы, большевики, действительно слишком далеко заходите в своей доброте, — снова переключился он на Петерса...

Позже, уже в 1918 году, когда петроградскую ЧК возглавлял Урицкий, Восков рассказывал нам, как однажды к Урицкому привели какого-то царского родственника, чье имя и титул я не записал. Только что вышел декрет, запрещающий всем лицам мужского пола из семьи Романовых проживать в Петрограде и его окрестностях.

— Урицкий очень вежливо объяснил Романову, что декрет, помимо всего прочего, обеспечит ему бо́льшую безопасность. «Но я не могу покинуть город, не могу никуда уехать, так как у меня не осталось ни одного слуги», — ответил тот. «Ну, это не беда, — сказал Урицкий, — вот он, — показывая на меня, — обходится без слуг, я тоже обхожусь без них. Попробуйте и вы, поезжайте куда-нибудь, устройтесь на работу, а там

видно будет, может быть, вам потом разрешат вернуться». — «Да ведь мне не дадут должности в Советском правительстве, — с поразительной логикой возразил родственник бывшего самодержца. — Романов в Советском правительстве! Звучит весьма странно».— «Есть же и другие виды деятельности, помимо политической, — ответил Урицкий. — Можно поработать и в огороде. Весна вон на носу».

* * *

25 октября Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов принял резолюцию, в которой отмечалось, что восстание было на редкость успешным и на редкость бескровным. Проект резолюции, составленный Лениным, внес на заседании Совета Володарский. И он же стал первой жертвой кровавого террора против большевистских вождей, организованного эсерами. Его убили в Петрограде прямо на улице 21 июня 1918 года. А 30 августа убили Урицкого и тяжело ранили Ленина. Только после убийства Володарского начались репрессии, и только в ответ на белый террор был объявлен красный террор. Глубоко взволнованный убийством Володарского, Ленин написал Зиновьеву, который с февраля 1918 года был председателем Петроградского Совета:

«Только сегодня (письмо датировано 26 июня 1918 г. — *А. Р. В.*) мы услыхали в ЦК, что в Питере *рабочие* хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали.

Протестую решительно!

Мы компрометируем себя... *тормозим* революционную инициативу масс, *вполне* правильную.

Это не — воз — мож — но!

Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего *решает»* *.

Много раз видя собственными глазами отношение рабочих к Володарскому, я считаю тон письма еще довольно сдержанным. Жаль только, что Ленин не вы-

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 50, с. 106.

ступил с таким предупреждением в январе 1918 года после первого покушения на него самого.

Английский историк Чарльз Тревельян писал:

«Революция не рождает ни святых, ни дьяволов». Я не собираюсь бросаться в бой, чтобы доказать обратное (тем более что среди всех критиков, откликнувшихся на выход в свет моей книги «Сквозь русскую революцию», Тревельян был, пожалуй, единственным, кто так тонко почувствовал сам и так ясно показал другим то главное, что я пытался выразить в книге, — причем сделал он это в период, который им же самим был охарактеризован как «новый период враждебности к Советскому правительству»). И все же справедливости ради не могу не высказать по этому поводу своего мнения. В те дни, когда революция еще не была вынуждена ответить террором на террор, когда интервенция и гражданская война еще не отравили горечью сердца и не ожесточили их, сравнительно небольшая горстка людей — некоторых я знал лично, вместе с ними работал, недоедал и недосыпал, а позже и шагал рядом в строю, — те, что самоотверженно пытались бороться с хаосом, создавая из него порядок, бескорыстно шли за самым бескорыстным и самоотверженным из них, за Лениным, — казались мне почти святыми.

Хаос был во всем, хаос и саботаж. (Шли дни и недели, а Советы все никак не могли получить деньги из банков, ни кредитов, ни наличными, для выдачи зарплаты рабочим. Финансовое положение было такое же, как во время американской революции, когда у главного квартирмейстера армии не было денег, чтобы получить на почте корреспонденцию и когда Джордж Вашингтон слал во все штаты отчаянные письма, умоляя прислать продовольствие, фураж и ром, так как все запасы уже истощились.)

«...Перескочить сразу к социализму мы не можем» *, — сказал Ленин, а тем, кто обвинял большевиков в терроре, диктатуре, гражданской войне, он ответил в январе 1918 года, за шесть месяцев до введения красного террора: «Да, мы начали и ведем войну против эксплуататоров. Чем прямее мы это скажем, тем скорее эта война кончится, тем скорее все трудящиеся

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 267

и эксплуатируемые массы нас поймут, поймут, что Советская власть совершает настоящее, кровное дело всех трудящихся» *.

Да, хаос был во всем, но Ленин продолжал верить и убеждать других, что народ найдет правильный выход.

— Как мы сможем все это объяснить у себя дома? — завел однажды разговор Рид, когда мы сидели в своей рабочей комнате и отбирали фотографии для очередного плаката.

Как? Мы были согласны в том, что никакие объяснения не смогут удовлетворить всех, но, как бы кто к этому ни относился, революция свершилась, стихийная народная ярость взорвала вековечный порядок, и чем бы сейчас это ни кончилось, даже если кончится поражением, мир уже никогда не будет прежним. И все мы, кто видел, слышал и пережил этот взрыв, считали своим долгом объяснить революцию — каждый со своей предвзятой точки зрения. Мы никогда не делали вида, будто наша может быть какой-нибудь иной. Но как объяснить все это Америке? Вызовет ли русская революция сочувствие к себе или ей не простят выхода России из войны?

— Да не это ей не простят! Правительство никогда не простит русским революционерам то, что они бросили вызов всей капиталистической системе в целом, — сказал Рид.

— Для нас главное — отношение народа, — возразил я. — В сущности, у американцев очень много общего с русскими. Мы тоже многонациональный народ: фактически только нас и можно назвать европейцами. В Европе есть англичане, французы, немцы, датчане, ирландцы, поляки, русские и т. д., и только в Америке они составляют единую нацию.

— И оба народа — пионеры-землепроходцы, — подхватил Рид. — Мы двигались на запад, к Тихому океану, а они — к нему же, на восток. Но, кроме сходства, есть и различия. Наши фермеры непохожи на здешних крестьян, у нас нет того самого «мира», о котором ты так часто говоришь, да и освоение новых земель только-только кончилось.

— Ну и что же, а разве шведы, немцы и норвежцы, поднимавшие целину в степях Дакоты или Миннесоты,

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 268.

не привезли с собой вековую крестьянскую жажду земли, не утоленную на родине? Сколько лишений они перенесли, прежде чем эта земля начала плодородить!

— А потом разбогатели, стали крайними индивидуалистами и вырастили сыновей и внуков, которые теперь пишут законы, управляют банками и охраняют статус-кво, — парировал Рид.

— И даже посылают своих детей учиться в Гарвард, — добавил я, смеясь.

— Или в духовные семинарии с филиалом в Европе, — подхватил Джон.

— Хорошо, ну а как ты объяснишь успех тех маленьких социалистических еженедельников, которые все время, хоть и на короткий срок, появляются у нас на Западе и Среднем Западе? — не унимался я. — А существование ежедневных социалистических газет? А число голосов, поданных за Дебса?

— Америка сейчас одержима главным образом машинами и деланием денег. Социалистические идеи волнуют пока только определенную часть рабочих и тех, что привезли эти идеи из Европы — из России после 1905 года, из Германии, из Австрии, — ответил Рид.

Мы оба хорошо понимали, что самым трудным вопросом будет для нас вопрос о свободе. Американцы так же, как и русские, народ глубоко демократичный и свободолюбивый. Как объяснить, чтобы американцы поняли: одно дело — свобода в Америке XX века, а другое — свобода в России? Особенности истории России сделали русского бо́льшим экстремистом и бо́льшим абсолютистом, чем американец. Воспитанный в условиях самодержавия, он страстно жаждал свободы, но для него это означало свободу *чего-то*: свободу жизни, труда, образования, независимо от пола, религии и национальности, свободу выбора и возможность применить свои способности на пользу себе и обществу. Для американца же свобода скорее означает свободу *от чего-то*, то есть отсутствие ограничений.

Между тем в тот ранний период революции мы видели, как понимает свободу петроградский пролетариат, и долгое время это понимание, воплощенное в самой революции, будет в представлении рабочих той социалистической нормой, к которой они вскоре вернутся. Это было выражено в статье, опубликованной в № 1 газеты «Красный меч» в августе 1919 года:

«У нас новая мораль, — говорилось в статье. — Наш гуманизм абсолютен, так как основан на светлых идеалах уничтожения всякого насилия и угнетения. Нам позволено все, потому что мы первые в мире, кто поднимает меч не ради порабощения и подавления, а во имя всеобщей свободы и освобождения от рабства».

Как скоро им придется «поднять меч» и как скоро они смогут его поднять (армия развалена, крестьянские массы жаждут лишь мира) — эти вопросы ни в ноябре, ни даже в декабре почти ни у кого из нас не возникали. Но жаркие споры вокруг Брестского мира уже велись (временное перемирие было подписано, а в декабре начались официальные переговоры о прекращении войны): в январе — замаскированно, в феврале и марте — открыто. Сегодня историки единогласно признают, что ленинская политика, требовавшая заключения немедленного мира для создания новой армии, которая могла бы бороться с империалистами, спасла революцию. То, с каким трудом он победил, как его трезвая, реалистическая программа еле-еле одержала в марте верх над эмоциями многих членов партии, представляет собой одну из самых драматических страниц истории.

Что касается меня, то в декабре началось мое настоящее знакомство с Лениным, а в последующие месяцы тяжелых испытаний я узнал его еще ближе и глубже понял.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ В ЯНВАРЕ

Начавшийся в январе брестский кризис усугублялся тем, что все споры вокруг мирного договора проходили в особых условиях: большевики еще не остыли от возбуждения, вызванного победой, вино успеха ударило в голову, и по мере того, как поступали вести о торжестве революции в провинции и в деревне, его пьянящее действие усиливалось.

По словам Ленина, большевики «в несколько недель, свергнув буржуазию, победили ее открытое сопротивление в гражданской войне» и «прошли победным триумфальным шествием большевизма из конца в конец громадной страны» *.

* В. И Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, с. 79.

Революционный пыл не остывал. Вера в пролетариат других стран, которую я впервые ощутил еще в июне, стала неотъемлемой частью революции. Этой верой были охвачены не только сознательные революционеры, но и самые широкие массы народа. Даже «умеренные» вынуждены были с ней считаться, иначе чем объяснить тот факт, что председатель I Всероссийского съезда Советов Чхеидзе обратился ко мне с просьбой выступить на съезде? И разве не этой горячей верой в рабочих всех стран можно объяснить те бесчисленные приглашения, которые буквально сыпались на нас с Ридом в сентябре, — приглашения выступить на заводских и рабочих собраниях? «Мир без аннексий и контрибуций» — часть большевистской программы, открыто провозглашенной большевиками после Апрельских тезисов Ленина, — был теперь узаконен Декретом о мире, утвержденным фактически прежде, чем над Зимним дворцом стих гул артиллерийских залпов.

Однако в январе, когда казалось, что уверенность в поддержке пролетариата всего мира господствует среди большевиков сверху донизу, Ленин этой уверенности не разделял. Если в октябре он призывал к смелости, к «тройной смелости», то сейчас, по его мнению, настало время осторожности.

А между тем весь мир лихорадило. Не один монарх и не одна «либеральная» партия Запада, стоявшая в то время у власти, дрожали от страха: большевистский «вирус» легко мог перекинуться на их страны, на рабочие партии и союзы, настроенные до сих пор патриотично. В Америке привлекли к суду редакторов журнала «Мэссиз» (и в их числе Джона Рида), одновременно поднялась истерическая кампания против «Индустриальных рабочих мира» и против иностранцев вообще. Все это было лишь прелюдией к антикоммунистическому «крестовому походу» 1919 — 1920 годов.

Внешне же дело выглядело так, будто американское правительство ни капли не было озабочено угрозой большевиков. Ведь еще в первомайском приветствии Временному правительству президент Вудро Вильсон изложил свои взгляды на цели войны, которые прозвучали для всего мира, подобно словам

Ленина из Апрельских тезисов о самоопределении *.

А разве знаменитые «четырнадцать пунктов» Вильсона не были попыткой изложить те же самые принципы, что легли в основу русского Декрета о мире? ** И хотя с этими пунктами президент обращался к конгрессу Соединенных Штатов, а не к Советскому правительству, он счел нужным особо остановиться на проходящих в Бресте мирных переговорах, и было совершенно ясно, что Вильсон рассматривал большевистских делегатов как законных представителей России ***.

Каковы бы ни были причины, побудившие Вильсона произнести эту «сочувственную» речь, она сама по себе доказывала, что многие положения Апрельских тезисов Ленина, начиная с определения мировой войны как «грабительской», попали в самую точку: все вещи были названы своими именами. А наглядным подтверждением тому и весьма чувствительным ударом явилась неслыханная до сих пор в истории встреча за линией германского фронта в маленьком сожженном городке, где совершенно неискушенные дипломаты — рабочий, крестьянин и интеллигент — сели за стол переговоров с представителями германского верховного командования. Более того, благодаря последнему достижению тогдашней техники — радио — их выступления звучали на весь мир.

Именно выступлениям большевиков отдавал должное Вильсон, когда говорил, что речи делегатов в

* Здесь автор, очевидио, имел в виду характеристику Лениным в этом документе войны как грабительской, империалистической и его требование об отказе от завоеваний и аннексий. Отдельные слова Вильсона (о суверенитете, свободе) лишь звучали наподобие ленинских требований, в действительности же, руководствуясь тезисом: «война положит конец войнам», — он проводил политику продолжения войны.

** Вильсон лишь касался вопросов о мире в своих «четырнадцати пунктах» (январь 1918 г.), противопоставив их декрету Советского правительства о справедливом и демократическом мире, стремился тем самым нейтрализовать революционизирующее влияние декрета и факта публикации тайных договоров, а также других революционных действий Советской России.

*** Официальная Америка враждебно встретила победу большевиков в революции 1917 г. и их мирную политику. Неоднократные обращения к правительству США и других стран советских представителей на мирных переговорах в Бресте и после их окончания с целью поддержания борьбы за мир не нашли понимания и не получили даже ответа.

Бресте были искренними и честными. Президент, который в 1916 году баллотировался на второй срок под лозунгом «Он спас нас от войны», заявил конгрессу: «Это голос русского народа. Может показаться, что русские повергнуты ниц и беспомощны перед мрачной силой Германии, не знавшей до сих пор ни угрызений совести, ни жалости. Их силы, видимо, на исходе. Но душа их не покорилась. Они не уступят ни в принципах, ни на деле. Их концепция справедливости, гуманности, чести — того, что они считают для себя приемлемым, — была высказана с такой откровенностью, широтой взгляда, душевной щедростью и таким общечеловеческим пониманием, которые не могут не вызвать восхищения всех, кому дороги судьбы человечества... Поверят ли нам теперешние лидеры России или нет, но мы от всей души желаем и надеемся, чтобы открылся какой-нибудь способ, который дал бы нам почетное право помочь русскому народу осуществить его главную мечту о свободе, мире и порядке» *.

Нетрудно понять, почему в тот период так легко было поддаться любым иллюзиям. Они были распространены не только среди большинства советских лидеров, но, как я обнаружил спустя шесть месяцев во Владивостоке, проникли и в массы. Надо ли говорить, что от них не уберeглись двое американцев, которые хотя и считали себя сверхпроницательными, тем не менее не были лишены общих человеческих слабостей. По крайней мере, я могу твердо сказать, что в то время лелеял всякого рода тщетные надежды, что Соединенные Штаты каким-либо путем пойдут на сближение с Советами. Эти надежды стали особенно радужными после одной беседы с Раймондом Робинсом. А после встречи с военным атташе французского посольства Жаком Садулем (который, как и Робинс, придерживался независимых от своего посольского окружения взглядов) я даже поверил в возможность создания франко-американской Красной гвардии для вооруженного вы-

* Это были только слова президента. На самом деле уже в иачале 1918 г. правительство США выступило против свободы, мира и порядка, за расчленеиие Советской России и призиание временных правительств отдельиых иациоиальиых территорий страиы, а затем весиой начало совместио с другими империалистическими государствами иитервеицию в Мурманске, Архангельске и во Владнвостоке с целью уиичтожеиия власти Советов.

ступления против немцев. С другой стороны, на нас с Ридом огромное влияние оказывала та работа, которую мы выполняли. Изо дня в день мы призывали немецких братьев — рабочих и солдат — к восстанию, и нам наконец стало казаться, что они просто не могут поступить иначе.

Когда было разрешено распространение «четырнадцати пунктов» Вильсона, их стали печатать в той же типографии, где печаталась наша ежедневная газета на немецком языке. Листовки с «четырнадцатью пунктами» грузились вместе с пачками этой газеты и отправлялись по одному адресу — на фронт. Наши простые, безыскусные слова распространяли тем же способом, что и красивые слова президента-златоуста. (Кто мог тогда подумать, что эти красивые слова так и останутся словами, что они введут в заблуждение не только рабочих и крестьян, но и британских лордов и политиков?) Листовки и газеты разбрасывались над немецкими окопами или передавались солдатам в намеченных пунктах братания. Наша газета «Die Fackel» с 19 декабря 1917 (1 января 1918) года стала называться «Der Völkerfriede» *, и так как временное перемирие облегчило ее распространение, значение этой газеты сильно возросло.

Газета рассылалась также во все лагеря военнопленных на территории России. Карр ** пишет, что до 10 (23) января 1918 года вышло 13 номеров «Der Völkerfriede» (в библиотеке Британского музея это последний номер); после заключения Брест-Литовского мира газета прекратила свое существование. Я должен внести поправку. У меня сохранилось несколько разрозненных номеров «Der Völkerfriede», где над немецким названием напечатано мелким шрифтом русское — «Мир народов». Последний номер датирован 11 (24) февраля 1918 года, но не совсем уверен, что не было более поздних выпусков. Зато с другим утверждением Карра я полностью согласен. Он пишет: «В этих изданиях больше всего поражал интеллектуальный характер обращения к читателю, как будто пред-

* «Die Fackel» — «Факел»; «Der Völkerfriede»— «Мир народов» *(нем.)*.

** Э. Карр — английский буржуазный историк, автор трехтомной истории Октябрьской революции, в которой он рассматривает события с консервативных позиций.

полагалось, что читатель знаком с основными положениями марксизма». В отношении газеты это утверждение абсолютно справедливо. Но мы с Ридом работали также над плакатами и листовками, которые по нашему настоянию были менее интеллектуальными, более наглядными, со множеством фотографий и очень простыми подписями к ним, — такие издания легче находили путь к широким массам. Об их эффективности свидетельствовала реакция австро-венгерских военнопленных, которые заявили, что в случае возобновления военных действий они повернут штыки против армии кайзера.

Рассказывая об этом периоде, многие исследователи цитируют знаменитую фразу генерала Гофмана: «Сразу же после победы над большевиками мы потерпели от них поражение. Наша доблестная армия на Восточном фронте заразилась большевизмом». Без ложной скромности можно сказать, что и мы сыграли в этом небольшую роль. Каждый день из Народного комиссариата иностранных дел отправлялось свыше полумиллиона газет на немецком, венгерском, польском, сербском, чешском, а иногда к этому добавлялись листовки на румынском, турецком, хорватском и других языках.

Широкое распространение речи Вильсона в России и в немецких войсках можно было рассматривать как определенный успех нас — американцев. Оно имело также весьма интересное последствие — встречу Робинса и Эдгара Сиссона с Лениным. Встреча, устроенная Гамбергом, состоялась 29 декабря 1917 года (11 января 1918 года). Бывший сотрудник газеты «Чикаго трибюн» и журнала «Космополитэн» Сиссон был в то время петроградским представителем комитета общественной информации, созданного президентом Вильсоном во время войны.

Беседа представляла интерес и по другим причинам. Для Робинса это была первая встреча с Лениным (для Сиссона, кажется, единственная). Она обнаружила, что, несмотря на некоторый скептицизм, Ленин был готов пойти Робинсу навстречу. Он оценил речь Вильсона как большой шаг вперед к установлению мира, сказал, что не возражает против ее распространения, и поинтересовался возможными практическими результатами речи. Судя по всему, Робинс и Сиссон уклонились от ответа на этот вопрос.

7 января Троцкий вернулся из Бреста с докладом о ходе переговоров. За два дня до этого генерал Гофман положил на стол карту с обозначенной линией фронта и напомнил русской делегации, что «победоносные германские войска находятся на русской земле» и не намерены отходить от этой линии, пока Россия не произведет полной демобилизации. (По ту сторону фронта оставались почти вся Польша, Литва, Белоруссия, половина Латвии.) По вопросу об Украине генерал занял уклончивую позицию: это, дескать, надо решать с Украинской (антибольшевистской) радой. Выслушав отчет Троцкого, Ленин сразу же стал писать «Тезисы по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира». Уже на следующий день «Тезисы» обсуждались на заседании руководящих деятелей партии, однако в печати они появились лишь 24 февраля. (С 1 февраля был введен новый календарь, и 1 февраля стало 14-м.) Только к 23 февраля Ленину удалось наконец добиться, чтобы его предложение о мире было принято большинством голосов в Центральном Комитете. До этого вокруг его тезисов был, как Ленин впоследствии охарактеризовал, «заговор молчания». Вполне естественно, что в тот период нас с Ридом, как и многих наших товарищей, раздирали противоречия и колебания. Несмотря на усилия военной цензуры, в газеты всего мира просачивались сообщения, свидетельствующие о том, что продолжение войны становилось одинаково ненавистным обеим воюющим сторонам.

Когда 16 октября 1917 года Ленин объяснял своим товарищам, почему создавшаяся в тот момент обстановка была наиболее благоприятной для захвата власти, он ссылался на восстание в германском военном флоте, которое давало основания предполагать, что на стороне молодой Советской республики будет вся пролетарская Европа. С тех пор признаки революционного кризиса множились, хотя еще и не достигли январских и февральских масштабов. По некоторым намекам наших друзей-большевиков мы могли предполагать, что Ленин пока не возражал против тактики затягивания Брестских переговоров и выигрыша времени, но относился к этому весьма скептически. По существу дела он был решительно не согласен с большинством руководителей партии. Ленин знал, что в ско-

ром времени жизнь неизбежно разобьет все иллюзии его товарищей.

А иллюзий было немало. Одна из них внушала надежду, что неспокойная обстановка в тылу вынудит германское верховное командование пойти на уступки по многим вопросам, поднятым в Бресте. Другая — что Вильсон порвет с Ллойд Джорджем * и признает Советское правительство независимо от Англии. Во всяком случае, почти все были уверены, что Вильсон не допустит высадки японцев на Дальнем Востоке. Однако все эти иллюзии затмевала горячая вера в то, что Европа, и прежде всего Германия, находится накануне революции.

Кто мог тогда поверить, что, если Советы отклонят германские условия и объявят «революционную» войну, немецкие рабочие и крестьяне будут выполнять приказы своих офицеров и стрелять в русских братьев.

Не было недостатка и в объективных обстоятельствах, которые служили пищей для всех этих иллюзий и тем самым придавали Брестским переговорам особо драматический характер.

Поначалу, когда стоял вопрос о перемирии, дела в Бресте шли хорошо. Первая русская делегация в составе Иоффе, Сокольникова, Биценко, Карахана (секретаря) и капитана Мстиславского, которых везде сопровождала четверка, символизирующая новый строй: рабочий, солдат, матрос и крестьянин, — изложила позицию Советского правительства, отражавшую дух Декрета о мире и подчеркивавшую принцип национального освобождения, и глава германской делегации фон Кюльман ** согласился принять ее за основу переговоров. Русские смогли включить даже такие пункты в договор о перемирии: не производить переброску своих войск с русского фронта на Западный, кроме тех частей, которые уже получили приказ о передвижении (Гофман впоследствии свел выполнение этого обязательства до минимума, но тогда оно было принято с полной серь-

---

* Д. Ллойд Джордж (1863—1945) — государственный деятель Великобритании, лидер Либеральной партии. В 1916—1922 гг. — премьер-министр Англии.

** Р. Кюльман — министр иностранных дел Германии, возглавлял германскую делегацию на переговорах в Бресте вместе с начальником штаба Восточного фронта генералом Гофманом.

езностью), оглашать ход переговоров и проводить братание солдат на фронте *.

1 января меня пригласили выступить в Михайловском манеже, и я в тот день впервые встретился с Лениным (если не считать короткого разговора, когда он отказал мне в пропуске на фронт). Я имел тогда весьма смутное представление о внутрипартийной борьбе по вопросу о Брестском договоре.

Мне было известно, что, когда 9 декабря начались официальные переговоры об условиях мира (перемирие было заключено со всеми центральными державами, и теперь в переговорах, помимо немецких генералов и дипломатов высшего ранга, участвовали представители Австро-Венгрии, Турции и Болгарии), сразу же возникли противоречия по вопросу о самоопределении. Центральные державы твердо заявили, что Литва, Курляндия, части Эстонии, Ливонии и Польши должны быть освобождены от России. По предложению большевиков переговоры отложили на 10 дней, чтобы в третий раз официально пригласить державы Антанты. Как тяжело было молодому социалистическому государству в одиночку добиваться мира! Когда переговоры были возобновлены, Англия, Франция и США по-прежнему отсутствовали, хотя во всех столицах мира еще звучали слова из речи Вильсона, произнесенной накануне. Теперь генерал Гофман и фон Кюльман заговорили другим языком — жестким и требовательным.

Утром 1 января на завтраке в представительстве Красного Креста я с гордостью заявил Робинсу, что должен буду произнести речь на первом митинге бойцов социалистической армии.

Батальон броневиков — первенец организованной революционной армии — отправлялся на юг. С половины третьего начали собираться солдаты батальона, преимущественно бывшие красногвардейцы, то есть рабочие фабрик и заводов — молодые парни, некоторые еще вчерашние подростки, но среди них встречались и опытные, революционно сознательные солдаты. Электричества не было, а обогревалось все это огромное помещение одной-единственной печкой, находящейся в самом дальнем углу. Чтобы согреться, люди топтались на месте, стуча ногой об ногу. Ждали Ленина и напут-

* Договор включал пункт о сношениях между войсками.

ственных речей. Кроме нескольких шинелей, никакой общей формы одежды не было. Винтовки, жестяные котелки да крестьянские котомки — вот и все снаряжение.

Кое-где на стенах висели кумачовые плакаты, но они не могли скрасить обстановку: в зале царили мрак и холод. Молодые лица выражали угрюмую решимость. Эти люди еще не знали, куда их пошлют, но были готовы идти куда угодно, чтобы сражаться с врагами революции. Два броневика, украшенных плакатами и свежими еловыми ветвями, стояли перед входом в манеж, третий, украшенный таким же образом, вкатили внутрь, чтобы использовать в качестве трибуны. Остальные машины, тускло поблескивая серовато-коричневой броней, выстроились грозными рядами по обе стороны длинного здания.

В ожидании Ленина некоторые бойцы задавали вопросы своему командиру. На все вопросы был один ответ: они идут воевать с контрреволюционерами и империалистами. К четырем часам в зале стало совсем темно. Спели несколько революционных песен. Потом на броневик взобрались трое парней с балалайкой, бубном и гармошкой, откуда-то появились свечи. Чтобы занять время и согреться, люди образовали полукруг и, не снимая амуниции, начали плясать кто во что горазд. Трижды звуки автомобильного гудка с улицы прерывали песни и пляски, все готовились приветствовать Ленина, но сигналы оказывались ложными. Наконец машина Ленина въехала в манеж. Самодеятельный оркестр спустился с броневика, отряд построился для приветствия. Было уже семь часов вечера. В честь Ленина прозвучало громкое «ура!». Ленин быстро поднялся на броневик и начал говорить. Все пока идет хорошо, даже очень хорошо, сказал он, но они всегда должны быть готовы к любым неожиданностям. Потом он спокойно и беспристрастно обрисовал текущее положение, как он его понимал, и если он тогда еще не дал полного анализа обстановки, то зато ничего и не приукрашивал. Впрочем, Ленин никогда ничего не приукрашивал, и в этом была еще одна особенность его как руководителя. Он сказал своим слушателям, что им предстоит бой с империалистической буржуазией всех стран. Так у меня записано на сохранившихся до сих пор листках почтовой бумаги со штемпе-

лем гостиницы «Регина», Мойка, 61, где я тогда жил. (Эта гостиница называлась также «Военно-революционным отелем».)

Я много раз слышал Ленина, и единственным выступлением, которое, мне казалось, не зажгло аудиторию *, была его речь в Михайловском манеже. Я не понимал в то время — почему? Истинная причина осталась для меня неясной и в 1919 году, поэтому в книге, которую я тогда выпустил, я пытался объяснить это сильным переутомлением Ленина. Оглядываясь теперь на то героическое время, я понимаю, что ждал от Ленина слов, к которым успели привыкнуть эти еще не оперившиеся бойцы новой армии. (Их впервые назвали не Красной гвардией, а социалистической армией.) Я ожидал заверений, что международный пролетариат на подходе, громких фраз о том, что немецким генералам и дипломатам в Бресте приходится туго и они вынуждены будут уступить по вопросу о самоопределении оккупированных стран, заявлений, что, хотя они, бойцы новой армии (тогда еще не носившей имени Красная Армия), отправляются на фронт, воевать им пока не придется, так как заключено перемирие, что их в скором времени ждут обратно, и тогда они смогут жить и трудиться, пользуясь славными плодами Октября.

Ничего похожего Ленин не говорил. К сожалению, мне не удалось найти официального текста этого выступления, если он вообще существует **, а мои дневниковые записи оказались весьма скудными.

Когда Ленин спустился вниз, Подвойский сухим, сдержанным тоном объявил:

— Сейчас перед вами выступит американский товарищ.

Поднимаясь на огромный броневик, я лихорадочно думал, что же мне делать. Может, попробовать гово-

---

* Это субъективное впечатление автора. В действительности после речи Ленина аудитория бурно приветствовала его, что и нашло отражение в газетном отчете о выступлении Ленина с речью на проводах первых эшелонов социалистической армии 1(14) января 1918 г. Слова товарища Ленина были покрыты приветственными криками и долго не смолкаемыми аплодисментами (см.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 216—217).

** Официальный текст речи опубликован в виде краткого газетного отчета (см.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 216—217).

рить по-русски? Хватит ли у меня смелости? Я уже семь месяцев жил в России. Как всякому валлийцу, мне легко давались иностранные языки, а к тому же в России этот вопрос тогда стоял так: выучить язык или погибнуть. В первые же дни я узнал два слова — «долой» и «да здравствует». С их помощью я мог выразить самое главное: «Долой старое! Да здравствует новое!» И все же должен признаться, что четыре года изучения греческого, шесть лет — латыни и год — древнееврейского почти ничем не могли мне помочь, особенно сейчас, в Михайловском манеже. Я стоял в нерешительности, с видом мрачной отчаянности, будто все это было для меня вопросом жизни или смерти. Толпа выжидательно притихла. Заметив мое состояние, Ленин мягко сказал:

— Говорите по-английски, а я, с вашего разрешения, буду переводить.

Это предложение решило дело. Нельзя было не воспользоваться великолепным эффектом, который должен был произвести мой ответ:

— Нет, — храбро и, наверное, даже с некоторым вызовом заявил я, — я буду говорить по-русски.

Ленин был в восторге. В его глазах появились веселые искорки, лицо осветилось лучиками морщинок, заиграло от еле сдерживаемого смеха. Он явно предвкушал удовольствие повеселиться за счет моего русского языка.

Я начал с нескольких избитых фраз, которые знал к тому времени наизусть. Вернувшись вечером домой, я записал их по-английски вместе с корявым русским подстрочником, поэтому могу точно воспроизвести эти первые фразы своей речи:

— Да здравствует славная, непобедимая русская армия! Да здравствует единая и могучая Россия! — Потом, вспомнив «четырнадцать пунктов» президента Вильсона, я воскликнул: — Да здравствует прочный союз между Америкой и Россией!

Конечно, все это вызвало гром аплодисментов, но я понимал, что произнес лишь общие фразы. Мне хотелось сказать что-нибудь очень важное, а пока почему бы не занять слушателей шуткой? Уже не так бойко, но все же достаточно внятно я сказал примерно следующее:

— Я, конечно, плохо говорю по-русски, причина

тут одна: русский язык очень трудный. Вчера я обратился к извозчику по-русски, а он решил, что я говорю по-китайски. Даже лошадь немного испугалась.

В зале раздался хохот. Снизу до меня донесся выразительный смех Ленина. Только лицо Подвойского, как я заметил, оставалось серьезным.

А потом начались мои мучения. Я достиг своего предела в русском языке, но именно теперь мне надо было выразить самое важное. Я пытался сказать, как глубоко взволновала меня встреча с ними, молодыми новобранцами, только что покинувшими свои станки. По какому-то вдохновению или наитию (хотя я и знал о разногласиях в партии и в народе относительно сепаратного мира с Германией, полной ясности в этом вопросе у меня не было) я хотел показать им, что сознаю опасность, угрожающую революции и самому Петрограду. Слушали меня пока вежливо: как бы иностранец ни корежил их язык, русские всегда проявляют снисходительность. Больше того, когда я останавливался в поисках нужного слова, они награждали меня аплодисментами, и это давало мне возможность передохнуть. Но вот я подошел к кульминационной точке своей речи. Если дело дойдет до крайности, если придется принять бой, пусть они знают, что я...

Все взоры устремлены на меня. Зал затих. Мне вдруг стало жарко. И тут я почувствовал (не в последний, кстати, раз) острый взгляд Ленина и повернулся к нему.

— Какого слова вам недостает? — тихо спросил он. Лицо его больше не сияло. Однако взглядом, в котором еще не потухло веселье, он ободрил меня и как бы попросил продолжать.

— «Enlist», — сказал я по-английски (он великолепно знал этот язык).

— Вступить, — перевел он.

Подхватив это слово, я сказал, что вступлю в социалистическую армию. Остальная часть речи ничего особенного собой не представляла, но теперь, испытывая затруднение, я поворачивался к Ленину, и он тут же подбрасывал необходимое русское слово. Таким образом, я смог закончить выступление без длинных неловких пауз.

Более или менее случайно я попал в самую точку, произнес именно те волшебные слова, которые массы

хотели тогда услышать. Уже само мое присутствие являлось наглядным свидетельством популярного в те дни интернационализма. Оно поднимало их собственный революционный дух. Аплодисменты становились все громче, сливались с дружелюбным смехом, возникавшим всякий раз, когда я коверкал подсказанные Лениным слова.

Этот американский товарищ — социалист (а в том, что он американец, сомневаться было невозможно), предложивший в случае необходимости вступить в их армию, сам того не подозревая, по-новому осветил для них возможности интернационализма, который был на устах у стольких ораторов того времени. Перед ними стоял человек и говорил не о том, что революция неуязвима для врага в лице германской армии, не о том, что немецкие братья никогда не нападут на социалистическую страну, беспомощную и призывающую все государства к миру, а о том, что, если на их страну нападут, он встанет рядом с ними на ее защиту.

Потом на чудовищно исковерканном русском языке я заверил их, что и в Америке будет революция, только неизвестно когда.

— К сожалению, — объяснил я, — американский рабочий класс очень консервативный. — Закончил я лозунгами: — Да здравствует революция! Да здравствуют социалистические войска! Да здравствует Интернационал!

Тот, кто увидел бы, как эти лозунги были записаны у меня по-русски, понял бы, почему я затронул педагогическую струнку Ленина: с тех пор я как бы стал его учеником, и довольно трудным учеником.

Когда я спустился вниз, Ленин был со мной очень сердечен. Он старался говорить попроще, ограничиваясь доступным мне запасом русских слов. Он стоял и говорил с нами несколько минут (с Бесси Битти и со мной).

— Ну что же, — мягко сказал он, обращаясь ко мне, — начало в освоении русского языка сделано. — Потом он добавил с особой серьезностью, в которой виден был Ленин-учитель: — Но вы должны продолжать упорно заниматься.

Я боялся, что мы его задерживаем, и потому не решился ничего ответить, но он, очевидно, не очень спе-

шил. Обратившись к Бесси Битти, Ленин серьезно сказал:

— Вы тоже должны изучать русский язык. Дайте в газете объявление, что хотите обмениваться уроками. Потом просто читайте, пишите и говорите только по-русски. — Лукаво улыбаясь, он добавил, обращаясь к нам обоим: — С американцами не разговаривайте. Пользы от этого ни с какой стороны не будет. — И уже специально для меня сказал: — При следующей нашей встрече я устрою вам экзамен.

Мы попрощались. Ленин сел в автомобиль, и машина выехала из манежа. Мы медленно двигались в толпе к выходу, как вдруг с улицы донеслись резкие звуки трех выстрелов. Три пули пробили стенки автомобиля. Сидевший рядом с Лениным на заднем сиденье швейцарский левый социалист Фриц Платтен * был ранен в руку. Это было первое покушение на жизнь Ленина. Трусливому убийце, стрелявшему из-за угла, удалось скрыться.

Потрясенные, мы с Бесси Битти стали пробираться сквозь толпу, чтобы поскорее убедиться, что Ленин не пострадал. Бесси плакала.

— Ведь он только что стоял здесь и разговаривал с нами. Быть может, если бы он уехал сразу, ничего бы не случилось. Быть может, убийца опоздал бы.

Эта наивная и бесполезная мысль мучила и меня, поэтому, выговаривая Бесси, я успокаивал и себя самого.

— Типично женская логика, — зло сказал я. — А может, наоборот, от долгого ожидания убийца так разнервничался, что промахнулся.

Наши собственные нервы были напряжены до предела.

Помню, как огромное облегчение, вызванное известием, что Ленин не пострадал, сменилось яростным гневом.

— Ну, теперь-то он будет более осмотрительным, более осторожным? — донимал я Воскова, который прекрасно знал, что за несколько недель до покушения мы с Ридом рассказали нашим близким друзьям-большевикам, как один богатый спекулянт совершенно

* Ф Платтен (1883—1942) — деятель швейцарского и международного рабочего движения. В 1917 году организовал переезд Ленина из Швейцарии в Россию. С 1923 года жил в СССР.

серьезно заявил нам, что заплатит миллион тому, кто убьет Ленина, и что он знает еще девятнадцать человек, готовых дать такую же, если не большую, награду. (Это был один из молодых предприимчивых дельцов, разбогатевший на военных поставках и контрабандной продаже товаров в Германию, который любил принимать у себя журналистов.)

Я продолжал атаковать Воскова:

— Когда мы спросили тебя и других товарищей, сознает ли Ленин грозящую ему опасность, ты ответил: «Сознает, но это его не пугает. Его по-настоящему ничто не пугает».

Восков задумался. Он хотел, чтобы мы поняли. Дело вовсе не в том, что Ленин недооценивает значение своей личности.

— Но разве было бы лучше, если бы он все время боялся за свою жизнь?

Тогда от Воскова я впервые услышал неизвестный мне раньше эпизод из биографии Ленина. Это было в декабре 1907 года. Ленин должен был попасть в Стокгольм, но, если бы он отправился обычным путем, то есть сел на пароход в Або (Турку), его немедленно бы арестовали. Но в Ботническом заливе, недалеко от Турку, находился островок, куда не доходила власть русской полиции, и он решил идти туда пешком по льду, хотя лед кое-где был непрочный. Ему удалось найти двух финских крестьян, которые взялись его провести, но сами они настолько нетвердо стояли на ногах, что переход оказался еще более опасным. Шли, конечно, ночью. Ничего почти не было видно, и в одном месте Ленин вдруг почувствовал, что льдина под ним куда-то поплыла. Ильич потом сам рассказывал, продолжал Восков, что в тот момент он решил: ну все, конец, и подумал — какая нелепая смерть!

— Вы знаете, что Ленин все умеет организовать, даже свое время, — сказал Восков. — Когда ему дали три дня на сборы перед отправкой в Сибирь, он закрылся в Публичной библиотеке, чтобы собрать материал для книги, начатой им в тюрьме.

Конечно, такой организованный человек мог бы сделать больше для того, чтобы в него не стреляли, но, — широко улыбнулся Восков, — смотрите, сколько раз в него могли или должны были стрелять, а не стреляли!

Потом Восков стал рассказывать про июльские дни, когда встал вопрос: должен ли Ленин выдать себя властям или, наоборот, скрыться от ареста. После двухдневных дебатов его убедили скрыться. «Ну что ж, подполье так подполье, — согласился он и шутливо добавил: — Они, наверное, и так смогут нас всех перестрелять». Работая в подполье над книгой «Государство и революция», он больше беспокоился о том, чтобы она дошла до товарищей и была ими использована, чем о собственной безопасности. Он понимал, что восстание произойдет в любом случае — с ним или без него, — и считал, что книга поможет большевикам выбрать правильный курс для революции. В записке Каменеву он просил («если меня укокошат») забрать из Стокгольма маленькую тетрадку в синей обложке, на которой написано: «Марксизм о государстве». В этой тетрадке были собраны все относящиеся к теме цитаты из работ Маркса и Энгельса. Неделя работы, и можно издать.

— Он не хотел быть убитым, — сказал Восков, — но это мало от него зависело, а вот устроить так, чтобы его заметки увидели свет, он мог. И это он сделал. А о своей вполне возможной гибели он предпочитал не распространяться.

Только все это должно оставаться «абсолютно entre nous» — между нами, заключил Ленин свою записку.

Бесси Битти не удовлетворял такой, как она говорила, «философский» подход Воскова. В разговоре с Петерсом она выложила все, что думала по этому поводу:

— Неужели вы не можете теперь заставить Ленина ходить с охраной? Ведь в Америке ни одному президенту не разрешили бы появляться на людях без отряда тайной полиции. А когда президент выступает в каком-нибудь зале, все ходы и выходы охраняются так, что ни одна мышь не проскользнет. Конечно, доверие к народу и все такое прочее — неплохая штука, но «черная сотня» ушла в подполье и только ждет случая расправиться со своим врагом.

— Ну а ваш Линкольн или Маккинли? Их все равно убили, — парировал Петерс. — Так что никакой гарантии не существует. А потом Ленин есть Ленин — он не относится к числу слабонервных людей. Он просто иначе создан. Он беспокоится за других, но и при этом не нервничает, а сочувствует. Он совершенно не выносит

назойливости и не смог бы жить так, чтобы вокруг него все время кто-то суетился, ходил по пятам, присматривал за ним. К тому же Ленин никогда не думает о себе. А что касается репрессий, то он пойдет на это только в том случае, если инициатива будет исходить от народа. Мстительность не в его натуре.

Вот увидите, в следующий раз, когда вы с ним встретитесь, он будет спокоен, как всегда.

* * *

Я уже говорил, что это был период расцвета самых различных иллюзий. Просматривая свои записи тех дней, я вижу, насколько распространенной была недооценка угрозы гражданской войны. Даже Ленин заявил в марте, что открытое сопротивление буржуазии сломлено. 27 января на спектакле «Севильский цирюльник» в Мариинском театре (у нас были хорошие места) мы встретили Билла Шатова. Он был встревожен и считал, что в Смольном преуменьшают опасность — генерал Алексеев создавал на Кавказе добровольческую белую армию.

— Конечно, его силы пока незначительны, но эти люди сожгли за собой мосты. Они будут драться не на жизнь, а на смерть, для них жить под властью большевиков — значит отказаться от всех привилегий, ради которых, по их мнению, и стоит жить.

После спектакля мы пошли в кафе «Империя», которое было национализировано и называлось теперь «Интернационал». Шатов продолжал:

— Франция осыпает деньгами этих белогвардейских подонков, англичане тоже уже прикидывают, не последовать ли ее примеру.

На следующий день я спросил обо всем этом Петерса. В своем дневнике я записал: «Петерс не видит сегодня особой опасности с этой стороны, считает, что главная опасность — нехватка хлеба. Ругает органы снабжения за сокращение хлебной нормы до четверти фунта в день, говорит, что два дня тому назад запасов было достаточно, чтобы обойтись без этого урезывания».

Действительно, у только что родившегося государства было так много забот, что растущая вера в интернационализм находила весьма благоприятную почву.

И чем хуже складывались дела в Бресте, тем более необходимой становилась эта вера. Как бы советские участники переговоров ни старались сохранить лицо, положение для страны оставалось унизительным. Чтобы отклонить условия этого «разбойничьего», по словам Ленина, мира, Советы должны были получить хоть какую-нибудь поддержку. Они нуждались в помощи или сотрудничестве — своего рода «братании» в более широких, международных масштабах. Без такой поддержки им угрожала гибель. Интернационализм поэтому представлялся теперь не просто светлым, желанным идеалом — он стал необходимостью. Если этот идеал не претворится в реальность в форме немецкой, французской, болгарской, английской, венгерской или всеобщей революции, вопрос жизни или смерти Советов может решиться не в их пользу.

Но не всегда необходимое можно получить по заказу. Ленин это очень хорошо понимал, но все же был готов ждать.

К моменту, когда в здании цирка «Модерн» состоялся крупнейший интернациональный митинг, посвященный Дню международной солидарности трудящихся, суть всех споров свелась к вопросу: можно ли ждать? Стоит ли рисковать революцией? Однако споры еще не велись в открытую. Отнюдь нет. Ленин давал пока возможность советским представителям в Бресте использовать все клавиши пропагандистского инструмента. Но делал он это лишь потому, что его точка зрения еще не завоевала большинства в Центральном Комитете. Интернационализм, который в июле, когда я только приехал, был едва заметным ручейком, теперь превратился в могучую реку со своими собственными водоворотами, и, пожалуй, высшей точкой этого интернационализма был митинг в цирке «Модерн». С другой стороны, интернационализм был, не мог не быть, составной частью революции, и только люди, которые тем или иным образом пытались использовать его в демагогических целях, не поняли этого, в чем Ленина обвинить никак нельзя.

Что касается Рида и меня, то митинг в цирке «Модерн» произвел на нас глубочайшее впечатление и заставил осознать нашу собственную ответственность перед революцией.

Этот митинг был единственным в своем роде — дело

было даже не в энтузиазме аудитории, а в том, что его вызывало: новый общественный строй, осуждение захватнических войн, необычное для рабочих и солдат ощущение своей собственной значимости, идея всеобщего братства трудящихся. Некоторые говорят, что дух интернационализма, охвативший обе русские столицы и перекинувшийся в провинцию, был временным явлением. Не спорю. Но разве плохо, что на какое-то, пусть короткое, время простыми солдатами, рабочими и работницами владели чувства, которые, очевидно, в более или менее отдаленном будущем станут движущей силой всего человечества. С представления о мелкой человеческой общине («мир») они сразу же перешли к понятию о такой общине, которая объединяла бы в себе всех людей, живущих на земле. Пройдет некоторое время, и ненависть, порожденная интервенцией, несколько ослабит их пыл. Дух интернационализма уже никогда не восстановится в первозданности тех дней, когда отсталая, искалеченная войной, голодная Россия стала не только «авангардом революции» — Маркс в последние годы предвидел такую возможность, — но и предтечей того общества, в котором когда-нибудь, надо надеяться, будет жить человечество.

Не помню ни одного собрания или митинга в Петрограде, где бы не присутствовала тема международной солидарности трудящихся. А мое выступление на митинге 1 января в Михайловском манеже! Если единственный, никому не известный американец мог вызвать столь бурную овацию, то это было лишь потому, что американец в своей речи подчеркнул, что новая социалистическая армия создавалась в России для защиты интернационализма и мира — так оно и было на самом деле.

Интерес к митингу в цирке «Модерн» усиливался еще и тем, что ему предшествовала мощная демонстрация 17 декабря. Накануне демонстрации «Правда» писала:

«Рабочие и работницы, солдаты, матросы и крестьяне — все трудящиеся! Выходите все революционными рядами на улицы городов и деревень — празднуйте победу Советской власти и мира над правительствами капиталистов и войны!

Демонстрируйте свою волю и решимость всеми средствами поддержать рабочую и крестьянскую власть

в ее борьбе за окончательное достижение демократического мира!

Лесом алых знамен, громом революционных песен, мощной ратью отрядов явите врагам мира и революции свою непоколебимую силу и призовите пролетариев всех стран следовать вашему революционному почину в деле свержения империалистов и создания нового революционного Интернационала.

Все завтра, в воскресенье, на улицу, все под знамена!»

А в день демонстрации в «Правде» было опубликовано еще одно воззвание:

«Сегодня рабочие, солдаты и крестьяне, все честные граждане демонстрируют на улицах Петрограда за мир и братство народов.

Буржуазия пытается обмануть население Петрограда и сорвать манифестацию трудовых масс. Попытка ее обречена на жалкий и постыдный провал.

Все на улицу! Против бойни народов, против буржуазного грабительства, против предательства и бесчестной печати, против саботажников — лакеев капитала!

Да здравствует международный пролетариат!

Да здравствует Третий Интернационал!

Да здравствует международная революция!»

Демонстрация, потом митинг в цирке «Модерн» и, наконец, официальное совещание в Смольном были этапами на пути к созданию III Интернационала. Однако в 1918 году из-за брестского кризиса и начавшейся интервенции он еще не смог встать на ноги *. Отчет о митинге в цирке «Модерн» был опубликован в «Правде» (24 января) под заголовком «Борцы за III революционный Интернационал в цирке «Модерн». В отчете говорилось, что митинг, устроенный Петербургским комитетом большевиков, «прошел необычайно подъемно». Наплыв публики был так велик, что пришлось прекратить продажу билетов. «Более чем десятитысячная аудитория горячо, восторженно встречала гостей — товарищей, приехавших из Швеции, Норвегии, Америки и Румынии...»

* III, Коммунистический Интернационал был создан в марте 1919 г. в Москве. Ему предшествовало развитие левого революционного течения интернационалистов в международном рабочем и социал-демократическом движении во время первой мировой войны и особенно после Октябрьской революции, положившей начало возникновению коммунистических групп и партий в ряде стран и соз-

Далее следовала фраза о том, что с Россией «золотыми нитями братской солидарности связаны сердца пролетариев всего мира». Среди выступивших были «Либкнехт Скандинавских стран» Карл Хеглунд, мэр Стокгольма Линдхаген, мэр норвежского города Ставангера Эгеде Ниссон, Раковский из Румынии, а также Джон Рид и я. «Правда» с уважением и сочувствием отметила, что Хеглунд и Ниссон за свою революционную деятельность сидели в тюрьме. А когда стало известно, что Рида привлекают к суду, репортер «Правды» в своем энтузиазме зашел так далеко, что уже приговорил его к двенадцати годам тюремного заключения.

Выступление каждого иностранного оратора сопровождалось таким взрывом аплодисментов, что тот краснел от гордости, как будто произнесенные им слова были из чистого золота. На каком бы языке оратор ни говорил: на шведском, норвежском, французском или английском, — переводила всех Коллонтай, которая владела многими языками. Но если бы даже она совсем ничего не переводила, если бы наши слова звучали абсолютной бессмыслицей, результат получился бы почти тот же. Мы были живыми, реальными, подлинными иностранцами.

Меня, конечно, интересовали не ораторы, а аудитория. Цирк «Модерн» казался изнутри темной пещерой. Люди видели только лицо выступавшего в слабом свете свечи, а выступавший вообще ничего не видел. Он не видел аудиторию, но он ее чувствовал. Я вспомнил восточную пословицу: «Вся темнота мира не может потушить свет одной свечи». Мы, иностранцы, чувствовавшие нашу невидимую аудиторию, лучше всех могли судить о степени интернационализма. Мы были катализаторами, активизирующими его проявление. Гром аплодисментов звучал для нас как откровение. Он был бы

давшей условия для объединения их в революционный Интернационал. Значительную роль в создании Коминтерна сыграли иностранные группы интернационалистов при ЦК нашей партии. В январе 1918 г. в Петрограде по инициативе большевиков состоялось первое международное совещание левых интернационалистских сил по подготовке Коммунистического Интернационала. 24 декабря 1918 г. РКП(б) обратилась к коммунистам разных стран с призывом быстрее объединиться в III, Коммунистический Интернационал. Состоявшееся в январе 1919 г. в Москве новое международное совещание приняло предложение Ленина о созыве в ближайшее время учредительного конгресса III Интернационала, который состоялся 2—6 марта 1919 г.

таким же откровением и для людей в зале, если бы они над этим задумались. Тогда еще плакаты с лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» не украшали залы собраний. Но темный холодный зал цирка «Модерн» был согрет теплом доверия. Казалось, этих людей не тяготил вопрос о том, придут ли немецкие рабочие им на помощь. И Рид и я чувствовали это доверие и в своих речах, возможно, невольно приукрашивали действительность. Было ли это продиктовано добротой? Нет, человеческой слабостью!

В подробном отчете, который опубликовала «Правда», почти не было прямых цитат из выступлений ораторов, и я не совсем уверен, что Рид преувеличил настолько, насколько можно об этом судить по отчету. После слов о том, что Рид приговорен к двенадцати годам тюрьмы «за свою борьбу против американских империалистов и за поддержку большевиков в России» и что «в его лице аудитория цирка «Модерн» приветствовала революционный авангард американского пролетариата», шел следующий абзац:

«Тов. Рид сообщил в своей речи, что американская Социалистическая партия окрепла и выросла за год империалистической войны и что события в России дадут могучий толчок дальнейшему развитию классовой борьбы в Америке, достигающей особенно острых форм».

Действительно, было много признаков обострения классовой борьбы в Америке. История США не знала такого количества ожесточенных забастовок, как в период с 1913 по 1917 год. Но американская Социалистическая партия, так же как социалистические партии Европы, раскололась по самому главному вопросу: об отношении к войне. Если одна часть американских социалистов оставалась верной интересам международного рабочего класса, другая часть превратилась в «патриотов». Я сильно сомневаюсь, чтобы Рид, который болезненно переживал отступничество многих, воздавал бы хвалу Социалистической партии.

«Правда» только упоминает о моем присутствии, но так как я написал свое выступление заранее и эта запись сохранилась, то могу сейчас сказать, что, хотя в моей речи не было таких конкретных утверждений, как приводимые «Правдой» утверждения Рида, она грешила обилием красивых фраз. Однако пальму первенства по этой части, безусловно, следует отдать Линдхагену,

единственному оратору, которого цитирует репортер «Правды». Вот как выглядят в газете заключительные слова его выступления:

«Весна социалистической эры, занявшаяся над Россией, совершит свое победоносное шествие через все остальные страны, вызывая к жизни новые, застоявшиеся, оцепеневшие за время долгой зимы буржуазно-капиталистического строя силы. «Да здравствует социалистическая весна», закончил свою образную речь тов. Линдхаген».

Считая, что у меня уже есть некоторый опыт выступления по-русски, и вспомнив, как Ленин смеялся над моей шуткой об извозчике, я начал свою речь тоже с шутки, сказав:

— У нас в Америке на Диком Западе был один кабачок (салун). В этом кабачке стояло пианино, а над пианино висел плакат: «Пожалуйста, не стреляйте в музыканта — лучше он играть не умеет». Поэтому, выступая по-русски, я тоже прошу: товарищи, пожалуйста, не стреляйте в меня — лучше я говорить не умею.

Сейчас я уже не помню, насколько хватило моих познаний в русском языке и в каком месте я перешел на английский, но можете быть уверены: тема интернационализма не была опущена. Вот главная часть моей речи:

«— Мы видели, какие тяжкие испытания и трудности вам пришлось перенести. Мы также знаем, что страдали вы не только ради себя. И ваша победа уже не за горами. Германский флот восстал. А теперь искры огромного пожара летят за десять тысяч верст через Атлантику и зажигают огонь в сердцах американских рабочих». Я предсказывал, что американские женщины по всей стране получат право голоса, и сообщил, что, как мне стало известно, во время последних выборов социалисты несли плакаты с надписью: «В России женщины голосуют. Почему они не голосуют в Америке?» Мы хотим хлеба, тепла в жилищах и одежды. Мы хотим права на жизнь, счастье и отдых. Мы знаем: каждый голодный в Америке получит больше хлеба потому, что вы свершили свою революцию.

После митинга я узнал, что именно в тот день хлебный паек в Петрограде был сокращен наполовину (норма в полфунта, установленная Военно-революционным комитетом во время корниловского мятежа, была сре-

зана до четверти фунта). Дневник напоминает мне, как мерзко я себя чувствовал от своей невольной бестактности: с моей стороны было по меньшей мере неблагородно даже упоминать о голоде.

Впрочем, кто знает?

Может, не так уж плохо сказать людям, что даже в богатой Америке есть голодные и что со временем мои соотечественники, глядя на русских, отважатся потребовать большего и могут даже припугнуть правящий класс. Запись в дневнике служит некоторым подтверждением этих мыслей. Я тогда с гордостью и восхищением записал: «Ни единого протеста не услышал я из огромного зала, где сидело 12 тысяч человек, которые знали, что по крайней мере сегодня они, свершившие революцию, получили не больше, а меньше».

На одной из полок нью-йоркской публичной библиотеки можно найти потрепанный экземпляр небольшого журнала, который является теперь библиографической редкостью. Редактором журнала был Юджин Дебс. Он успел выпустить один-единственный номер, и этот номер был посвящен первой годовщине образования Российской советской республики. В журнале опубликована моя статья с описанием митинга в цирке «Модерн». Так как впоследствии многие авторы заимствовали материалы из этой статьи и так как она лучше всего написанного мною потом передает аромат той атмосферы, которая дает заглавие статье — «Дух интернационализма», — я без колебаний привожу из нее большой отрывок:

«Был самый разгар зимы. На улицах стояла дикая стужа. В широком людском потоке мы пересекали Троицкий мост. За рекой возвышались минареты и голубой купол старинной мечети и сверкал золотом шпиль Петропавловской крепости. Где-то между ними находился новый собор пролетариата. Это большое, приземистое, отделанное серым камнем и довольно бесформенное сооружение называлось цирком «Модерн». У входа уже теснилась масса народа.

— Почему не открывают и не впускают людей внутрь? — спросил я, когда мы, пройдя мимо толпы, вошли через заднюю дверь в огромную мрачную пещеру.

Это было колоссальное, вырытое в земле углубление с сотнями балок по краям и перекладин, поддерживаю-

щих громадный купол. Но мы не видели ни пола, ни крыши, ни кресел, которые ярусами поднимались от арены к куполу. Мы почти вслепую, спотыкаясь на каждом шагу, следовали за Коллонтай по темным, сырым переходам, поднимались по каким-то лестницам, пока наконец не почувствовали под ногами несколько грубо сколоченных, необтесанных досок, служивших подмостками. Света не было, так как в тот день Петроград остался без угля.

— Почему не откроют дверь и не впустят сюда людей? — спросил я снова.

— Здесь уже и так почти пятнадцать тысяч, — ответила Коллонтай. — Все забито до отказа.

В зале стояла такая тишина, что этому трудно было поверить. Чтобы было видно лицо оратора, зажгли свечу — крохотный огонек в кромешной тьме.

— Начинайте, говорите! — сказала мне Коллонтай.

Мне было немного не по себе оттого, что приходилось говорить как бы в пустоту. Но, заставив себя поверить, что зал полон, я громким голосом бросил:

— Товарищи! Я выступаю от имени американских социалистов, интернационалистов!

И вдруг из глубины прогремел взрыв пятнадцати тысяч голосов: «Да здравствует Интернационал!» Эти слова были как спичка, брошенная в пороховой погреб. Ими всегда можно было зажечь аудиторию. А когда они на ломаном русском языке слетали с уст иностранца, то начинался просто пожар. А как они пели «Интернационал»! Не так, как мы поем здесь, когда одна часть зала с трудом вспоминает слова, другая — мелодию, а большинство и вовсе безмолвствует. Нет, в России каждый революционер твердо знает каждое слово и каждую ноту и поет так, как будто от этого пения зависит вся его жизнь... «Интернационал» служит для них источником силы, подтверждением воинственности их веры, закалкой боевого духа».

Чтобы быть честным до конца, я должен признаться, что в тот день в цирке «Модерн», так же как и в других подобных ситуациях, я испытывал не только глубокое волнение, но и чувство стыда. Впервые я ощутил это двойственное чувство, стоя на капитанском

мостике крейсера «Республика», когда орудийные башни звенели от голосов 11 тысяч матросов, приветствовавших американских интернационалистов. Вера, которую они вкладывали в наш интернационализм, имела очень мало общего с реальностью. Я чувствовал, что они видят во мне представителя миллионов американских матросов, солдат, шахтеров, железнодорожников, сталелитейщиков, грузчиков, горящих теми же идеями, что и они. Поэтому всякий раз, как нас с Ридом приветствовали в качестве представителей «великого революционного пролетариата мира», я остро осознавал несоизмеримость этих слов с действительностью, вспоминая мелкие группки интеллигентов, перед которыми я выступал в Нью-Джерси в местных ячейках социалистической партии во время предвыборной кампании в пользу Юджина Дебса.

И все же главным для меня в этих встречах было тесное общение с людьми, сделавшими революцию. Голод, холод, повседневные трудности быта, минуты злости и раздражения после столкновения с каким-нибудь бюрократом — все в эти часы отступало на второй план, казалось мелким и незначительным. Большая часть аудитории скорее всего впервые видела перед собой интернационалистов. Мы, маленькая группа социалистов разных сгран, были живыми символами из плоти и крови, реальными, осязаемыми. В нашем лице идея словно обрела материальность. Столько доверия вкладывалось в аплодисменты, которыми нас встречали, что трудно было избавиться от ощущения, что мы недостойны такого доверия. Мы даже внешне не подходили к своей роли! И все-таки, оглядываясь назад, можно сказать, что мы хоть в какой-то мере оправдали это доверие. Мы выполнили свое обещание рассказать Америке и всему миру о Великой Октябрьской революции. Мы рассказали все, что видели. Здесь, в Америке, мы не испытывали никакой неловкости. Когда в России мы выступали перед народом, мы знали, что, хотя революционное движение в Соединенных Штатах сила, безусловно, важная, это движение не такое уж мощное, как думают наши слушатели. Наоборот, когда в Америке мы рассказывали о революционном движении в России, мы видели, что наша аудитория не представляет себе, не может представить истинный размах и мощь этого движения.

...Рид планировал 7 января уехать домой, в Штаты, чтобы выступить перед судом и отвергнуть обвинения, предъявленные ему и остальным редакторам журнала «Мэссиз». Но он очень хотел дать информацию об Учредительном собрании и III съезде Советов, открытие которого было назначено на 10 января, поэтому отложил свой отъезд, и Луиза Брайант уехала 7 января из Петрограда без него. Зная, какой в Америке поднимается шум по поводу Учредительного собрания, он решил задержаться еще на некоторое время, чтобы правильно оценить последующие события.

Ленинские «Тезисы об Учредительном собрании», появившиеся без подписи в «Правде» 13 декабря, были, по существу, продолжением линии его Апрельских тезисов и даже с точки зрения тактики представляли собой логическое развитие новой фазы революции. И в апреле и неоднократно после апреля Ленин подчеркивал, что Республика Советов, так же как Парижская коммуна, — более высокая форма демократии по сравнению с обычной буржуазной парламентской республикой. При Керенском Учредительное собрание казалось вершиной парламентской демократии и законным требованием народа, которое поддерживали и большевики. Теперь оно устарело.

По этому вопросу у большевиков не было между собой разногласий. Вопрос был ясен по существу, а в споре относительно сроков выборов Ленин уступил тем, кто считал, что откладывать больше нельзя. Его занимали куда более важные вопросы, однако он тщательно готовился к возможной битве. 1 (14) декабря на заседании ВЦИКа он сказал: «Когда революционный класс ведет борьбу против имущих классов, которые оказывают сопротивление, то он это сопротивление должен подавлять; и мы будем подавлять сопротивление имущих всеми теми средствами, которыми они подавляли пролетариат, — другие средства не изобретены» *.

Не было разногласий по этому поводу и у левых эсеров, признавших к тому времени диктатуру пролетариа-

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 136.

та. Меньшевики и правые эсеры, утверждавшие, что Октябрьская революция — это не социальная революция, а лишь фаза развития демократической Февральской революции, сознательно или нет оказались в роли контрреволюционеров. Как только Советы были признаны единственным высшим органом власти и перестали делить ее в системе двоевластия с буржуазно-демократическими органами, Учредительное собрание стало «анахронизмом».

В пятницу утром 5 января я шел по Невскому проспекту, направляясь на открытие Учредительного собрания. Моим попутчиком оказался старый народник Марк Андреевич Натансон, бессменный член ЦК партии эсеров. Он входил в группу Спиридоновой *, которая теперь стала гораздо многочисленней группы правых эсеров, захвативших в свое время большинство мандатов в Учредительное собрание. Натансон рассказывал мне, как он однажды ходил к Ленину, чтобы обсудить вопрос об Учредительном собрании. Владимир Ильич сказал ему прямо, что большевики не могут жертвовать революцией ради Учредительного собрания. Придется его распустить, и вот тогда, скажите, с кем пойдут левые эсеры? С нами или против нас? Разговор с Лениным продолжался долго, но в конце концов старый народник был побежден. Он сказал, что, если дело дойдет до выбора: революция или Учредительное собрание, распускайте собрание, и если нужно — силой. Он тогда не мог говорить от имени всех членов партии, некоторые могли колебаться, но он считал, что большинство с ним согласится.

Подходя к Литейному, мы увидели группы людей, строившихся в колонну. Над головой они развернули огромные красные плакаты с лозунгом: «Вся власть Учредительному собранию». Два дня тому назад город был объявлен на осадном положении, всякие собрания и митинги на улицах были запрещены по приказу Лени-

* М. А. Спиридонова (1884—1941) — один из организаторов и лидеров партии левых эсеров. Выступала против заключения Брестского мира, принимала активное участие в контрреволюционном левоэсеровском мятеже в июле 1918 года, после подавления которого продолжала враждебную деятельность против Советской власти. Позднее отошла от политической деятельности.

на, район вокруг Таврического дворца был оцеплен солдатами Латышского полка *.

Около Александровского моста мы встретили еще одну процессию с красным флагом. Вдруг откуда-то послышались барабанная дробь пулемета и топот приближающейся толпы. Завернув за угол, мы увидели красногвардейцев на баррикаде, перегородившей улицу... Советы всеми силами стремились не допустить кровопролития и пресекали провокации. У меня не было пропуска в Таврический дворец, но матрос-часовой узнал меня и не спросил пропуска.

В огромном вестибюле я встретился и поговорил с Бонч-Бруевичем и Камковым, с которым познакомился недавно на Фонтанке, № 6. Увидев Коллонтай, как всегда очаровательную, я подошел к ней и, показывая на маляров и декораторов, заканчивавших украшение зала, спросил, не распихивают ли они там оружие. Она улыбнулась укоризненно, как улыбаются дерзостям избалованных детей, и, переменив тему, стала что-то говорить об интернациональном митинге, который собираются провести в Народном доме. Я сказал ей, что у меня нет пропуска во дворец и что я оставил свои бумаги уполномоченному по делам печати в надежде получить пропуск на завтрашнее заседание. Она прекрасно поняла скрытый за этим вопрос, но никак на него не отреагировала.

В буфете в общей очереди за завтраком стоял Луначарский. Здесь же я встретил Володарского, который рассказал мне о собраниях и митингах, проходивших по всему городу 4 января. Подошел Нейбут, который вчера до глубокой ночи выступал на солдатских митингах, подготавливая войска к защите города. Голос у него совсем сел, и он хриплым шепотом сказал нам, что всех делегатов Учредительного собрания, на которых можно положиться, привлекли к этой кампании.

Я вошел в громадный полукруглый зал заседаний и направился к ложам для прессы, расположенным сразу за трибуной президиума. Никто не спросил у меня пропуск. Я нашел Рида и Луизу Брайант. Бесси Битти,

* Петроградский Совет принимал меры к предотвращению контрреволюционной вылазки и наряду с организацией охраны основных центров столицы 3 января 1918 года одобрил резолюцию, призывавшую рабочих воздерживаться от участия в демонстрации 5 января.

Эдгар Сиссон и Гамберг сидели в ложе Робинса. Бойс Томпсон уехал в Лондон, чтобы оттуда отправиться в Америку, и Робинс, получив почетное звание полковника, был назначен вместо Томпсона главой миссии Красного Креста в России.

Казалось, все газетчики города собрались здесь. Мы с Ридом стали говорить о Сиссоне, которого оба терпеть не могли. Октябрьская революция застала Сиссона по дороге в Петроград. Он ехал сюда по поручению директора комитета общественной информации Джорджа Крила в качестве исполнителя воли президента Вильсона, пожелавшего выразить России «дружеское расположение» Америки, ее «бескорыстие» и «желание быть полезной». (Военные вопросы «разрешатся сами собой, если между двумя нашими народами будут выкованы прочные узы».) На эту миссию было ассигновано 250 тысяч долларов. И Вильсон, и его кабинет упрямо не хотели замечать грозного предзнаменования. Когда Сиссон 12 (25) ноября 1917 года сошел на перрон Финляндского вокзала, события ушли далеко вперед, и ему пришлось на ходу перестраиваться, чтобы выполнить поставленную перед ним задачу. Узнав, что из всех официальных лиц посольства только Робинс имеет некоторые контакты со Смольным, он сблизился с Робинсом и стал сторонником его предположения: если большевикам предложить помощь и поддержку Америки, они, возможно, не заключат сепаратный мир с Германией. У посла тогда вообще не было ни теории, ни политической линии, он только твердил, что большевики долго не продержатся...

Рид прозвал Сиссона «хорьком». И не столько за его внешний вид — узкую мордочку и близко поставленные глаза, — сколько за пронырливость, вкрадчивость и за то, что он, как выразился Рид, был «доносчиком по убеждению».

Мэр Стокгольма социалист Линдхаген, проходя мимо нас, шепнул Риду на ухо:

— Кажется, здесь будет сегодня настоящее представление в духе Дикого Запада. Почти все вооружены.

Учредительное собрание начало работу в четыре часа дня. В ложах прессы прекратились споры о том, где будет безопаснее в случае перестрелки: на полу или за колоннами. Председатель ЦИКа Свердлов объявил заседание открытым. Нужно было избрать председате-

ля. А пока Свердлов стал читать «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», документ, который, как все знали, ни за что не будет принят правыми эсерами. Предусмотрительно подготовленный большевиками проект резолюции предлагал Учредительному собранию оказать полную поддержку Советам, признать их высшим органом власти и одобрить все изданные ими декреты. Почти все они были перечислены, в том числе декреты о предоставлении независимости Финляндии, о выводе войск из Персии, о праве Армении на самоопределение, о рабочем контроле иа заводах и фабриках, о конфискации помещичьих земель без всякой компенсации и т. д. Один из пунктов резолюции заканчивался словами: «...Советская власть пойдет твердо по этому пути вплоть до полной победы международного рабочего восстания против ига капитала» *.

В ложах прессы поднялся шум. Делая записи, репортеры обменивались ироническими комментариями. Кто-то жарко дышал мне в затылок. Я оглянулся: три солдата решили, очевидно, поинтересоваться, что за буржуйская публика здесь собралась.

Правый эсер Виктор Чернов, который недавно потерпел поражение от маленькой женщины — Марии Спиридоновой, собирался теперь взять реванш, выставив против нее свою кандидатуру в председатели Учредительного собрания. По общему мнению, он должен был выиграть.

В перерыве, пока подсчитывали голоса, я подошел к Ленину поздороваться. Он сразу меня узнал (всего несколько дней тому назад мы выступали с одной трибуны — с броневика в Михайловском манеже). Я представил ему Рида — это была первая встреча Рида с Лениным **. У меня создалось впечатление, что среди бурь и волнений, сотрясавших в тот день Таврический дворец, самым спокойным человеком был Ленин. Он с искренним интересом спросил меня, как подвигаются дела с русским языком:

— Вы все речи понимаете?

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 222—223.

** В первые бурные дни защиты Советской власти от контрреволюционных сил Вильямс мог и не знать, что 13 ноября 1917 г. после разгрома под Петроградом войск, которые возглавлял Керенский, Ленин передал Риду приветствие для революционных пролетариев мира и, очевидно, виделся с ним.

— В русском языке так много слов, — ответил я. И хотя я сказал чистейшую правду (английский абзац в пять строк превращается в десять, а то и в двадцать строк по-русски), Ленина это рассмешило.

Потом с полной серьезностью он стал советовать:

— Языком нужно заниматься систематически.

Я увидел, что Рид невольно заинтересовался, хотя его просто распирало от нетерпения задать кучу вопросов и получить сенсационное интервью. Ленин, конечно, очень хорошо понимал, чего хочет Рид, однако все так же серьезно и невозмутимо, но с оживлением на лице и в голосе продолжал излагать свой метод изучения иностранных языков. Между тем, стоя у ложи Ленина, мы явно оказались в центре внимания всего зала.

Я писал раньше об этом разговоре с Лениным, а Эдмунд Уилсон * счел необходимым повторить мой рассказ, добавив при этом в качестве иллюстрации, что благодаря своему методу Ленин за полтора года кончил четырехгодичный курс иностранного языка.

Система Ленина заключалась в следующем: сначала выучить все существительные и глаголы, потом прилагательные и наречия, потом предлоги и союзы; после этого изучить грамматику и начать ежедневную тренировку, используя каждую возможность для устной практики.

Облокотившись на барьер ложи, Ленин с увлечением втолковывал нам суть своего метода. Потом, окинув нас острым, чуть скептическим, но веселым взглядом, который напоминал взгляд умного русского крестьянина, спросил, как идут у нас дела в отделе пропаганды. Мы удивились, что он знает о нашей работе в Наркоминделе, когда даже нарком Троцкий не имел об этом ни малейшего представления. Прежде чем я смог ответить что-либо вразумительное (и прежде чем Рид сумел вставить свои вопросы об Учредительном собрании), Ленин сказал:

— Вам надо бы печатать листовки сразу на двух языках: немецком и английском. Тогда солдаты, читающие их по-немецки, увидят, что призыв обращен также и к тем, кто воюет на английской стороне.

На галерее для прессы нас с Ридом встретили жадными расспросами на разных языках: «Давайте выкла-

* Э. Уилсон — автор книги «Lenin: The Great Headmaster».

дывайте, что они там задумали. Чем он счел нужным с вами поделиться?» Даже Рансом иронически усмехнулся, когда мы стали утверждать, что Ленин ни слова не сказал об Учредительном собрании.

— Какого же черта он так долго с вами разговаривал?

Я пытался робко объяснить им, что Ленин просто давал мне советы, как заниматься русским языком. Ах так! Премьер Российской республики тратит столько времени, чтобы помочь вам в русском языке? Придумали бы что-нибудь более правдоподобное!

Когда подсчитали голоса, Виктор Чернов, как и следовало ожидать, получил 244 голоса против 151, поданного за Спиридонову. К этому времени все больше и больше рабочих, матросов и солдат стало заполнять ложи и свободные места позади кресел для почетных гостей. Перегнувшись через барьер лож и галерей, они кричали: «Долой! Долой!» — и награждали ораторов такими ругательствами, как «корниловец», «калединец», «прихвостень Керенского», «контрреволюционер»!

Ораторы между тем на все лады клеймили большевиков. Сзади нас солдаты негодовали: «Старая песня! Опять хотят сговориться с буржуями». А из глубины зала чей-то голос крикнул: «Тоже мне социалист! Мы помним, как ты выступил против опубликования тайных договоров! Теперь на кадетов работаешь?!» Кадеты на заседание не явились: они подлежали аресту, как контрреволюционеры. Но критик был прав — кадеты действительно поддерживали Учредительное собрание. Оно было последней надеждой, за которую цеплялись не только все посольства, умеренные социалисты и кадеты, но даже монархисты. Хрупкой надеждой!

Большевики потребовали, чтобы их предложения были поставлены на голосование в такой последовательности: прежде всего признание Советов, потом декреты о мире, о земле и о рабочем контроле в промышленности. Собрание большинством голосов утвердило другой порядок: сначала должен обсуждаться вопрос о войне и мире, затем о земле и, наконец, вопрос о «федеративной республике». Большевики попросили время для совещания, объявили перерыв на полчаса.

В перерыве я вышел в фойе и снова встретил Коллонтай. За ней по пятам ходил бесстрашный Дыбенко,

который в первые дни после Октябрьской революции отправился к казакам, двигавшимся на Петроград, и под самым носом Керенского уговорил их сдаться. Узнав об успехе Дыбенко, Керенский поспешил удрать. Сейчас комиссар военно-морских сил Дыбенко был назначен ответственным за охрану Таврического дворца, и, судя по его виду, это не доставляло ему никакого удовольствия. У меня создалось впечатление, что он считал это ниже своего достоинства и возможностей вверенных ему сил, защищать дворец от делегатов, запасшихся бутербродами и свечами. Глядя на эту пару, я улыбнулся про себя. Красивая, образованная женщина, вдова царского офицера, Коллонтай была «нашим любимым народным комиссаром», как мы часто ей говорили. Однажды вскоре после Октября комиссар социального обеспечения неожиданно исчезла из Петрограда вместе с бывшим мичманом, неотразимым комиссаром Дыбенко. Они устроили себе небольшое свадебное путешествие.

— Как долго все это будет продолжаться? С неделю? — спросил я Коллонтай.

— А не думаете ли вы, товарищ, что это и так уже длится слишком долго, — ответила она многозначительно.

Дальнейший ход событий много раз описывался историками. Учредительное собрание отказалось обсуждать предложенную большевиками Декларацию, и они покинули зал заседаний. Левые эсеры тоже покинули собрание. Чернов, предложивший до этого правоэсеровскую резолюцию, согласно которой Советы должны были передать власть Учредительному собранию, выступил теперь снова со своей резолюцией по вопросу о земле. Но прежде чем началось обсуждение, кронштадтский матрос Железняков поднялся из зала в президиум и объявил, что членам Учредительного собрания придется разойтись по домам: «охрана устала».

Делегаты, несомненно, тоже устали. Они пришли сюда рано утром с запасом бутербродов и свечей на случай, если бы буфет не работал и большевики выключили бы свет. Свечи так и не понадобились: электричество горело вовсю. Еды тоже всем хватило, и теперь они просто тянули время в бесплодных попытках предотвратить неизбежное. Охрана между тем примыкала штыки к винтовкам. Чернов потребовал ответа, кто дал матросу

такое распоряжение и по какому праву он приказывает им покинуть зал.

— Это распоряжение комиссара Дыбенко, — зевая, ответил матрос.

Делегаты остались на своих местах. Чернов начал читать проект еще одного декрета — о мире, который просто призывал военных союзников России совместно выработать условия демократического мира.

Это было уже слишком. Солдаты, по уши сытые сладкими речами Керенского о мире, заорали:

— Чего ждете? Арестовать их всех!

Поднялся шум и свист, делегаты стали заверять друг друга, что соберутся вечером этого же дня к пяти часам. Вдруг на весь зал раздался возглас: «Смерть контрреволюционеру Чернову!» Пытаясь сохранить достоинство, члены Учредительного собрания заторопились к выходу. Несколько оставшихся во дворце большевиков окружили Чернова и благополучно вывели его из зала. Уходя, он повернулся к ложам прессы и крикнул:

— Можете сообщить в Америку, что мы не признаем роспуска Учредительного собрания. Оно соберется снова...

Заседание, начавшееся в четыре часа дня, окончилось в четыре часа утра. А через несколько дней об Учредительном собрании осталось одно воспоминание. О нем горевали только на Западе и в посольских особняках Петрограда. В России его оплакивали лишь те, кто пострадал от революции.

В ВИХРЕ СОБЫТИЙ

Раймонд Робинс был парадоксальной личностью, а Россия, куда он попал и где находился в 1917—1918 годах, была страной парадоксов, еще более обострившихся после Октябрьской революции. Эта революция отличалась от всех прежних революций тем, что от каждого человека требовала однозначного ответа, каждый должен был определить свое отношение к ней, и никому не удавалось сохранить нейтралитет. Во всех столицах мира шел процесс осмысления и оценки новой, ни на что не похожей исторической силы. Мир капитала разделился. Наиболее деловые люди смотрели на Россию как на страну пушнины и угольных концессий, как на

выгодное поле для капиталовложений с благодатной почвой для быстрого капиталистического развития и, наконец, как на силу, способную противостоять огромным армиям европейских монархий. Капиталисты Германии рвались, кроме того, к украинской пшенице и мясу. Однако большая часть капиталистов всех стран боялась, что вирус большевизма перекинется в Европу, заразит народные массы и вызовет такой же взрыв, как в России.

Число человеческих жертв, понесенных Россией в войне, во много раз превышало любые цифры потерь ее бывших союзников, которые так жаждали, чтобы она продолжала воевать. Однако никто не в силах был удержать в окопах ее огромную крестьянскую армию, и большевики, проводя демобилизацию, пытались одновременно усадить за стол переговоров обе воюющие стороны. Все группировки в большевистско-левоэсеровском правительстве стояли за мир без аннексий; все левые ждали революцию в Европе и надеялись на нее; все верили в интернационализм. В январе 1918 года обстановка усложнилась. Несмотря на усилия Раймонда Робинса и его группы, страны Антанты продолжали бойкотировать все мирные инициативы. Капиталисты всех стран больше боялись большевизма, чем германского милитаризма. Их дилемма была не легче той, перед которой стояли Советы. Россия нуждалась в помощи. Но мнения в Советах разделились: одни не хотели принимать никакой помощи от империалистов и предпочитали революционную войну сепаратному миру, другие боялись, что эта помощь обойдется дорогой ценой, а третьи, вдохновленные недавними победами, считали, что чем смелее и независимее они будут держаться в Бресте, тем прочнее будут их позиции и тем скорее наступит революция в Германии.

Процесс поляризации шел не только внутри классов и социальных групп, но и среди отдельных людей, вынося на поверхность все противоречия сталкивающихся интересов.

В такой сложной и необычной обстановке ни от кого нельзя было ожидать последовательности.

Позднее Робинс с некоторой гордостью рассказывал сенатской подкомиссии о том, как большевистские газеты ругали Томпсона, называя его «представителем Уолл-стрита, желающим заполучить для Морганов

Транссибирскую магистраль и лично заинтересованным в медных рудниках России». Однако к тому времени, когда Томпсон покидал Петроград, он уже был горячим сторонником признания большевиков и, предложив Робинсу держаться поближе к Смольному, уехал в Штаты, чтобы, по выражению Робинса, «тянуть с другого конца». В Штатах Томпсон развернул большую работу среди бизнесменов и сенаторов и в 1918 году, когда я вернулся в Америку, все еще продолжал вместе с Робинсом добиваться признания новой республики.

Можно назвать и других представителей Уолл-стрита, ставших сторонниками... не революции, нет, а — коль скоро нельзя мановением волшебной палочки заставить ее исчезнуть — признания ее реальности. Однако все же более сильное влияние Октябрьская революция оказала на Раймонда Робинса.

Это была яркая и сложная личность. Робинс был человеком верности и долга, но мог быть весьма опасным и могущественным противником: его влияние простиралось далеко за пределы нашего Среднего Запада в высшие круги республиканской партии. Он был близким человеком Теодору Рузвельту, который, собственно, и добился для него назначения на пост главы Красного Креста в России после того, как сам Рузвельт отказался от этой миссии. Короче, Робинс был из тех людей, кто делает президентов. Капиталист до мозга костей, он проявил поразительную трезвость взгляда относительно большевиков. «Надо исходить не из того, что, как мы думаем, они сделают, — говорил он мне, — а из того, что они действительно собираются делать, и в этом я неустанно пытаюсь убедить Вашингтон».

Вполне естественно поэтому, что Робинс по мере того, как возрастала его роль — роль закулисного посла, — проникался все более глубоким уважением к большевикам. Когда Робинс поделился со мной впечатлениями о своей первой беседе с Лениным *, за которой последовали частые встречи, вызванные приближающимся кризисом в Бресте, я ушел от него в самом радостном настроении. Не только обаяние Робинса, но и главным образом его оптимизм открыли ему двери Смольного.

Приходя каждый день из «Европейской» гостиницы (где размещалась миссия Красного Креста) в американ-

* Беседа состоялась в конце декабря 1917 года.

ское посольство, Робинс попадал в атмосферу мрачного пессимизма и подозрительности. Неудивительно поэтому, что в большевиках он встретил более родственные души!..

Как-то в порыве откровенности я сказал ему, что мы с Ридом называем информационное бюро при посольстве сыскным бюро. Причиной тому были два примечательных разговора с сотрудником бюро Артуром Буллардом. В первом Буллард признался, что собирает сведения об одном из наших русско-американских друзей. Рассказывая об этом Робинсу, я подумал, не зашел ли я в своих признаниях слишком далеко, но его глаза засверкали, и он спросил:

— А во втором разговоре?

— А во втором разговоре Буллард сказал мне, что питает огромное уважение к Ленину. Как он ни старался, ему не удалось обнаружить ни одного темного пятнышка в ленинском характере. И теперь он, Буллард, может лично поручиться за Ленина, как за «человека кристальной чистоты». С помощью английской, французской, итальянской и американской разведок он «через самое тонкое сито просеял всю биографию Ленина» и в конце концов вынужден был сдаться. «Ни одного даже самого крошечного факта вероломства. Ни одного, сэр! — сказал он с неподдельным изумлением, которое показалось мне отвратительным. — Ни одного порочащего фактика».

Слушая мой рассказ, Робинс еле сдерживал ярость. Не знаю, было ли ему известно о подобной деятельности Булларда. Возможно, и нет. Скорее всего это было дело рук Фрэнсиса или консула Саммерса, надеявшихся хоть чем-то загрязнить чистую воду...

Личность Робинса до сих пор окружена дымкой романтической загадочности — он, кстати, сам любил напускать туман. Между тем ключ к его пониманию лежит, как мне кажется, на самом видном месте: Робинс прежде всего по природе своей был сугубо деловым человеком. И он, конечно, никогда не смог бы сделать состояние на Клондайке, если бы был человеком «не от мира сего» или только религиозным проповедником, хотя и обращенным в веру там, на Клондайке. Он был отнюдь не «блаженный», как очень скоро обнаружил Томпсон, назвавший его так еще на пароходе по дороге в Петроград. (Когда Томпсон узнал, что его

бывший политический противник едет с ним на одном пароходе в составе миссии Красного Креста, он воскликнул: «Что?! Раймонд Робинс? Этот блаженный, этот рузвельтовский горлопан? Какого черта ему здесь надо?»)

Первое, что подкупило Робинса в Ленине, — это деловитость. То, что премьер-министр, согласившись направить советской делегации в Брест текст «четырнадцати пунктов» Вильсона, не стал вызывать секретаря, а лично спустился в телеграфную комнату и продиктовал перевод, произвело огромное впечатление на Робинса.

При ближайшей встрече с Ридом я поспешил рассказать ему о реакции Робинса на беседу с Лениным.

Рид собирался домой. После роспуска Учредительного собрания я видел его только 7 января на вокзале, когда мы провожали Луизу Брайант и Бесси Битти. Теперь, 9 января, он пришел в бюро пропаганды, чтобы пополнить свое досье недостающими образцами нашей продукции. Мне хотелось пересказать Риду весь разговор с Робинсом, но я видел, что он был в плохом настроении. Молча копаясь в груде бумаг, он выискивал среди них отдельные номера газет, листовки, прокламации, над которыми мы недавно работали и которыми втайне гордились. Однако сегодня эти призывы почему-то не казались нам такими волнующими, как несколько дней тому назад.

— Все-таки они нас не послушались и не восстали против своих хозяев, — сказал Рид, прочтя одну из листовок, и с горечью добавил: — А эти тевтонские псырыцари заявляют теперь в Бресте: «Ни к чему нам плебисцит — вот здесь стоят наши армии, здесь они и останутся».

Он со злостью отшвырнул ногой мусорную корзинку.

— А ты мне толкуешь о Робинсе и о том, что он может сделать. Дело не в его искренности. Он вполне искренне хочет удержать Россию от подписания сепаратного мира. Этого же хотят и Сиссон, и Фрэнсис, поэтому они пока поддерживают Робинса. А что, собственно говоря, разве может Робинс обещать Ленину с полной уверенностью, что выполнит свое обещание? О чем, черт возьми, он может даже говорить с Лениным? Неужели он надеется получить от Вашингтона

что-либо более ценное, чем пышные фразы Вильсона о демократии?

...Мрачное настроение Рида имело еще одну причину. В вихре событий мы были лишь соломинками, но ветер, дувший в нашу сторону, часто предсказывал погоду в более высоких сферах. Случилось так, что на следующее утро после роспуска Учредительного собрания Рид отправился вместе с красногвардейским патрулем охранять здание Народного комиссариата иностранных дел. В общем-то патруль был ни к чему, так как депутаты Учредительного собрания, покинувшие на рассвете Таврический дворец, не имели за собой никакой силы и пытались сделать лишь предсмертный вздох. Для Рида, однако, участие в патрулировании имело особое значение — он мог тем самым дать выход бешеному гневу, вызванному посольством, которое начало слежку за его женой. «Хвосты», время от времени преследовавшие его самого с момента приезда в сентябре, поначалу только слегка раздражали Рида, и он отмахивался от них, как от назойливых мух. Но когда Луиза Брайант обнаружила, что и за ней следят, она страшно возмутилась, а еще больше возмутился Джон.

Он рассчитывал, что Сиссону обязательно доложат, как он, Рид, с винтовкой за спиной шагал вместе с красногвардейцами перед зданием Наркоминдела, и очень обрадовался, когда на следующий день Сиссон вызвал его для беседы. Этот «газетный стервятник» повел разговор вполне официально. Он долго распространялся на тему о «хорошей семье» Рида, напомнил, что тот питомец Гарварда, не забыл упомянуть, как болезненно воспринимает посол сообщения о подобных поступках. Неужели Рид не видит, что большевики используют его имя в своих рекламных целях? «Чудесно, если это так», — ответил Рид. У него, правда, создалось впечатление, что большевики используют — кстати, с немалым успехом — более крупные имена и у себя в стране и за границей, судя хотя бы по недавним сообщениям газет о том, как два американца на завтраке у Ллойд Джорджа высоко отозвались о большевиках и встретили понимание хозяина.

Но если и он, Рид, нужен большевикам для рекламы, он надеется, что сможет быть им полезен.

Поджав побелевшие от злости губы, наш «хорек» сдержанно, но твердо предложил Риду прекратить ка-

кую бы то ни было деятельность от имени большевиков и дать слово не выступать на предстоящем III съезде Советов. Рид ответил Сиссону, что глубоко тронут его заботой и воздаст ей должное. Никакого слова он, конечно, не давал, что бы там Сиссон потом ни рассказывал...

...Я пытался ответить Риду. Я действительно не знал, что конкретно мог предложить Робинс Ленину. Они много говорили об истинном христианстве, и Робинс, наверное, пытается убедить Вашингтон, что с марксизмом можно успешно бороться, противопоставляя ему наглядное выражение братской христианской «любви» и больше ничего.

— Ничего больше, — фыркнул Рид. — Что ж, я ставлю на марксизм.

— А вдруг Робинс добьется своего? Ведь братская «любовь» может проявиться, например, в виде американских войск для борьбы с контрабандным вывозом продуктов и ценностей в Германию, с «черным рынком» и мешочниками. Или в виде офицеров для обучения мобилизованных новобранцев Красной Армии, вроде тех молодых парней, что я видел в Михайловском манеже. Или, наконец, в виде продовольствия... ну и тому подобного.

— Ты это сам придумал? — заинтересовался Рид. — Об офицерах, войсках и «тому подобном»?

Я сказал, что кое о чем разговор был еще при Джадсоне. Не исключено, что сейчас он может возникнуть снова, на этот раз с Робинсом. Так, по крайней мере, утверждает наша маленькая «femme fatale» Битти. Конечно, идея христианского подхода может потерпеть полный провал в Вашингтоне. В таком случае окажется, что Вашингтон видит в марксизме более серьезную силу, чем Робинс.

— Да, ситуация действительно по меньшей мере странная, — сказал Рид.

Он замолчал. В наступившей паузе мы задумчиво рассматривали заголовки лежащих перед нами газет и листовок «Die Fackel» на немецком языке, «Nemzetzko Socialista» на венгерском, «Inainte» на румынском и нашей последней четырехполосной газеты на английском языке «Русская революция в фотографиях (январь 1918-го) — Издание правительства Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», которая печа-

талась также на немецком языке («Die Russische Revolution in Bildern»).

Неожиданно Рид улыбнулся и взял в руки одну из наших самых любимых листовок. Полполосы занимало изображение германского посольства в Петрограде. Перед посольством стояла толпа, а над входом висел плакат. В нижней половине листовки был напечатан следующий текст:

«Вы видите большой плакат. На нем слова знаменитого немца. Чьи это слова? Бисмарка? Гинденбурга? Нет, это призыв бессмертного Карла Маркса к международному братству трудящихся: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Этот плакат не просто украшение германского посольства. Русские рабочие, солдаты и крестьяне подняли этот лозунг как знамя борьбы, и тебе, немецкий народ, они возвращают слова, с которыми твой сын Карл Маркс обратился ко всему миру семьдесят лет назад.

Наконец-то создана подлинно пролетарская республика! Но она не может быть в полной безопасности, пока рабочие всех стран не возьмут власть в свои руки.

Русские рабочие, крестьяне и солдаты скоро пошлют социалиста послом в Берлин. А когда Германия пришлет интернационального социалиста в это здание германского посольства в Петрограде?»

— А я вот еду домой, — сказал Рид, запихивая в портфель последние образцы изданий. — Так мне и не удалось видеть, как русские перебрасывают нашу продукцию в окопы к гансам.

— Ну а вдруг Ленин все-таки примет какую-нибудь помощь от Америки? Не для того, конечно, чтобы продолжать войну, а чтобы выжить и сдержать натиск немцев. Или это будет в твоих глазах не по-марксистски?

— Нет, почему? Но я считаю, будет не по-американски ожидать, что Америка предложит какую бы то ни было помощь. Робинс — идеалист...

* * *

Когда Рид говорил Сиссону о двух американцах, приглашенных в Лондоне на завтрак к Ллойд Джорджу, он имел в виду одного из партнеров дома Морганов, Томаса У. Ламонта, и Бойса Томпсона, которого Т. Ламонт

называл «старым товарищем по школе и по бизнесу». Томпсон к моменту своего отъезда из Петрограда полностью поверил Робинсу и серьезно воспринял его слова, сказанные еще в сентябре: «Худшую услугу, которую американцы могут оказать русским, будь то здесь в России или дома, — это потерять веру в ее будущее, глупо и упрямо поворачиваться к ней спиной».

Мне очень хотелось услышать мнение Робинса об этой лондонской встрече, а главное — узнать, что произошло потом в Вашингтоне, куда поспешили выехать Томпсон и Ламонт с горячими пожеланиями британского премьер-министра объединиться с Америкой в совместных, более дружеских акциях по отношению к большевикам. Но Робинс, несмотря на свою прямоту и простоту обхождения, умел сохранять определенную дистанцию, и я знал, что он мне сообщит только то, что захочет сообщить, и ни слова больше.

Мы были с ним в хороших отношениях, иногда он предлагал мне и Риду свою помощь или просил о мелких услугах, однако между нами лежала пропасть. И только невежественные чиновники американского посольства могли видеть — или притворялись, будто видят, — нечто большее в наших отношениях. За несколько дней до моего разговора с Робинсом, о котором я рассказывал Риду, госдепартамент запросил Фрэнсиса о деятельности Рида. Это был результат доноса американского консульства, сообщившего в Вашингтон, что семья Ридов, покидая Петроград, возможно, «повезет с собой кое-какие бумаги». А после III съезда Советов, на котором мы с Ридом выступали, советник посольства Дж. Батлер Райт отправил в Вашингтон якобы кем-то записанный текст речи Рида. Этот верноподданный чинуша не мог себе даже представить, что два американских корреспондента задолго до Робинса установили добрые отношения со Смольным, поэтому в своем донесении он, в частности, написал:

«[Рид]... состоит на платной службе у большевиков, куда его устроил Робинс, чтобы делать подписи к фотографиям о революции, а также готовить другие пропагандистские материалы для использования в Германии». А. Фрэнсис добавил от себя: «...так же, как Рейнштейн [Рид] используется Робинсом для пропаганды среди войск противника. Эти двое вместе с Альбертом Вильямсом — все трое американцы — стояли на посту

у здания советского МИДа; по крайней мере об одном таком случае известно абсолютно точно...»

Очевидно, когда я разговаривал с Робинсом (а это было в начале января по петроградскому исчислению), он уже знал о том, что Ламонт и Томпсон, приехав в Вашингтон, потерпели совершенно неожиданное фиаско. Вильсон даже не пожелал их принять. Однако они продолжают добиваться встречи, и Робинс это тоже знал. Кроме того, он был природным оптимистом, если его и посещали какие-либо тайные предчувствия, он не всегда ими делился. Из него получился бы великолепный игрок в покер. Даже когда он писал жене (7 (20) декабря 1917 г.): «Наша дипломатия ниже всякой критики... Я каждую минуту жду, что меня отзовут за мою деятельность», — я уверен, что его близкие друзья, в том числе его сотрудники Уордуэлл и Тэчер, которых мы хорошо знали, не подозревали о подобных настроениях. В том же письме Робинс писал, что он и Джадсон «ждут выговора». Однако, когда пришло распоряжение об отзыве Джадсона, это было неожиданностью даже для всеведущего Гамберга. «Столкнувшись с дипломатией организованного правительства, я становлюсь почти анархистом», — изливал душу Робинс.

И все-таки со мной он говорил только конфиденциально, даже когда речь заходила о после́.

Мысль о том, что два джентльмена с Уолл-стрита пытаются вызвать интерес к большевистскому правительству в высших официальных кругах Лондона, должно быть, прибавляла Робинсу новые силы.

За продолжительным завтраком на Даунинг-стрит, 10 Ллойд Джордж объявил себя «решительным сторонником попытки более активного сотрудничества с новым Советским правительством». Он высказался в пользу «каких-нибудь реальных мер — даже если все шансы против, — которые могли бы помочь удержать Россию в войне». Он предложил послать для этой цели англо-американскую миссию, может быть, даже двух-трех человек, и добиваться хотя бы сохранения Россией «сугубо оборонительной позиции».

На прощание Ллойд Джордж сказал: «Вы, наверно, немедленно поедете домой и встретитесь с президентом. Он полон либеральных идей и будет действовать со мной вместе». Эти слова еще звучали в ушах Томпсона и Ламонта, когда они ранним рождественским

утром сошли в Нью-Йорке на берег. Им и в голову не могло прийти, что президент не захочет даже встретиться с ними. Когда Вильсон отказался их принять, они направили ему меморандум. Некоторые пункты этого меморандума кажутся довольно двусмысленными: «Признание большевиков — вопрос несущественный. Главное — контакты. Это ни в коей мере не свяжет правительство. Комитет (предложенный Ллойд Джорджем. — *А. Р. В.*) займется выработкой условий. Он будет стремиться, действуя через все и всяческие круги, показать России, какую угрозу представляет для нее Германия».

Когда Томпсон, поощряемый некоторыми сенаторами и другими влиятельными лицами, вновь стал добиваться встречи с президентом, ему с серьезным видом сообщили, что у президента «насморк».

В итоге идея Ллойд Джорджа не имела никаких иных последствий, кроме проектов двух посланий, составленных Робинсом и завизированных послом 20 декабря 1917 (2 января 1918) года. Ни одно из них не было отправлено. В первом послании, как нам теперь стало известно, говорилось, что, если центральные державы откажутся заключить «демократический мир» и Россия «вынуждена будет продолжать войну», он, Фрэнсис, обещает, что будет добиваться от своего правительства «самой полной поддержки России», включая снаряжение для русской армии, продовольственные поставки, расширение кредитов и техническую помощь. Примечательно также заявление посла, что, если русская армия «под командованием народных комиссаров» будет вести серьезные военные действия против Германии, он будет рекомендовать формальное признание правительства.

Во втором послании Фрэнсис, ссылаясь на достоверные источники, писал, что твердое обещание помощи со стороны Соединенных Штатов может решительно повлиять на большевистских вождей и в случае провала мирных переговоров. Поэтому он считает своим долгом выделить представителей для связи со Смольным и через них заверить большевистских лидеров, что в случае продолжения войны он будет «рекомендовать американскому правительству оказание всяческой поддержки и помощи».

Рядом с этим на полях написано карандашом: «Пол-

ковнику Робинсу: Это существо телеграммы, которую я отправлю в Госдепарт., как только получу от Вас информацию о прекращении мирных переговоров и решении Советского правительства продолжать войну против Германии и Австро-Венгрии. Д. Р. Ф. 1/2/18».

* * *

10 января мы с Ридом снова были в Таврическом дворце, где пять дней назад заседало Учредительное собрание. Мы стояли в фойе и ждали Рейнштейна. Накануне Джон сказал мне, что нам придется тянуть жребий, кому из нас двоих выступать на съезде от имени американских товарищей.

Конечно, кто бы из нас ни выступал, задача перед ним была нетрудной: обычное приветствие от социалистов Америки. Правда, в их рядах произошел раскол по вопросу об отношении к войне, так что мы представляли только одну, хотя и большую часть.

Незадолго до отъезда Луизы Брайант они с Ридом ходили в Смольный за разрешением ехать в Америку со статусом дипкурьеров. Это предохранило бы их багаж от обысков и потерь. И Рид и Брайант везли большое количество блокнотов с заметками, сделанными за многие месяцы жизни в России, разного рода плакатов, газет и документальных материалов, а Рид вдобавок собрал образцы листовок, прокламаций и газет, которые мы изготовляли для большевиков. Луиза сразу же получила такое разрешение, а Риду предложили более почетную должность — пост советского консула в Нью-Йорке.

Хотя сама эта идея вполне соответствовала характеру Рида и он с большой радостью принял предложение, мне это казалось несерьезным.

Одному из корреспондентов Рид, например, сказал: «Когда я буду консулом, мне, наверное, придется регистрировать браки. А так как я ненавижу брачные церемонии, то буду просто говорить им: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Наконец подошел Рейнштейн, и мы стали тянуть жребий, кому выступать. Судьбе было угодно, чтобы жребий выпал мне. Я чувствовал себя ужасно неловко. И совершенно напрасно: когда по порядку дня начались приветствия иностранных гостей и я сказал свое

слово, «недисциплинированный» Рид решил, что он тоже должен выступить, и выступил.

Представляя его аудитории, Рейнштейн не пожалел красок и чуть было не затмил само выступление Рида. Рейнштейн рассказал о предстоящем суде над Ридом и другими редакторами «Мэссиз», сравнил его с Карлом Либкнехтом и воодушевил зал до предела.

Когда Рид закончил и вернулся на место, он сказал мне:

— Дома нас никогда так не принимали.

Его глубоко взволновал энтузиазм этих худых, изможденных людей, одетых в старые солдатские шинели и потертые рабочие куртки.

Собственно говоря, наши выступления нельзя было назвать речами в полном смысле слова. Это были обычные братские приветствия интернационалистов. В 1917—1918 годах некоторые слова и фразы несли в себе огромный эмоциональный заряд. Слова «Революция», «Советы», «Земля», «Мир» уже сами по себе немедленно встречали отклик у слушателей. Даже если оратору не хватало красноречия и глубоких мыслей, его все равно терпеливо выслушивали. Как я заметил в цирке «Модерн» и в Михайловском манеже, секрет красноречия был в народе. Оратор мог пользоваться самыми избитыми фразами — аудитория превращала их в золото.

* * *

Узнав, что Ленин в первый день выступать не будет *, я вышел из зала поискать Янышева, которого давно не видел. Мне хотелось спросить, что он думает о Брестских переговорах. Ленинские «Тезисы по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира» еще не были опубликованы, и до меня дошли только слухи о долгом заседании ЦК 8 января **. Разговор с Ридом оставил во мне чувство беспокойства. Он, судя по всему, считал, что положение значительно ухудшилось. Теперь я был склонен с ним согласиться. Ах как мне

* Очевидно, имеется в виду III Всероссийский съезд Советов, состоявшийся 10—18 (23—31) января 1918 г.

** 8 (21) января 1918 г. Ленин зачитал свои «Тезисы» на заседании ЦК партии с партийными работниками.

нужен был сейчас Янышев и его терпеливое разъяснение! Вместо него я натолкнулся на Арнольда Нейбута, которого несколько дней тому назад снова увидел в Петрограде. Он был корреспондентом владивостокской газеты «Крестьянин и рабочий» и собирался отправлять туда свое сообщение о первом дне съезда. Нейбут сказал, что процитировал нас с Ридом.

— Ну что там было цитировать?

— Ничего особенного, но сегодня вообще мало материала, — ответил он. — Вот завтра будет поинтереснее, завтра выступает Ленин. Правда, я слышал, что он не будет говорить ни о мире, ни о войне.

— О чем же еще можно сейчас говорить?

— Мало ли о чем. — Нейбут внимательно посмотрел на меня. — А ты, собственно говоря, на чьей стороне?

— Еще не знаю. Мы вчера как раз обсуждали это с Ридом. Но ведь мы не читали «Тезисы» Ленина. Ты знаешь что-нибудь о расширенном заседании ЦК 8 января?

— Насколько мне известно, Ленин пока в меньшинстве, но разногласия не будут выноситься на этот съезд. Ленин проявляет терпение, он хочет, чтобы товарищи поняли — он все время объясняет и объясняет. Что ж, может быть, на это еще есть время.

Расставшись с Нейбутом, я в задумчивости бродил по фойе, размышляя над его словами и позабыв про Янышева. Очевидно, Нейбуту вдали от Петрограда многие вещи представлялись проще и яснее. Было что-то успокаивающее в его уверенности, откровенности и энергичности. Неожиданно я услышал рядом с собой знакомый баритон, сухой и однотонный, как стук пишущей машинки. Это был Алекс Гамберг, который по обыкновению что-то съязвил.

Не обращая на это внимания, я спросил у него отчасти для того, чтобы поддразнить, так как знал, что он вряд ли сможет дать ответ, к чему могут привести все эти беседы Ленина с Робинсом и Садулем *, которые,

* Ж. Садуль (1881—1956) — французский социалист, а потом коммунист. С сентября 1917 г. находился в России в составе французской военной миссии. Под влиянием Октябрьской революции летом 1918 г. во время интервенции вступил в Красную Армию и участвовал в гражданской войне, содействовал росту революционных настроений во французском флоте на юге Советской России.

как я предполагал, устраиваются не без его, Гамберга, участия.

— Рансом, например, говорит, — продолжал я, — что союзники никогда не осмелятся признать социалистическое правительство даже ради удержания России в войне, даже если Советы откажутся от заключения сепаратного мира. Разве что Америка...

— Интересно, что еще говорят братья-журналисты?

— Да не только они. Шатов утверждает, что наши дорогие союзники флиртуют с окопавшимся на юге Калединым.

— Не все, что говорится, делается, ничего еще не является «fait accompli» *, — ответил Гамберг с многозначительно-непроницаемым видом, который мог означать, что он или ничего не знает про Каледина, или дает мне понять, что это не моего ума дело. — Но если Ленин считает нужным принимать Робинса, Садуля или кого-то другого, то, может быть, вы, газетчики, позволите ему это делать.

Выпустив пары своего сарказма, Гамберг перешел на более спокойный тон:

— Ленин действует согласно великой марксистской традиции: он проверяет каждый свой шаг и старается извлечь пользу из противоречий двух империалистических групп, пока они не объединились, чтобы попытаться вместе проглотить Россию.

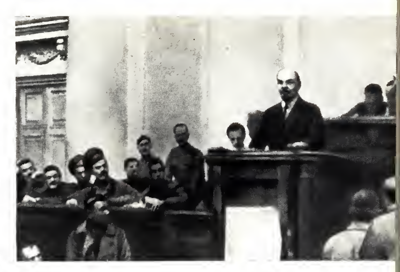
Я сказал ему, что Робинс, по-видимому, считает свои беседы с Лениным весьма для себя успешными. Гамберг усмехнулся:

— Полковник так считает? Ну что ж, он никогда не останавливается на полпути. Только он зря приписывает Ленину некоторые из своих лучших идей. Даже вкладывает в ленинские уста кое-какие примечательные заявления об Америке. Скоро, пожалуй, Ленин будет у него считать Теодора Рузвельта человеком из народа. Правда, он сам верит каждому своему слову.

Зная огромное количество фактов об Америке, он умеет их отобрать, а Ленин любит факты. Полковник Робинс — это не одна, а несколько совершенно разных личностей: это и юноша, организовавший союз горня-

Был заочно присужден французским судом к смертной казни, но после возвращения в 1924 г. в Париж оправдан. Был активным деятелем Французской компартии.

* Fait accompli — свершившийся факт *(франц.)*.



В. И. Ленин зачитывает свои Апрельские тезисы. Таврический дворец. Петроград.

Смольный, 1917 год. Петроград.

Бронедивизион переходит на сторону революции. Петроград.

Дом на Большом Сампсониевском проспекте, где проходил VI съезд большевистской партии.

Пушки Петропавловской крепости. Петроград.

ОТЪ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦІОННАГО КОМИТЕТА

АРЕСТЪ
Временнаго Правительства.

25 октября въ 2 часа 10 м. ночи арестованы членовъ Времен. Революцион. К-та И. К. С. Р. и С. Д. Антоновымъ по постановленію К-та контръ-адмир. Вердеревскій, мин. гос. призрѣнія Кишкинъ, мин. пром. Коноваловъ, земледѣлія Масловъ, мин. путей сообщ. Ливеровскій, управляющій военнымъ мин. Маниковскій, министры Гвоздевъ, Малянтовичъ, Третьяковъ, генер. для порученій Борисовъ, контролеръ Смирновъ, мин. просв. Салазкинъ, мин. фин. Бернацкій, мин. иностр. дѣлъ Терещенко, помощн. особо уполн. Вр. Правит. Рутенбергъ, мин. почтъ и телегр. Никитинъ, мин. исповѣд. Карташевъ, инжен. Пальчинскій. Офицеры и юнкера бывшіе во дворцѣ обезоружены и отпущены.

Листовка Военно-революционного комитета.

Революционный патруль.

П. Е. Дыбенко (в центре).

Революционные дни в Москве.

В. А. Антонов-Овсеенко.

Выступает В. П. Ногин.

Революционная демонстрация.

В. И. Ленин.

Люсита Вильямс.

Люсита Вильямс на базаре в г. Хвалынске.

Вильямсы в Поволжье.

А. Р. Вильямс с воспитанниками трудовой колонии имени Джона Рида.

А. Р. Вильямс на Волге.

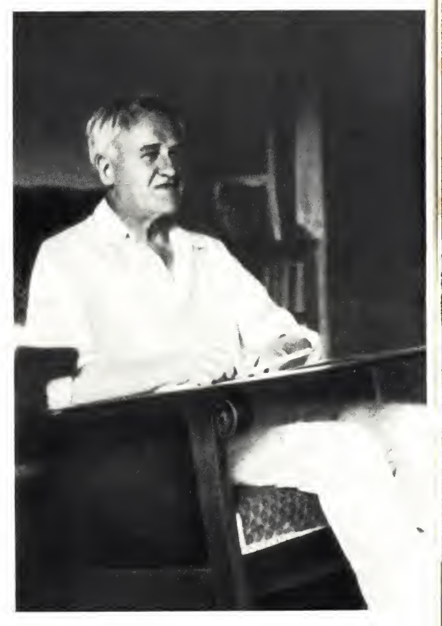
В г. Хвалынске.

Выставка в санаторной школе-интернате г. Хвалынска, посвященная А. Р. Вильямсу.

А. Р. Вильямс в Грузии.

А. Р. Вильямс в Канаде с женой и сыном.

А. Р. Вильямс дома.



За работой.

ков в Кентукки, и ловкий политик, который всеми силами пытался поддержать Керенского. Когда он с Лениным, в нем преобладает профсоюзный организатор, но и бизнесмен все время стоит где-то рядом.

Во всяком случае, когда он вкладывает в уста Ленина то, что Ленин должен был бы, по его мнению, сказать, то получается смесь марксистской (как ему кажется) терминологии с американским диалектом.

Я с интересом слушал Гамберга, и он охотно продолжал, сказав, в частности, что Ленин по поводу Робинса как-то бросил фразу: «А вы знаете, мне нравится этот человек». Мы решили, что Ленину, должно быть, приятнее иметь дело с откровенным капиталистом, чем с человеком типа Булларда, если бы он даже знал о его существовании, что маловероятно.

Мне пришло в голову задать Гамбергу еще один вопрос, уже совсем из другой области.

— Слушай, Алекс, что там затевает Сиссон против Рида? И по собственной инициативе или это идет откуда-то сверху? И почему именно сейчас?

В первый и последний раз я увидел, что Гамберг умеет краснеть, тем не менее он остался Гамбергом, в совершенстве владеющим своими чувствами, неприятно резким и холодно-объективным.

— Можешь сказать своему дружку, что все посольство знает о его гамбите, хотя это еще не объявлено и скорее всего вообще не будет объявлено. Не только Фрэнсис против. Когда об этом узнал Робинс, он сказал: «Джон уже слышит залпы пушечного салюта, приветствующие прибытие в Америку первого советского консула. Это, конечно, весьма романтично, но вряд ли будет способствовать улучшению отношений между двумя нашими странами». Так что передай ему: пусть скорее об этом забудет.

— Значит, дело только в этом? Или ему будут ставить палки в колеса и во всем другом?

Гамберг никогда мне не лгал. Думаю, что он был искренен, когда ответил:

— Насколько я знаю, только в этом. А в чем же еще?

— Не строй из себя бюрократа, Алекс, это не твой стиль. Ты же, черт возьми, прекрасно понимаешь, что для Джона главное благополучно добраться до дома — вместе со всеми своими уникальными записями и богатейшими материалами, чтобы засесть за книгу. Какие

бы глупости с точки зрения посольства он ни совершал, как бы ни относился к своему назначению консулом, смысл жизни для него в его работе. Он хочет поскорее попасть домой. — Последние слова я почти прокричал и разозленный пошел прочь.

Вернувшись в ложу прессы, я увидел радостное лицо Рида, который, оказалось, успел за это время взять интервью у Чичерина. Г. В. Чичерин стал активным революционером после 1905 года, а до того был дипломатом на царской службе. Он только что вернулся из Англии и исполнял обязанности народного комиссара иностранных дел. На съезде он выступал перед нами. Встретили его горячо, но особенно бурные аплодисменты и даже крики вызвали следующие слова: «Товарищи! Пролетарско-крестьянское правительство России освободило меня и моих товарищей из тюрьмы, куда нас бросили английские империалисты, лидеры мировой реакции... Эти английские империалисты, привыкшие решать судьбы народов, были вынуждены первыми уступить требованию пролетарского правительства и освободить нас». Разговор с Чичериным убедил Рида, что в Англии назревает революционная ситуация.

Я начал спорить.

— Рассчитывать на революцию в Англии, Германии или еще где-нибудь значит смотреть на вещи сквозь розовые очки. Ты лезешь в ту же мышеловку, куда попали Бухарин и его сторонники.

— Ничего подобного, — спокойно возразил Рид. — Ты ведь еще не знаешь, как к этому относится Ленин и что говорится в его «Тезисах». А я слышал, что он выступает против тех товарищей, которые ошибочно считают его националистом. Он, например, не сбрасывает со счетов революцию в Германии, он только не говорит, когда она может произойти.

— Вот именно, — горячился я. — Поэтому Россия должна заключить мир сейчас, или немцы сметут Советскую власть, пока союзники будут стоять к ней спиной.

И снова, в который уже раз, начался все тот же мучительный спор.

* * *

За несколько дней до окончания съезда поступили сообщения о забастовках в Германии и о победах Советской власти на Украине и на Дону.

По мере того как работа съезда приближалась к концу, в сердцах его участников росли надежда и уверенность. Радостному возбуждению способствовало, в частности, и то, что на съезде в полную силу были представлены не только рабочие, но и крестьянские Советы; каждая, даже самая отдаленная, провинция России прислала своих делегатов — многие были одеты в живописные национальные костюмы, — и вся эта многонациональная, многокрасочная аудитория своим видом, своими песнями и овациями выражала веру в светлое будущее рабоче-крестьянского государства. Поэтому полученные известия вызвали бурный восторг: значит, Российская социалистическая республика может оказаться не одинокой.

Эта возросшая надежда нашла отражение и во втором выступлении Ленина, которое он сделал на заключительном заседании. Его первая речь носила более общий характер. Маркс и Энгельс считали, говорил он, что «француз начнет, а немец доделает», но, продолжал Ленин: «Мы видим теперь иное сочетание сил международного социализма. Мы говорим, что легче начинается движение в тех странах, которые не принадлежат к числу эксплуатирующих стран, имеющих возможность легче грабить и могущих подкупить верхушки своих рабочих. Эти, якобы социалистические... партии Западной Европы ничего не осуществляют и не имеют прочных основ...

Дела сложились иначе, чем ожидали Маркс и Энгельс... русский начал — немец, француз, англичанин доделает, и социализм победит» *.

В последний день съезда, ссылаясь на сообщение о победе Советов над Украинской радой и о забастовках в Германии, Ленин сказал: «Мы уже не одиноки... Вы уже знакомы с телеграммами о положении революции в Германии. Огненные языки революционной стихии вспыхивают все сильнее и сильнее над всем прогнившим мировым старым строем... И мы закрываем исторический съезд Советов под знаком все растущей мировой революции, и недалеко то время, когда трудящиеся всех стран сольются в одно всечеловеческое государство, чтобы взаимными усилиями строить новое социалистическое здание» **.

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 279.
** Там же, с. 289—290.

На этом съезд закрылся.

Уходя в тот вечер из Таврического дворца, мы испытывали огромное волнение: никогда раньше мы не слышали, чтобы Ленин так давал волю своим чувствам, как в этот вечер. Однако постепенно наша радость затухала, и конец пути мы прошли молча. Такая резкая смена настроений была типичной для того бурного, полного противоречий периода.

Было ли у нас предчувствие, что весь мир радужных надежд в скором времени рухнет под тяжестью немецкого сапога и что армии союзников, включая американскую, вместо того чтобы повернуться наконец лицом к Советской России, бросятся на помощь убийце. Нет, ничего подобного мы себе даже не представляли. И все же на душе было смутно и тревожно.

— Может быть, мне просто больше нравится в Ленине трезвый реализм, — задумчиво произнес Рид, и фраза прозвучала почти как вопрос. — Во всяком случае, меня, кажется, больше устраивает, чтобы он твердо стоял на земле.

— Я понимаю, ты боишься, как бы и Ленин не заразился царящим оптимизмом? — сказал я. — Боишься, что это может плохо кончиться?

— Мы с тобой похожи на бабушек, трясущихся над младенцем-внуком, только наш младенец называется Революцией. Происходит какая-то странная и смешная вещь. Когда я слушал Троцкого, гордого собой и уверенного, что он выбрал единственно правильный путь и что забастовки в Германии — это первые плоды нашей пропаганды, я радовался, что все идет так хорошо. Потом выступает Ленин и говорит, что международная революция приближается и недалек тот час, когда она охватит все страны, и я говорю себе: стоп, одну минуточку. Ленин ли это говорит?

— Да, но ты заметил, что он ни слова не сказал о мирных переговорах. Не потому ли, что делегаты, собравшиеся со всех концов этой новой республики, хотели слышать сейчас только приятные новости? А может, он еще не в силах управлять потоком? Или устав партии не позволяет высказываться публично, пока руководители не пришли к единому мнению? Как бы там ни было, мы слышали Ленина, хотя он, наверное, и не сказал всего, что думает.

— Мы с тобой ненормальные, — засмеялся Рид. —

Сегодня — на одной стороне, завтра — на другой. Хотел бы, черт возьми, хоть раз посидеть на заседании ВЦИКа! Почему Робинсу можно, а нам нет?..

— Кстати, о Робинсе, — вставил я. — Я говорил тебе, что его в первую очередь восхищает в Ленине чувство реальности. Так вот, я пришел на днях к выводу, что Робинс тоже обладает этим чувством. Он рассказывал мне, что, когда приехал сюда, все, казалось, были против большевиков, но зато за большевиков были штыки. «А я всегда иду за штыками», — заявил он мне, и я согласился с ним, что в эпоху революции это лучший девиз. Особенно если штыки не просто оружие. Каждый большевистский штык отстаивает идею, и сила таких штыков неотразима.

— Здесь он оказался молодчиной, — признался Рид. Ему нравился Робинс, и он уважал его, хотя иногда, чтобы поддразнить меня, спрашивал, за кого же все-таки Робинс молится больше: за президента Вильсона или за Ленина?

Однако мысли наши неизменно возвращались к тому, что нас тревожило.

Чем больше мы думали о радостной обстановке последних дней съезда, об атмосфере уверенности, граничащей с вызовом, тем острее мы испытывали смутное ощущение надвигающейся катастрофы. Они свергли власть своей собственной буржуазии, они одержали победу над Украинской радой в Киеве и в других местах Украины. Неужели им придется покориться иностранной буржуазии?

В волнениях и тревогах этих последних дней Рид, казалось, совсем не думал о своей предстоящей деятельности в качестве советского консула в Нью-Йорке. Сообщение об этом опубликовали. Джон был слишком поглощен мировыми событиями, которые то сгущались в грозовую тучу, то рассеивались, образуя голубой просвет надежды, чтобы замечать маленькое зловещее облачко, нависшее над его собственной головой. Кроме того, сообщение все-таки опубликовали. Может быть, Гамберг в чем ошибся? Я горячо на это надеялся. Меня, помимо всего прочего, удручала мысль, что между Джоном и Робинсом может возникнуть на этой почве вражда или просто неприязнь. Нас и без того будет слишком мало, нас, американских свидетелей революции, которые смогли бы объяснить ее своему народу, в случае если

правительство США не последовало бы настоятельным советам Робинса.

Оказалось, что я волновался совершенно напрасно. У Робинса была добрая и щедрая душа, и ему хватало воображения, чтобы понять и оценить тонкую художественную натуру Рида. Он и сам обладал природным художественным темпераментом (кстати, его сестра была известной в Англии драматической актрисой) и умел ценить духовные богатства; он никогда не писал для печати, но язык его писем, да и устный язык свидетельствовал о его любви к художественному слову, поэтому талант Рида был ему далеко не безразличен. Что касается Джона, то он ни к кому, кроме Гамберга, не питал неприязни. Нельзя же назвать неприязнью его презрение к Сиссону, основой которого были прежде всего вопросы принципов.

ВОЙНА НЕРВОВ

Заключительная речь Ленина на III съезде Советов удовлетворила делегатов, но не нас с Ридом, и это мы особенно почувствовали в отрезвляющем свете следующего дня. Дебаты вокруг Брестского мира продолжали бушевать с прежней силой, отодвигая на задний план все остальные вопросы. Большевистские и левоэсеровские газеты начали серьезно обсуждать, стоит ли поднимать брошенную немцами перчатку, или согласиться на их условия, чтобы получить временную передышку. Крайние левые (Бухарин, Радек и другие) выражали уверенность, что немцы никогда не посмеют начать наступление. И по-прежнему в печати не было ни слова о позиции Ленина. Очевидно, поэтому нам показалась странной заключительная речь Ленина на съезде. Мы тогда не знали, что его доводы и аргументы были, как он сам потом выразился, окружены «заговором молчания».

Мы спрашивали себя, почему его последняя взволнованная речь показалась нам сначала ответом на вопрос, хотя он даже не упомянул о Брестском мире. Поразмыслив, мы пришли к выводу, что невольно попали под влияние догматиков. (К ним относились не только крайние левые большевики, но и некоторые наши друзья — эсеры и анархисты.) Не признаваясь себе в

этом, мы в какой-то момент тоже стали считать заключение сепаратного мира предательством дела международного социализма и склонялись к тому, чтобы Советы сохранили твердую и непримиримо враждебную позицию по отношению к империализму, будь то империализм Антанты или центральных держав. Слушая Ленина, мы торжествовали, но, как мы сами вскоре начали подозревать, преждевременно. Это открытие освободило нас от гнетущего предчувствия опасности, возникшего в наших сердцах после окончания съезда, когда мы, этакие умудренные опытом старые политики, сокрушались по поводу того, что Ленин якобы позволил себе увлечься общим энтузиазмом и оторваться от реальности. Теперь мы решили, что поняли, в чем дело. Ленин, который всегда «слушает землю», не хотел отрываться далеко вперед от народа («Как всякий хороший профсоюзный организатор», — вставил Рид), поэтому в последний день съезда он просто отдал дань стремлению русских масс к международной солидарности, особенно пролетариата столиц. Но Ленин остается «проницательным мужиком». Чтобы создать новую армию, нужно, во-первых, время, а во-вторых, ее не создашь без крестьян. И никакой интернациональный журавль в небе не заменит им сейчас синицу в руках — немедленный мир. Кроме того, Ленин не может выступать перед народом со своей точкой зрения, пока нет единодушия среди самих большевиков. Может быть, он скоро и сочтет необходимым обратиться к народу, через голову других лидеров партии, а пока он связан законами партийной дисциплины. Ведь Ленин тоже обязан подчиняться большинству.

— Нет, Джон, из нас получились бы ужасно недисциплинированные коммунисты.

— А ты не говори за нас обоих. В такой дисциплине есть большой смысл. У них выигрывает тот, у кого убедительные доводы, чего не скажешь про нашу демократическую или республиканскую партию.

— Но ты ведь никудышный спорщик, Джон. Когда Ленин берется что-либо доказать, он знает заранее, что противники скажут: первое, второе, третье, четвертое; и он отвечает им: первое, второе, третье, четвертое. Безупречно, как силлогизм, и неопровержимо.

Но Джон не мог надолго отвлекаться от того, что его волновало, он все время возвращался к одному и

тому же вопросу, продолжая обглядывать его со всех сторон, как собака — кость, и я не припомню случая, чтобы он зарывал ее «на потом».

Он заговорил о забастовках в Германии.

— Все-таки я никак не могу понять, почему Ленин назвал эти забастовки началом немецкой революции? Неужели Ленин изменил свою позицию? Неужели он согласится с большинством, что надо отвергнуть немецкие условия? — Он смотрел на меня круглыми зелеными глазами, и в них я видел не только осуждение, которое звучало в голосе, но и затаенную радость и надежду. Я этому не удивлялся — таково было время. Споры вокруг Брестского мира продолжались — они будут еще долго продолжаться и после отъезда Рида, — а когда напряжение длится так долго, любое решение, любое действие кажется облегчением.

Нам захотелось узнать, что обо всем этом думает Петерс, и мы снова отправились к нему на Гороховую. Шел мокрый, липкий снег, улицы уже давно не убирались, и снег лежал повсюду неровными грязными кучами. Оттепель принесла неожиданный запах весны. Взобравшись к Петерсу на последний этаж, мы сразу же накинулись на него с вопросами: как надо понимать последнюю речь Ленина? Каждый из нас изложил свой «анализ».

Петерс спокойно все выслушал и безо всякого сарказма, как обычно, мягко и убедительно отверг все наши предположения. Нет, речь Ленина не была реакцией на энтузиазм делегатов. «Он всегда честен с рабочими». Неверно и то, будто Ленин просто согласился с большинством Центрального Комитета. «Он не вертится, как флюгер на ветру». Ленин откликнулся на изменение объективных условий. Миллион забастовщиков в Германии — это уже серьезно, над этим стоит подумать. Забастовочный комитет среди прочих требований выдвинул требование, чтобы в мирных переговорах приняли участие непосредственные представители интересов рабочего класса в пропорции, равной числу представителей капиталистических интересов. Крупнейшие военные заводы закрыты. Конечно, Гинденбург ответил угрозами, и, как известно, уже имеются жертвы — убитые и раненые. Запретили выпуск пяти газет. Правительство всячески стремится замолчать события.

— Правда, в других местах дела обстоят хуже.

На западном фронте вступили в бой ваши американские армии. Это, конечно, подстегнет военное настроение. У Маннергейма, в Финляндии, пятьдесят тысяч солдат, он полностью контролирует весь север страны и наносит чувствительные удары по Красной гвардии, контролирующей юг. — Петерс подпер лоб руками. — Не знаю, приходилось ли кому из глав государств сталкиваться с подобным испытанием. Но Ленин отнесся к этому спокойно, по крайней мере внешне ничего не заметно. Он даже часто шутит.

Вы, наверное, знаете, что Владимир Ильич согласился дать возможность делегации в Бресте затянуть переговоры в расчете на революцию в Германии. И вы пришли спросить, мог ли Ленин стать жертвой иллюзии, — сказал Петерс с едва заметной улыбкой. — Что ж, он тоже человек. Возможно, хотя и маловероятно, что он в настоящий момент тоже переоценивает силу революционного аргумента в Брест-Литовске. Но известно ли вам, что Ленин с самого начала требовал подписать мир, но не смог получить достаточной поддержки в ЦК?

Разговор с Петерсом несколько успокоил наши страсти, но особой ясности все-таки не внес.

Чем больше мы размышляли, тем меньше надеялись, что в Германии, в этой цитадели прусской дисциплинированности и законопочитания, может произойти революция, даже несмотря на невероятную усталость от войны, на голодных, истощенных солдат, несмотря на огромные потери во Франции.

А потом мы попадали под влияние торжественных слов, с хрипом и треском доходивших к нам по волнам эфира из разрушенного отступающей русской армией городка.

— Через несколько дней я буду качаться в море, — сказал Рид, — но меня уже и здесь качает из стороны в сторону.

Но и на этом наши «качания» не кончились. Мы метались из одной крайности в другую, подчиняясь ежедневным зигзагам противоречивых, сбивающих с толку событий.

Большевики, которых Ленин в Октябре призывал к «смелости, смелости и еще раз смелости», теперь, когда он пытался научить их искусству отступления, не все слушали своего учителя. Но даже те, кто слушал, метались, как и мы, под влиянием непрерывно меняющихся

событий. Я подозревал, что даже Петерс испытывал огромные душевные муки: ведь он работал с Дзержинским — человеком блестящего ума, безукоризненной честности и страстного темперамента, который в то время решительно выступал против принятия условий Брестского мира. И все же Петерс был убежден, что ни у кого нет такого ясного и трезвого взгляда на вещи, как у Ленина, и никто не умеет видеть так далеко вперед, как он. Троцкий и Бухарин, влюбленные в теорию, не видели ничего вокруг и не умели считаться с реальностью. Тем не менее им удалось многих поколебать.

Но Ленин продолжал снова и снова повторять, что марксизм — не догма, а руководство к действию. Основное требование марксизма — тщательная оценка меняющихся объективных сил, гибкое изменение тактики и даже кратковременная замена дальней цели более близкими целями. Марксист должен принять любые унизительные условия, если от этого зависит жизнь революции.

То, что события по-разному толковались в большевистском руководстве, было не удивительно: ведь, в конце концов, это была первая в истории партия, которой пришлось столкнуться с подобной ситуацией.

Мир одновременно испытывал зловещую угрозу и пылающую надежду — все зависело от того, на какой стороне вы находились, — но ни та, ни другая сторона не имела однозначной перспективы.

Для потрясенной, истекающей кровью Европы, где жажда мира распространялась как лесной пожар, большевистская революция являлась пробным камнем, с которого начнется долгий путь человечества вперед и вверх или (в представлении правящих классов) падение вниз, к анархии и аду.

* * *

Незадолго до отъезда Рида (где-то около 24 января/6 февраля) Рейнштейн дал нам конспект ленинских «Тезисов по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира», которые все еще не были опубликованы. Даже название было типичным для Ленина: никакого приукрашивания, никакого самообмана. Рейнштейн присутствовал на расширенном заседании петроградских большевиков 8 января, где были за-

читаны эти «Тезисы», и считал следующие положения ключевыми:

«...Социалистическая революция в Европе должна наступить и наступит... Но было бы ошибкой построить тактику социалистического правительства России на попытках определить, наступит ли европейская и особенно германская социалистическая революция в ближайшие полгода... или не наступит... Все подобные попытки, объективно, свелись бы к слепой азартной игре.

...Надо решать вопросы не с точки зрения предпочтительности того или другого империализма, а исключительно с точки зрения наилучших условий для развития и укрепления социалистической революции, которая уже началась» *.

По словам Рейнштейна, вопрос о том, можно ли вообще полагаться на мировую революцию, не стоял — все в той или иной мере на нее рассчитывали. Решался вопрос, принимать или не принимать мир, если он будет аннексионистским и унизительным. Большевистское руководство разделилось на три основные группы. Самую сильную оппозицию Ленину составляла группа сторонников войны, возглавляемая Бухариным. Троцкий, в роли «третьей силы», все время менял свою позицию, что напоминало его поведение в годы ссылки после 1903 года, когда началась борьба большевиков с меньшевиками, поведение, которое Ленин назвал беспринципным.

На заседании 11 января, когда обсуждались директивы советской делегации в Бресте, произошло два небольших эпизода, иллюстрирующих сущность ленинского характера. Ленин не боялся изменить свою точку зрения, если менялась обстановка. Но при этом он никогда не закрывал глаза на характер изменения и не подслащал пилюлю. Нужно смотреть правде в глаза, говорил он товарищам, какой бы некрасивой она ни была. Дважды он поправлял в этом смысле даже своих тогда еще немногих единомышленников. Ему нужна была поддержка, но не на основе оппортунизма. Все должно быть ясно и понятно до конца, все должно быть конкретно и принципиально.

— Во время дебатов 11 января Сталин и Зиновьев, каждый в отдельности, сделали попытки прийти Ильичу «на помощь», — продолжал Рейнштейн сухим, деловым

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 245, 247.

тоном, так непохожим на его обычный ласковый тон. — Сталин сказал: «Революционного движения на Западе нет, нет фактов, а есть только потенция». А Зиновьев заявил, что «миром мы усилим шовинизм в Германии и на некоторое время ослабляем движение везде на западе. А дальше виднеется другая перспектива — это гибель социалистической республики» *. Ленин отверг оба довода. С одной стороны, конечно, на Западе есть массовое движение, но революция там еще не началась. Однако, если бы в силу этого мы изменили свою тактику, то мы явились бы изменниками международному социализму. С Зиновьевым он не согласен в том, что заключение мира на время ослабит движение на Западе. «Если мы верим в то, что германское движение может развиться немедленно в случае перерыва мирных переговоров, то мы должны пожертвовать собою, ибо германская революция по силе будет гораздо выше нашей» **.

Однако «...Германия только еще беременна революцией, а у нас уже родился вполне здоровый ребенок — социалистическая республика, которого мы можем убить, начиная войну» ***.

* * *

Доказательством того, что Рид был убежден в правоте Ленина, может служить телеграмма, посланная им 25 февраля из Христиании в ответ на две телеграммы, полученные им в тот же день из Америки. Первая телеграмма за подписью Луизы Брайант и Линкольна Стеффенса **** гласила: «Не возвращайся, жди указаний». Вторая была подписана только Стеффенсом, журналистом и редактором, который когда-то открыл Риду дверь в литературу. (Юный поэт, только что окончивший Гарвардский университет и приехавший в Нью-Йорк, чтобы вступить на литературное поприще, сразу же стал любимцем Стеффенса.) В телеграмме Стеффенса говори-

* См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 479, примечание 104.

** Там же, с. 257—258.

*** Там же, с. 256.

**** Л. Стеффенс (1866—1936) — известный американский писатель и публицист. В 1919 г, посетил Советскую Россию, после чего заявил: «Я видел будущее, и оно прекрасно». В 30-е годы вступил в Компартию США.

лось, что русские свершают историческую ошибку, ставя под сомнение искренность Вильсона, что он, Стеффенс, уверен в готовности президента выполнить все свои «четырнадцать пунктов», поэтому, если Рид сможет изменить отношение русских, он окажет неоценимую услугу интернационалиста всему миру.

Биограф Стеффенса, рассказывая об этой телеграмме и неуклюже пытаясь извинить ее идиотизм, чего сам Стефф никогда потом не пытался сделать, умалчивает об одном обстоятельстве: Луиза Брайант, выступая в качестве свидетельницы в оверменовской комиссии *, заявила, что Стеффенс пришел тогда к ней от председателя комитета общественной информации Джорджа Крила. Риду не надо было даже знать, кем инспирирована телеграмма, он и так понял, что дело пахнет липой. В ответной телеграмме он написал, что, если бы его попросила группа революционных лидеров, включающая Юджина Дебса и Билла Хейвуда, он, пожалуй бы, вернулся в Петроград и попробовал что-нибудь сделать, а так — нет, он не поедет.

По справедливому замечанию Хикса **, Джон знал, что может быть абсолютно спокоен на этот счет.

Однако ему не угрожало и скорое возвращение на родину — об этом позаботился подручный Крила, глава петроградского отделения комитета общественной информации Сиссон.

Итак, несмотря на наши метания и отступления, Джон и я к моменту его отъезда пришли к более или менее правильному пониманию брестской проблемы во всей ее сложности. Кроме указанной телеграммы, доказательством тому может служить письмо Рида Робинсу от 11 января (ошибочно указан 1917 г.), которое свидетельствует, во-первых, о том, что даже такой великолепный журналист, как Джон Рид, может ошибаться

---

* Специальная подкомиссия юридической комиссии сената США под председательством сенатора Овермена была создана в начале 1919 г. для распространения злобной антисоветской клеветы. В феврале — марте 1919 г, перед ней предстали такие очевидцы Октябрьской революции, как бывший посол США в России Д. Фрэнсис, эсерка Е. Брешко-Брешковская и др. Под давлением общественного мнения подкомиссии пришлось выслушать и таких свидетелей, как Дж. Рид, А. Р. Вильямс, Л. Брайант и др.

** Г. Хикс — автор биографической книги о Дж. Риде.

в датах, так как это был, конечно, 1918 год, а во-вторых, хотя и не содержит прямых указаний о Бресте, тем не менее достаточно ясно показывает, что Рид не питал никаких иллюзий относительно намерений союзников. Я привожу это письмо полностью еще и потому, что оно дышит достоинством, убежденностью, бескомпромиссной цельностью его натуры. Из него видно также, какое давление оказывали на Рида перед его отъездом на родину.

«Мой дорогой полковник Робинс, я много думал над всем тем, о чем Вы говорили.

Я знаю, Вы извините меня за откровенность, так как она вызвана глубочайшим к Вам уважением, верой в Вас и огромным восхищением перед Вами за то, что Вы сделали в России.

Разве я ошибаюсь, считая, что Ваши основные цели: во-первых, сокрушить немецкую аристократию и, во-вторых, способствовать законному величию Америки?

Что же касается меня, то я стремлюсь к установлению международной демократии снизу и верю, что она может прийти только оттуда. Вы сами знаете, что у нас противоположные взгляды. Но мне кажется, Вы неправильно судите обо мне, когда называете мой метод формулой «смирительной рубашки». Тем не менее...

Я думаю, что неожиданный интерес к большевикам со стороны союзников вызван их надеждой, что Россия вновь присоединится к ним в достижении их общих военных целей, которые, согласно Вудро и Ллойд Джорджу, все еще, если можно так выразиться, немного «эльзас-лотарингские». Союзники пока не хотят подлинно демократического мира, а немцы и подавно. Лично я не стал бы сражаться за что-нибудь меньшее, чем такой мир. Не стал бы даже трудиться.

Поэтому я не буду работать ни на одно союзное правительство, если мой труд не будет одновременно способствовать делу международной демократии.

В этой точке мы можем с Вами войти в некоторое соприкосновение.

Я согласен изложить те куски речи Президента, которые согласуются с общими демократическими интересами. Я согласен на это не за деньги, не за добрые слова посла и т. п.

Я глубоко признателен Вам за все, что Вы для меня сделали, и буду еще более благодарен за любые слова,

которые Вы по своей доброй воле сможете сказать обо мне и которые покажут, что я ни за чьи деньги не продавался — ни за немецкие, ни за американские, что я служу только тому делу, в которое верю и которому готов принести любые жертвы, а если я и нарушил инструкции госдепартамента, то сделал это неумышленно. Мне бы также очень помогло, если бы «твердый воротник» написал, что я не являюсь ни опасным террористом, ни немецким шпионом, каковым он представил меня в официальных донесениях своему и моему правительству.

Конечно, я был бы благодарен, если бы оба Вы или кто-нибудь из Вас смог, не кривя душой, заявить, что, когда я находился здесь, я всеми силами помогал демократии в борьбе против автократии, как германской, так и нашей собственной. Не надо только причислять меня к тем, кто служил интересам Соединенных Штатов или какого-либо другого капиталистического правительства, так как я никогда им не служил, по крайней мере сознательно.

Разрешите мне добавить, что я всегда буду помнить Ваше дружеское расположение, Вашу доброту и то, что Вы лично дали мне в долг эти деньги, когда я в них так нуждался, не требуя взамен никаких обязательств. Я думаю даже, что мне еще раз придется к Вам обратиться, и, верьте мне, это будет потому, что Вы мне друг, для которого я сделал бы и сделаю столько же, если когда-нибудь смогу, а не потому, что хочу пить Вашу кровь.

Преданный Вам Джон Рид».

* * *

Посол Фрэнсис решил предпринять меры, чтобы аннулировать назначение Рида советским консулом в Нью-Йорк. Дело было поручено Гамбергу, который, конечно, рад был услужить...

28 января (10 февраля), через несколько дней после отъезда Рида из Петрограда, советская делегация прервала мирные переговоры и покинула Брест. Немцы предъявили ультиматум своим неуступчивым и непримиримым противникам, и Троцкий произнес в ответ громовую речь против германских империалистических интриг, заключив ее следующими словами: отказываясь подписать аннексионистский мир, Россия объявляет состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болга-

рией со своей стороны законченным. Троцкий вместе с делегацией вернулся в Петроград, преисполненный, очевидно, не только чувства собственной правоты, но и удовлетворения тем, что так решительно заклеймил своих врагов. Накануне разрыва переговоров советской делегации стало известно, что центральные державы заключили сепаратный договор с Украинской радой, обязывающий раду отдавать немцам украинский хлеб, в котором так отчаянно нуждались Советы. В тот день баварский принц Леопольд праздновал свой день рождения, поэтому при подписании сепаратного мира был произведен салют в его честь, на что было «испрошено разрешение» делегации киевской рады, так как по договору Брест-Литовск отходил к Украине. И все это произошло после того, как русские, ссылаясь на широко известные победы Советов в Киеве и по всей Украине, заявили, что рада больше не существует. Затем последовал захват немцами Моонзундских островов, являющихся частью Эстонии. Для русских они имели только оборонное значение, но в руках немцев представляли серьезную угрозу жизненно важным центрам и в первую очередь Петрограду.

Выступая 14 февраля на заседании ВЦИКа, Троцкий повторил, что забастовки австро-венгерских рабочих явились «первыми свидетельствами правильности наших методов переговоров» и что массовая забастовка в Берлине была прямым эхом этих переговоров. Однако, как только забастовки были подавлены, продолжал он, фон Кюльман заключил, что «его хозяевам непосредственно ничего не угрожает», и «взял тон безграничной самоуверенности и агрессии».

И хотя русским во что бы то ни стало нужно было «выйти из войны и вывести свою армию из этой бойни,— сказал Троцкий членам ВЦИКа, — тем не менее мы бросили в лицо германскому милитаризму: мир, который вы нам навязываете, — это агрессия и грабеж. Да, мы слабы, мы сейчас не можем воевать, но у нас хватит революционного мужества сказать, что вы не заставите нас добровольно подписать мир, который вы пишете мечом на теле живых народов».

Далее он доказывал, что, хотя возможность немецкого наступления не исключена, занятая в Бресте позиция сделает это наступление почти невозможным.

Я пошел к Гамбергу, никогда не склонному делать

оптимистические прогнозы, чтобы выяснить, насколько реальной представляется ему надежда, что в такой критической ситуации Робинс, Садуль, а теперь, кажется, еще и Локкарт * смогут убедить свои правительства предложить помощь Советам.

— Итак, немцы не свершили революцию, — начал я без всяких предисловий. — Формула Троцкого о воткнутых в землю штыках не сработала и не принесла желанных результатов. Только, прошу тебя, не начинай все сначала. Я устал от споров, мне надоели все аргументы. Я не хочу ничего больше слышать о международной революции. Насколько мне известно, Ленин говорил, что нам может понадобиться помощь от капиталистов и мы ее можем попросить, даже если придется при этом зажать нос. Так, кажется, он сказал?

Вот я и спрашиваю: можем ли мы ожидать, что капиталисты нежно прижмут Советскую власть к груди, если часть ее внешней политики — распространение революции?

— В этом, мой милый, и заключается противоречие, — ответил Алекс. — Советам придется учиться быть государством и овладевать хитростями дипломатии. Но ведь и у капиталистов своя дилемма. Робинс ее очень хорошо понимает. Большевики, может статься, выдержат и без помощи США, Англии и Франции. Так не лучше ли на всякий случай им помочь?

— Что я слышу, Алекс! — воскликнул я. — Ты заговорил как старый искровец. Это интересно! Сколько раз я слышал от тебя насмешки по адресу этих же товарищей, ставших, по-твоему, бюрократами, сколько раз ты издевался над их портфелями. Кстати, и более крупные марксисты, чем ты, вышли из буржуазии или из интеллигенции — Маркс, Энгельс, Ленин, например, — и они, между прочим, научились и тактике. А много ли ты знаешь о Риде? От поэта нельзя ожидать, что он в один день станет вдруг тактиком, может, он вообще им не станет.

В первый и последний раз Гамберг не нашел, что возразить. Он всегда сохранял позу циничного наблю-

* Р. Локкарт (1887—1970) — глава английской дипломатической миссии в Москве, организовал в 1918 г. контрреволюционный заговор с целью свержения Советской власти. После раскрытия заговора в конце августа 1918 г. органами ВЧК Локкарт был выслан из пределов Советской России.

дателя человеческой комедии, который не прииимает иичью сторону и ни во что не вмешивается. Он никогда не делал вида, будто является марксистом, ио и не утверждал обратиого. Он ие доказывал этого и сейчас. Скрывалась ли за его маской искреиняя любовь к обеим странам — к той, где он родился, и к той, которая стала ему второй родиной, — сказать было невозможно, он никогда бы в этом ие признался. Но в такой любви не было противоречия. Рид и я тоже любили обе страны и считали, что и для России и для Америки было бы лучше, если бы Соедииеиные Штаты признали большевиков и Советскую власть. И хотя Гамберг, а не Рид закончил путь иа Уолл-стрите, многие знающие люди говорили после смерти Гамберга, что этот странио раздражающий, всех высмеивающий и провоцирующий загадочный человек, который всегда держался за кулисами, сыграл коекакую роль в борьбе за призиаиие Советов.

НЕМЦЫ НАСТУПАЮТ

Целые дии я проводил теперь в Смольном; взволиоваииые люди бегали взад и вперед по коридорам, близкие друзья ожесточенио спорили, корреспоидеиты, забыв о всякой объективности, открыто оскорбляли друг друга, и даже мои товарищи и учителя, русские американцы, всегда готовые раиьше объяснить мие позицию Ленина, разделились иа несколько лагерей. Но и в этом делении не было иикакой устойчивости: те, кто в коице коицов проголосовал за лениискую лииию, сделали это с тяжелым сердцем. Настроеиия революциониой войны все еще были сильны, сильиее, чем показывало голосование в ЦК. Яиышев твердо стоял за Лениия и с презрением говорил о людях, «иастолько гордых, что они предпочитают спустить революцию в водосточиую трубу, чем запачкать ее копромиссом». Ои опасался, что немцы начнут иаступление иа Петроград до того, пока этот вопрос выйдет за пределы ЦК и будет обсуждеи всей партией.

Описывая обстаиовку в Смольном в те февральские дии, Жак Садуль, в частности, пишет: «Люди, подобные Троцкому, обладают страшной силой самовнушения. Они убеждены, что немецкие братья не подиимут штыки против своих русских братьев, которые так благородно подставили им свою беззащитную грудь... Лихорадка в

Смольном достигла критической точки. Одни горят в экстазе, другие находятся в состоянии шока. А у некоторых сердце обливается кровью. Это реально мыслящие люди. Они, как и я, понимают, что этот чистый, романтический жест не пробьет толстую шкуру пан-германистов и вызовет лишь громовой раскат хохота в Германии; что завтра немецкие войска начнут наступление; радостное предвкушение легкой победы и богатой добычи придаст немцам двойную силу».

Садуль писал эти слова 30 января (12 февраля). 17 февраля генерал Гофман сообщил в Петроград о наступлении *. Садуль ошибся всего на пять дней. Наступление началось 18 февраля. 28 января (10 февраля) Троцкий «воткнул штык в землю», а когда через семь дней немцы объявили о возобновлении военных действий, он считал, что это блеф.

Всю следующую неделю заседал неоднократно Центральный Комитет. Немцы уже двигались, а в ЦК все еще не было единства. Получив послание Гофмана, Ленин предложил проголосовать за немедленное возобновление переговоров. За это предложение, кроме Ленина, голосовали Сталин, Свердлов, Сокольников и Смилга. Против: Троцкий, Бухарин, Ломов, Иоффе, Урицкий и Крестинский... Но Ленин продолжал добиваться конкретного решения. «Если мы будем иметь как факт немецкое наступление, а революционного подъема в Германии и Австрии не наступит, заключим ли мы мир?» При голосовании Троцкий перешел на сторону Ленина, теперь большинство — шесть человек — было за Ленина. Упрямо голосовал против один лишь Иоффе, четыре человека воздержались.

К ночи пошли слухи, что немцы двинулись на Украину. Большинством голосов (7 : 5) ЦК принял решение немедленно сообщить германскому правительству о согласии заключить мир.

В ночь на 19 февраля Совнарком направил правительству Германии радиограмму, в которой изъявил согласие подписать мир. Затем решение ЦК было поставлено на голосование в Центральном исполнительном комитете. Большевики, выполняя решение ЦК, все без

* Германское командование официально заявило советским представителям в Брест-Литовске об окончании перемирия и возобновлении состояния войны 16 февраля 1918 г. в 19 час. 30 мин.

исключения проголосовали «за». Резолюцию большевиков поддержали четыре левых эсера, хотя позже их партия объявила эти голоса недействительными. Но генерал Гофман, одержав верх над более умеренным фон Кюльманом, отказался рассматривать странное заявление Троцкого иначе как прекращение временного перемирия и, встретив в этом поддержку Людендорфа, Гинденбурга * и самого кайзера, не торопился с ответом. Между тем немецкие войска продолжали продвигаться вперед.

Четыре дня прошли в каком-то тяжелом полусне. По городу ходили самые дикие слухи, но и от достоверных фактов было не легче. И тем не менее, даже когда уже стало известно о падении Двинска, в ЦК обсуждалось предложение, а не запросить ли немцев, чего они хотят, не упоминая о мире. Ленин на это заявил: «Шутить с войной нельзя... Если запросить немцев, то это будет только бумажка... Бумажки мы пишем, а они пока берут склады, вагоны, и мы околеваем... История скажет, что революцию вы отдали. Мы могли подписать мир, который не грозил нисколько революции» **, — напомнил он товарищам.

Для немцев же эта война, как писал потом Гофман, была веселой прогулкой. Все, что еще оставалось от старой русской армии, таяло даже перед самыми незначительными немецкими силами. И немцы шли и шли.

Сочтут ли они вообще нужным ответить? Или будут продолжать двигаться, пока не подойдут к рабочему Питеру? Обстреляют его из пушек и возьмут штурмом? Никто ни в чем не был уверен. В такой ситуации некоторые люди еще упрямее доказывали необходимость революционной войны: немцы, мол, все равно наступают.

Мне лично любые дебаты казались теперь академическими, хотя каждый раз, когда я их слышал, я так не думал. «Левым» не хватало сильного волевого лидера, но среди них были великолепные ораторы, в том числе мой близкий друг Коллонтай. Однако я видел немцев в действии еще в начале войны и слишком реально представлял себе их гусиный шаг на Невском.

---

* П. Гинденбург (1847—1934) — начальник германского генерального штаба и фактически командующий вооруженными силами Германии. Э. Людендорф (1865—1937) — помощник Гинденбурга, фактически руководил военными действиями на Восточном фронте.

** В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 336—337.

Садуль мог смеяться, хотя и сквозь слезы, над верой в реальную или предполагаемую возможность революции в других странах. Ленин разделял эту веру. Он разделял эту веру, но всегда уравновешивал ее практическим взглядом на вещи. «Одно дело — быть убежденным в созревании германской революции... — считал он. — Другое дело — заявлять прямо или косвенно, открыто или прикрыто, что немецкая революция *уже созрела* (хотя это заведомо не так), и основывать на этом свою тактику. Тут нет ни грана революционности, тут одно фразерство» *. Неделя за неделей он взывал к разуму своих товарищей по партии и левых эсеров — членов правительства, и, наконец, решил, как и в Октябре, обратиться к народу. Под псевдонимом «Карпов» он опубликовал в «Правде» подряд две статьи, в которых, резко критикуя противников мира, показал всем, что вера в международный пролетариат не является монополией «левых революционеров». Но. когда и после этого голоса в ЦК разделились почти поровну, он написал третью статью, подписав ее на этот раз «Ленин» и признав за собой авторство двух первых.

21 февраля я с жадностью прочел первую статью, озаглавленную «О революционной фразе», а в следующие дни статьи «О чесотке» и «Мир или война?». Как я жалел, что рядом не было Рида, с которым можно было вместе посмаковать яркий, выразительный язык этих статей.

«Если бы «отстаивание» революционной войны... — писал Ленин, — не было фразой, то мы видели бы с октября по январь иные *факты:* мы видели бы решительную борьбу против демобилизации... Мы видели бы посылку питерцами и москвичами *десятков тысяч* агитаторов и солдат на фронт... Мы видели бы сотни известий о полках, формирующихся в Красную Армию, террористически останавливающих демобилизацию...» ** А несколькими строчками выше Ленин говорил: «Кто захочет *подумать* о классовых причинах такого оригинального явления, как демобилизация армии Советской социалистической республикой, не окончившей войны с соседним империалистским государством, тот без чрезмерного труда найдет эти причины в социальном строе

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 348.
** Там же, с. 344.

мелкокрестьянской отсталой страны, доведенной после трех лет войны до крайней разрухи» *.

Позже, на VII экстренном съезде партии, Ленин сказал, что триумфальное шествие Октябрьской революции настолько увлекло некоторых товарищей, что они разучились отступать и им придется заново этому учиться «Если ты не сумеешь приспособиться, — говорил он, — не расположен идти ползком на брюхе, в грязи, тогда ты не революционер, а болтун, и не потому я предлагаю так идти, что это мне нравится, а потому, что другой дороги нет, потому что история сложилась не так приятно, что революция всюду созревает одновременно» **.

Из полдюжины ответов Ленина на излюбленные аргументы сторонников революционной войны один ответ заинтересовал меня больше всего, так как больше всего меня волновал. Ленин называл этот аргумент самой «бойкой» и самой ходкой отговоркой. Те, кто выдвигает этот довод, писал он, говорят: «Похабный мир — есть позор, предательство Латвии, Польши, Курляндии, Литвы»; но Ленин предлагал рассмотреть этот довод теоретически: «...что выше — право наций на самоопределение или социализм? — и отвечал: — Социализм выше.

Позволительно ли из-за нарушения права наций на самоопределение отдавать на съедение Советскую социалистическую республику, подставлять ее под удары империализма в момент, когда империализм заведомо сильнее, Советская республика заведомо слабее?

Нет. Непозволительно. Это не социалистическая, это *буржуазная* политика.

Далее. Был ли бы мир на условии возврата «нам» Польши, Литвы, Курляндии *менее* позорным, менее аннексионистским миром?

С точки зрения русского буржуа, *да*.

С точки зрения социалиста-интернационалиста, *нет*.

Ибо, освободив Польшу (чего хотели одно время некоторые *буржуа* в Германии), германский империализм *еще сильнее* душил бы Сербию, Бельгию и проч.»***.

* В. И Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 344.
** В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, с. 18.
*** В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 351, 352.

Эти слова были как ушат холодной воды. Но Ленин не оставил без внимания и союзников: «Взгляните на *факты* относительно поведения англо-французской буржуазии. Она всячески втягивает нас теперь в войну с Германией, обещает нам миллионы благ, сапоги, картошку, снаряды, паровозы (в кредит... это не «кабала», не бойтесь! это «только» кредит!)...

Англо-французская буржуазия ставит нам западню: идите-ка, любезные, воевать *теперь,* мы от этого великолепно выиграем. Германцы вас ограбят, «заработают» на Востоке, дешевле уступят на Западе, а кстати Советская власть полетит... Воюйте, любезные «союзные» большевики, мы вам поможем!

И «левые» (унеси ты мое горе) большевики лезут в западню, декламируя самые революционные фразы...

...Надо воевать против революционной фразы, приходится воевать, обязательно воевать, чтобы не сказали про нас когда-нибудь горькой правды: «революционная фраза о революционной войне погубила революцию» *.

Но ведь и на моей совести была одна революционная фраза! Подстегнутый этим воспоминанием, как шпорой, я решил действовать. Не просто действовать, а совершить определенное важное и нужное дело.

Однако прежде всего мне хотелось выяснить одну вещь. Почему Ленин не упомянул Америку? Если он считал, что от моей страны можно ожидать чего-то большего, чем простая ловушка, ожидать какого-то определенного сотрудничества, тогда то, что я задумал, непозволительная роскошь и мне надо спешить домой, чтобы делать свое настоящее дело — вместе с Ридом рассказывать американскому народу правду о России?

Я решил поговорить с «профессором» — Чарли Кунцем, с которым мы теперь работали вдвоем (хотя мы больше болтались в Смольном или Таврическом, чем работали в отделе пропаганды), и узнать, что он по этому поводу думает. Я ничего не сказал ему о своих планах. Да и что я мог сказать? Что я хочу помочь Ленину выиграть самую тяжелую в его жизни битву? Что я тоже виновен в «революционной фразе» и собираюсь загладить свою вину? Даже такой добрый чело-

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 352—353.

век, как «профессор», поднял бы меня на смех. Нет, уж лучше я пока помолчу.

Дождавшись момента, когда Кунц кончил читать «Правду», я просто спросил, почему Ленин не назвал Америку? Может быть, он считает Робинса более искренним человеком, чем, например, Локкарта, или думает, что политика США несколько отличается от политики Франции и Англии?

Кунц снял очки и в задумчивости посмотрел на меня.

— Нет, вряд ли. Возможно, Ленин и питает некоторую симпатию к Америке. И конечно, Робинс — человек обаятельный. Но Ленин нисколько не заблуждается и прекрасно знает, что не рабочие заправляют делами на Уолл-стрите. Я думаю, дорогой Альберт Давидович, что для спасения революции Ленин готов использовать все, в том числе соперничество между различными империалистическими державами.

— Спасибо, «профессор», — сказал я, а про себя подумал: «Хотя вы почти не ответили на вопрос, который я осмелился задать вслух».

На следующий день я пришел в Смольный и долго в волнении ходил по коридорам, ни к кому не обращаясь. Мне не хотелось говорить даже с друзьями, которых встретил. Им, впрочем, тоже было не до меня. Центральный Комитет снова заседал, и, как мне сказали, там снова разгорелся спор — на этот раз о том, принимать или не принимать помощь союзников (французов и англичан).

Бегом по лестнице навстречу мне спускался Восков, и я, не выдержав, все-таки остановил его:

— Ну что там решили твои великие вожди? Примут они или нет помощь от союзников?

Восков пожал плечами и хотел было идти дальше, но от меня не так легко было отделаться.

— Как они вообще могут спорить против принятия помощи, коль скоро англичане и французы ее твердо предлагают — и военную и всякую другую? Последний раз, когда я тебя видел, ты, кажется, утверждал, что у немцев полно своих проблем и они не посмеют наступать. А они наступают!

— Да, немцы наступают, остатки нашей старой армии отступают; уже, как я слышал, пал Ревель, — отвечал Восков тем раздражающе радостным тоном, ко-

торый у него появлялся в самые тяжелые моменты. — Если не произойдет мировая революция, Россия погибнет. Лучшее, что мы можем сейчас сделать, это не вступать ни в какие сделки ни с одной из империалистических банд и тем самым показать всему миру пример.

Я вспомнил слова Кунца, которые мне теперь весьма пригодились.

— Ты ошибаешься. Чтобы спасти революцию, надо сыграть на противоречиях между различными бандами...

— Ты что же, хочешь, чтобы мы стояли спокойно и смотрели, как с *нашего позволения* немецкий сапог топчет нашу землю? Нет, ты недооцениваешь силу рабочего класса — и русского и интернационального. Это буржуазный взгляд...

— А Ленин написал сегодня в «Правде», что твой взгляд — буржуазный.

Восков с изумлением посмотрел на меня и улыбнулся:

— Подумать только, было время, когда я цитировал тебе Ленина...

— Да. Ну а все-таки, Восков, ты слышал, что там происходит?

— Я знаю, что сказал Урицкий: мы захватили власть и тут же забыли о мировой революции. Я знаю, что Бухарин считает добровольное соглашение с англо-французами еще большим позором, чем подчинение силе немцев. Ты думаешь, Клемансо *, который через месяц после Октябрьской революции требовал посылки экспедиционного корпуса в Сибирь, предложит что бы то ни было, если не увидит за этим возможность всадить нам нож в спину? Кстати, твой друг Робинс хоть в одном отношении оказался полезным: Америка пока не дала согласия на высадку японцев во Владивостоке. Да, я могу тебе сообщить нечто еще более интересное: Ленина сейчас нет на заседании. Он ушел к себе и что-то пишет, но просил занести в протокол, что он подает свой голос за «принятие картошки и амуниции от англо-французских империалистических разбойников». — И хотя Восков по брестскому вопросу не был в числе сторонников Ленина, он рассказывал это, сияя от удовольствия. Кажется, впервые за последние дни я рассмеялся.

— Как жаль, что Рида нет. Он бы это оценил. Ну а

---

* Ж *Клемансо* (1841—1929) — председатель Совета министров Франции; активный организатор антисоветской интервенции

серьезно, Восков, скажи мне, как ты можешь быть не на стороне Ленина?

Первый раз за все время нашего знакомства Восков посмотрел на меня сердито и покраснел. А потом довольно мягко, хотя и с некоторым отчуждением, несвойственным ему в отношении ко мне, сказал:

— Ты хороший парень, Альберт Давидович, но есть вещи, которых ты просто не можешь понять. Может быть, со временем поймешь. Что бы там между нами ни было, мы всегда будем держаться вместе. — И, усмехнувшись, добавил: — Даже если нас всех повесят на фонарных столбах — висеть мы будем вместе.

Я вышел из Смольного и в ближайшем киоске купил только что вышедший номер «Правды». В глаза бросился крупный заголовок: «Социалистическое Отечество в опасности!» У меня до сих пор сохранился пожелтевший лист бумаги с английским переводом, который потом для меня сделали. Но еще тогда, когда я только открыл газету, я понял достаточно, чтобы укрепиться в своем решении. Это был декрет Совета Народных Комиссаров, и начинался он словами:

«Чтоб спасти изнуренную, истерзанную страну от новых военных испытаний, мы пошли на величайшую жертву и объявили немцам о нашем согласии подписать их условия мира. Наши парламентеры 20 (7) февраля вечером выехали из Режицы в Двинск, *и до сих пор нет ответа.* Немецкое правительство... явно не хочет мира. Выполняя поручение капиталистов всех стран, германский милитаризм *хочет задушить русских и украинских рабочих и крестьян, вернуть земли помещикам, фабрики и заводы — банкирам, власть — монархии.* Германские генералы хотят установить свой «порядок» в Петрограде и в Киеве. *Социалистическая республика Советов находится в величайшей опасности.* До того момента, как поднимется и победит пролетариат Германии, священным долгом рабочих и крестьян России является беззаветная защита республики Советов против полчищ буржуазно-империалистской Германии» *. Далее следовали пункты постановления Совета Народных Комиссаров, а заканчивался декрет лозунгами:

«Социалистическое отечество в опасности! Да здрав-

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 357.

ствует социалистическое отечество! Да здравствует международная социалистическая революция!» * .

Все сомнения исчезли. Возвращаться в Америку было не время. С газетой под мышкой я бросился обратно в Смольный и снова стал бродить по коридорам в поисках комнаты, где записывали добровольцев в Красную Армию. Я хотел сдержать слово, которое дал первым новобранцам Красной Армии, хотя тогда она еще так не называлась, в тот день, когда Ленин подсказал мне русское слово «вступить». Сегодня, через месяц с лишним, 22 февраля, настал именно тот час, когда я должен был «вступить».

Однако я испытывал некоторую неловкость. Мне хотелось сделать все как можно незаметнее. Сегодня, после передовой статьи в «Правде», тысячи русских придут записываться добровольцами. Собственно, с этого и началось настоящее формирование Красной Армии, хотя декрет о ней был датирован еще 15 (28) января. Я не хотел спрашивать ни у кого из знакомых большевиков, где мне, иностранцу, можно записаться в Красную Армию.

Первый человек, к которому я обратился, по виду рабочий, решил, что я агитирую его записаться. Он ответил, что не боится умереть, если нужно, но разве Ленин не захочет заключить мир, или придется все-таки воевать? А потом, чего это американский буржуй сует нос не в свое дело? Я поспешил ретироваться, преследуемый его громким голосом.

Отойдя как можно дальше, в другом коридоре я снова набрался храбрости и обратился к какому-то матросу. Я продолжал считать всех матросов своими друзьями: может быть, он узнает меня, как это бывало уже не раз после тех бурных предоктябрьских дней, когда американец выступал с речью перед огромной аудиторией балтийских моряков. Матрос меня понял, спокойно кивнул головой, будто в мире не было ничего более естественного, чем моя просьба, сказал, что отведет меня туда, куда мне нужно, и пригласил следовать за ним. Так я попал в руки Бухарина. Я его, конечно, знал, хотя и значительно хуже остальных русских эмигрантов в Америке (он очень мало пробыл там), но он был послед-

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 358.

ним, к кому мне пришло в голову обратиться с подобной просьбой.

Однако отступать было поздно. И все получилось довольно комично. Матрос коротко объяснил, что вот, мол, товарищ хочет защищать революцию, и ушел.

Бухарин тут же повел меня куда-то дальше, по дороге что-то горячо доказывая. Поглощенный мыслями о предстоящем шаге, я сначала не очень внимательно прислушивался к его словам. Потом они вдруг стали выстраиваться в моем сознании, принимая все более определенную форму. Он говорил о революционной инициативе масс, о Французской революции и о том, как восхищался Маркс революционной инициативой санкюлотов *.

Я напомнил ему, что славная Французская революция породила бонапартизм.

— Вот именно, — ответил он, открывая какую-то дверь и подталкивая меня внутрь. Мне не понравилось его «вот именно». Не понял он или просто не обратил внимания на мои слова?..

Заметив его самодовольную улыбку, я огляделся и понял, что мы находимся в приемной Ленина. Я заявил, что пришел в Смольный только затем, чтобы записаться добровольцем в Красную Армию, что я не собирался идти к Ленину, как представитель «железных батальонов» рабочих всех стран, готовых ринуться в бой на защиту Советов, если Советы откажутся подписать мир. Все время, пока я произносил эту речь, Бухарин крепко держал меня за руку как вещественное доказательство № 1 и с нетерпением ждал, когда откроется дверь в кабинет.

Конечно, я мог повернуться и уйти. Но вместо этого я, не отрывая глаз, смотрел, как медленно поворачивается ручка двери и чья-то рука, возможно рука Ленина, то поднимает ее вверх, то опускает вниз — очевидно, Ленин прощается с посетителем. Бухарин подвел меня вплотную к двери и, когда посетитель выходил, придержал ее, распахнул пошире и буквально втолкнул внутрь.

Я очутился в кабинете Ленина. Он возвращался от двери к столу. Можно представить себе его удивление, когда, обернувшись, он увидел перед собой непрошеного посетителя.

Я готов был провалиться сквозь землю и, пролепетав

* Санкюлоты — так называли патриотов, революционеров во время Французской буржуазной революции 1789—1894 годов.

что-то о своем намерении вступить в Красную Армию, окончательно смутился. Что, если каждый доброволец, прежде чем записаться в Красную Армию, будет приходить к Ленину и сообщать ему об этом?

Пытаясь как-то выйти из положения, я назвал имя Бухарина, хотя в этом не было никакой надобности. По лукавому огоньку, вспыхнувшему в глазах Ленина, я понял, что он заметил промелькнувшую в дверях фигуру Бухарина или, по крайней мере, догадался, что мое неожиданное вторжение как-то с ним связано. Ленин, конечно, понимал, что одна ласточка не делает весны и солидарность одного американца совсем не означает, как это пытался представить Бухарин, будто пролетариат всего мира спешит на выручку русскому пролетариату, который первым вырвался на просторы социализма и над которым теперь нависла угроза. Ленин тоже рассчитывал на международную солидарность трудящихся, но она была еще где-то в перспективе, а немецкие войска рядом.

Он некоторое время продолжал развивать эту мысль, возможно, для того, чтобы втянуть меня в разговор и выслушать мое мнение. Так бывало всегда, кто бы к нему ни приходил и какой бы вопрос ни обсуждался. Это стало уже общеизвестным: всех, кто с ним беседовал, он слушал очень серьезно и ни с кем не говорил свысока.

Потом он сказал, что глупо превращать смерть за революцию в самоцель. Лучше жить для революции.

— Сохранить жизнь — вот цель потруднее. Если все умрут за революцию, то и революция умрет. Конечно,— продолжал он, — люди, симпатизирующие революции, в том числе вы, журналисты, представляете для нас скорее моральную ценность, чем военную. Но я рад, очень рад, что вы приняли такое решение. — Он посмотрел мне прямо в глаза, и я с облегчением отметил, что ни во взгляде его, ни в голосе не было ни малейшего оттенка иронии или добродушной веселости.

Тогда я напомнил ему свою клятву с броневика и был очень обрадован, когда оказалось, что он все отлично помнит. Однако на этот раз мы продолжали говорить по-английски: у него было слишком мало времени, а я был слишком возбужден, чтобы пытаться говорить по-русски.

— Положение наше сейчас очень трудное, — сказал

Ленин. — Старая армия воевать не хочет. Новая в основном еще на бумаге. Только что без всякого сопротивления сдали Псков. Это преступно. Председателя Псковского Совета следовало бы расстрелять! — Он немного помолчал и продолжал: — Наши рабочие способны на великий героизм и на любые жертвы, но у них нет ни военной подготовки, ни военной дисциплины. Солдаты старой армии устали от войны, устали и физически, но дайте им немного передохнуть — и они снова будут хорошо воевать. — Этими короткими фразами он пояснил сложившуюся ситуацию, а потом добавил: — Единственный выход, который я вижу, — это мир. Но Советы могут высказаться за войну. Во всяком случае, поздравляю вас со вступлением в революционную армию. После сражений с русским языком вы, наверное, достаточно подготовлены к сражению с немцами.

Он окинул меня испытующим взглядом и, пряча в прищуренных глазах добрую улыбку, как бы между прочим сказал:

— Один иностранец много не навоюет. Может быть, вы найдете еще кого-нибудь?

Я ответил, что попробую сколотить небольшой отряд. Так родилась идея Интернационального отряда.

В отличие от тех, кто произносил смелые слова о принципах и о непримиримости, Ленин деловито готовился к любой неожиданности. Он не упускал ни одной мелочи, которая могла бы пригодиться, не отмахнулся и от случайного американца, который в жизни своей не подстрелил и белки. Сняв телефонную трубку, Ленин попытался соединиться с Крыленко. Когда это не удалось, он взял перо и написал ему записку. Как оказалось потом, интерес Ленина к Интернациональному отряду этим не ограничился, он продолжал следить за его формированием с характерным для него умением предусматривать все детали. Взяв записку, я было поднялся, чтобы идти, но Ленин остановил меня и сказал:

— С немцами нельзя драться голыми руками, но нам, может быть, придется. Они могут не пойти на перемирие. Но мы сделаем все возможное, чтобы избежать столкновения сейчас. Крестьяне и так много воевали. И, кроме того, немцев чайниками не побьешь. (Советам катастрофически не хватало оружия и боеприпасов.)

Глаза Ленина смотрели на меня с дружеской теплотой, и этот взгляд навсегда запомнился мне. Потом Ленин задумался и бросил еще несколько вроде бы малозначащих замечаний о бессмысленности войны.

Эти замечания так же, как и некоторые другие его слова, приведенные сейчас мною, не вошли в книгу о Ленине, которую я опубликовал в 1919 году. Тогда, по возвращении домой, мне так много надо было рассказать и устно и письменно, а главное — немедленно, что я не мог рассказать обо всем сразу.

Но шли годы, и я все чаще вспоминал сдержанную страстность его простых слов, проникнутых такой горячей ненавистью к бессмысленной, разрушительной силе войны:

— Какая трагедия! Какой парадокс! Подумать только! Социалисты участвуют в войне, организуют пожары и разрушения. Безжалостный враг взрывает дома и мосты — отступая, мы делаем то же самое. Несчастная Россия!

Я снова собрался уходить и в волнении не заметил, что, вставая со стула, уронил шляпу. Ленин быстро наклонился, поднял и отдал мне. И никто не увидел бы ничего необычного в том, что премьер-министр поднял шляпу, которую уронил неуклюжий корреспондент.

Было уже темно, когда я вышел из Смольного. На улицах, поднимая тревогу, выли сирены: немцы стояли у ворот красного Питера, угрожая гибелью любимому городу пролетариата.

Я замерз и хотел есть, но принятое и выполненное решение рождало в душе необыкновенное чувство приподнятости. Я стал теперь неотъемлемой частью революции, одним из защитников ее столицы. В ушах все еще звучали слова Ленина: «С немцами нельзя драться голыми руками, но нам, может быть, придется». Горячая волна подкатила вдруг к сердцу. Как же, наверное, трудно и одиноко ему было, если в минуту такого острого кризиса он уделил мне столько времени... Впечатление это было, конечно, ошибочным. Ему надо было только преодолеть сопротивление некоторых руководителей: как показали последующие месяцы — месяцы смертельной опасности, — партия и народ полностью его поддержали.

23 февраля генерал Гофман ответил, наконец, поставив новые, более тяжелые условия мира, чем те, которые русские согласились принять. Предстояли новые бои

в ЦК и в ЦИКе и еще более тяжелая неделя впереди, но Ленин все же нашел время дважды в тот день позвонить в редакцию «Правды». В первый раз проверил, печатается ли воззвание о формировании отряда, а во второй раз попросил, чтобы оно было напечатано не только на русском языке, но и на английском. 24 февраля воззвание появилось в «Правде». (Позднее по распоряжению Ленина телеграф разнес по всей России более краткое и более конкретное обращение, которое было переведено на пять языков.)

В момент, когда, казалось, весь мир рушился вокруг новой России, сам факт появления на первой полосе «Правды» английского текста «Воззвания» представлялся нам огромной победой. Как все, связанное с Интернациональным отрядом, «Воззвание» в том виде, как оно было опубликовано в «Правде», отмечено в моей памяти соединением возвышенного и комичного. В типографии не было полного набора английских шрифтов, поэтому слова набирались разными шрифтами, в зависимости от того, какие буквы можно было наскрести, а когда букв совсем не хватало, то в тексте зияли пропуски. Кроме того, поскольку «Воззвание» было написано сначала по-русски (не помню уже кем), а потом переведено на английский, в нем была масса несвойственных английскому языку оборотов.

Под «Воззванием» стояли подписи: Альберт Вильямс, Самуил Агурский, Ф. Нейбут (хотя Нейбута звали Арнольдом).

После обычных фраз о рабочем классе (пожалуй, чуть более возвышенных, чем обычно) и об угрозе, которую представляет для демократии мировая война, после упоминания об империалистах шел, в частности, такой текст:

«Советская власть совершила героические усилия, чтобы покончить с войной... Она обратилась с призывом ко всем рабочим мира. Пока рабочий класс зарубежных стран не пришел на помощь русской революции и над ней нависла страшная опасность: наступающая армия германских империалистов целится прямо в сердце Советской власти. Взоры революционеров всех стран обращены к революционному центру мира с надеждой на его спасение. Но мы, находящиеся здесь, можем непосредственно помочь этому спасению. Наш долг бороться за сохранение Петрограда».

Более поздний текст, разосланный уже из Москвы и на пяти языках, был гораздо энергичней и эмоциональней:

«Граждане! Товарищи! Интернационалисты!

Россия — как узник за решеткой. Но и отсюда, сквозь грохот мировой войны, ее голос громко взывает к справедливости и гуманности, обращается к бедным и угнетенным.

У России много внутренних и внешних врагов — врагов сильных и коварных. России не нужны слова и благочестивые пожелания. Ей нужны дела, дисциплина, организация и винтовка в руках бесстрашных бойцов.

Если вы верите в Революцию, в Интернационал, в Советскую власть, вступайте в Интернациональный отряд Красной Армии. Он формируется из людей, говорящих на иностранных языках, и к нему спешат боевые революционеры со всего мира.

Если ты свободный человек, вступай немедленно в отряд... Штаб отряда находится по адресу: Нижний лесной переулок, 2, возле Храма Спасителя».

* * *

Как я уже говорил, немцы продолжали наступать. Они не остановились, получив согласие русских на первоначальные условия, они не остановились даже тогда, когда русские за несколько часов до истечения срока ультиматума согласились наконец принять и новые условия. Они не остановились, пока не дошли на севере до линии Нарва — озеро Пейпус — Могилев.

Новые условия, полученные Советским правительством только утром 23 февраля, были неизмеримо тяжелее старых. Как и предвидел Ленин в своих «Тезисах», «...ход событий, при продолжении войны, будет неизбежно такой, что сильнейшие поражения заставят Россию заключить еще более невыгодный сепаратный мир...» *.

По новым условиям Россия должна была отказаться от Риги и прилегающих к ней районов, от всей Курляндии и Литвы, вывести все советские войска с Украины и заключить мир с Украинской радой (а между тем к моменту разрыва брестских переговоров Советы одержали победу над радой, что и заставило немцев поспеш-

* В. И Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 249.

но заключить сепаратный мир с представителями рады в Бресте), признать оккупацию Ливонии и Эстонии. Россия лишалась польских, прибалтийских и белорусских земель. Но, пожалуй, самым жестоким ударом была потеря хлеба и зерна, скота и леса, которые немцы могли теперь беспрепятственно вывозить с Украины и из других территорий, уступленных кайзеру.

Итак, предъявив ультиматум, немцы дали на размышление сорок восемь часов.

Прежде чем убедить своих товарищей в необходимости принять ультиматум и подписать мир, Ленину пришлось выдержать тяжелейшую битву. Троцкий, который перед этим голосовал против бухаринской группы, не желавший идти ни на какие компромиссы, теперь снова склонялся к революционной войне. Он не соглашался с Лениным, утверждавшим, что Советы в настоящее время беспомощны, и считал, что можно даже сдать Питер и Москву. Он никак не хотел отказаться от того образа, который создал из своей личности в Бресте и который сильно возлюбил. Если мы подпишем сегодня германский ультиматум, твердил он в ключе этого образа, мы можем потерять опору в передовых элементах пролетариата.

Снова, как в Октябре, Ленин вынужден был заявить о выходе (он даже назвал это ультиматумом) из ЦК и из правительства. «Если наши цекисты говорят о международной гражданской войне, то это издевка, — сказал при этом Ленин. — Гражданская война есть в России, но ее нет в Германии» *.

Когда Сталин предложил вступить в переговоры, не подписывая новые условия мира, Ленин решительно возразил: «Сталин неправ... Эти условия надо подписать. Если вы их не подпишете, то вы подпишете смертный приговор Советской власти через три недели» **.

Троцкий заявил, что он ничем не хочет мешать единству партии, но подтвердил свое заявление, сделанное накануне, и не может оставаться на посту народного комиссара иностранных дел.

Ленин победил большинством в семь голосов (Ленин, Зиновьев, Свердлов, Сталин, Сокольников, Смилга, Стасова) в итоговом голосовании 23 февраля 1918 года.

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 369.

** Там же.

Такова была обстановка в ЦК. Первую битву Ленин выиграл, но в тот же вечер ему предстояло выдержать еще более серьезное испытание — испытание его как вождя народа.

23 февраля я уже по уши окунулся в организацию Интернационального отряда, тем не менее выкроил время, чтобы пойти в Таврический дворец, где проходило заседание ВЦИКа. Мне не удалось остаться там до конца (решающее голосование произошло в 4.30 утра следующего дня!), но я смог, во всяком случае, почувствовать атмосферу происходящего. Члены ЦИКа начали собираться рано. Когда мы с Чарльзом Кунцем около восьми часов вечера прибыли во дворец, в фойе было уже полно народу, ярко горел свет, но как же все это было непохоже на то, что я здесь видел немногим больше месяца назад! Тогда, в дни III съезда Советов, в особенности в день последнего заседания, здесь царили радость и оптимизм. Теперь люди стояли группами в разных местах: одни молчали, не скрывая тревоги на лицах, другие громко и сердито спорили. Очевидно, никто не мог предположить, что немцы предъявят такие жестокие условия.

Однако теперь, после публикации ленинских статей, число его сторонников начало расти. «Тезисы» Ленина, которые завтра должны были появиться в печати, ходили сейчас по рукам и горячо обсуждались. Ни до этого, ни после не видел я людей в таком напряжении. Оно охватило поголовно всех. У некоторых был совершенно отсутствующий вид, и не один знакомый проходил мимо, глядя невидящими глазами на меня. При всем этом у меня не создалось впечатления, что сторонники революционной войны присмирели. Наоборот, я слышал, как некоторые эсеры и анархисты заявляли: ну и пусть немцы наступают, чем больше земли они проглотят, тем труднее им будет ее переварить; чем глубже в подполье уйдет революция, тем она лучше сохранится и больше ударов сможет нанести немцам в тылу. Кое-кто из большевиков продолжал доказывать, что принципиальность превыше всего, что они должны служить примером, что, если нужно, они готовы умереть, но умереть как «настоящие революционеры». Я не сомневался в их искренности. Они действительно пошли бы на смерть. В суровые годы гражданской войны и интервенции многие из них показали себя мужественными и стойкими борцами. Ленин продолжал с ними работать, он нуждался в них

и стремился направить всю их энергию на дело революции. Двое из них пали первыми жертвами белого террора *.

Некоторые большевики впервые открыто и резко критиковали Троцкого за то, что он, вернувшись в Брест с широкими полномочиями от III съезда Советов, не подписал первоначальные условия мира, даже когда увидел, что дальнейшая оттяжка невозможна. Так же решительно критиковали его и некоторые бывшие сторонники бухаринской группы, перешедшие теперь на сторону Ленина.

Мы с Кунцем стояли в одном из дальних коридоров, надеясь встретить Ленина, хотя и понимали, что шанс был невелик. В ожидании Ленина мы пытались прикинуть, каковы будут результаты голосования. Ленин выиграет, сказал Кунц. Мне не хотелось с ним спорить: как расчленение немцами России, так и продолжение войны было в равной степени ужасно, и я не мог себе представить ни то, ни другое. Я только сказал, что, если президент Вильсон не окажет Советской России хоть какую-нибудь помощь, она в конце концов истечет кровью...

— Нет, — возразил Кунц, — революция не только выживет, но и переживет империализм.

В этот момент мы увидели Ленина.

Он быстрым шагом шел по коридору по направлению к нам. Мы, конечно, понимали, что у него нет времени для пустых разговоров, а серьезного повода остановить его у нас не было, и, тем не менее, независимо друг от друга, одновременно обратились к нему:

— Одну минуточку, товарищ Ленин.

Он сразу остановился и, как мне показалось, почти по-военному поклонился.

— На этот раз, товарищи, извините, я не могу с вами поговорить. Нет ни секунды свободной. Меня уже ждут в зале. Еще раз извините, пожалуйста. — Он опять поклонился, пожал нам руки и пошел дальше.

Но нам и этого было достаточно. Настроение резко поднялось, по крайней мере у меня. «Профессор» Кунц никогда не падал духом.

— Как он спокоен! — сказал я в изумлении. Кунц удовлетворенно хмыкнул. — И как вежлив! — про-

* Имеются в виду В. Володарский и М. Урицкий.

должал я. — Убежден, что сегодня в Таврическом дворце это единственный человек, не потерявший выдержки.

— И острых зубов, — добавил Кунц, — которые будут тем острее, чем сам он будет спокойнее. Вот увидите.

Я не мог здесь дольше оставаться, так как военная дисциплина требовала вернуться в Мариинский дворец. Ф. Прайс, пробыв на заседании до самого конца, оставил яркое описание той бурной ночи. «Атмосфера была настолько накалена, что даже немногие зрители вроде меня испытывали те же душевные муки, что и члены ЦИКа... То я втайне надеялся, что осторожная, если не сказать компромиссная, политика Ленина восторжествует, то готов был кричать на весь зал, чтобы члены ЦИКа не подписывали этот мир и объявили западному империализму «священную войну».

Прайс пишет дальше о впечатлении, которое произвел на делегатов съезда рассказ Крыленко о полном развале и бегстве старой армии и выступление балтийского моряка, зачитавшего рапорт комиссариата по морским делам, из которого явствовало, что оборону Финского залива организовать невозможно, так как основная часть революционных матросов была послана на юг для борьбы с Калединым. «Борьба представлялась абсолютно невозможной. Но это странным образом еще выше поднимало героический дух в сердцах некоторых большевиков и левых эсеров. Комиссар социального обеспечения мадам Коллонтай, которая всего лишь несколько минут тому назад о чем-то долго беседовала с Лениным позади трибуны, теперь, взойдя на нее, обвиняла его в том, что он публикацией своих тезисов совершил предательство революции. «Довольно с нас оппортунизма, — воскликнула она, — вы нам советуете то же самое, в чем все лето обвиняли меньшевиков: соглашательство с империализмом». Ленин слушал это спокойно и невозмутимо, изредка поглаживая подбородок и глядя в пол... Следующим слово попросил Радек и в резких выражениях заявил, что подписание такого мира означало бы моральное банкротство русской революции и передачу Восточной Европы в руки прусской реакции... Потом на трибуну поднялся профсоюзный лидер Рязанов. Он горячо и страстно осудил идею подписания мира и сказал, что пусть лучше революция погибнет с честью, чем умрет с позором. Похоже было, что никто не соби-

рается выступить в поддержку мира, создалось впечатление, что идеалисты выиграют.

Наконец поднялся Ленин, как всегда спокойный и хладнокровный. Никогда еще такая ответственность не ложилась на плечи одного человека. И все же было бы ошибкой считать, что самым важным фактором в решении этой кризисной проблемы была его личность. Сила Ленина как в тот момент, так и в каждый последующий заключалась в его способности понимать психологию рабочих и крестьянских масс России, их осознанные и неосознанные стремления.

Речь Ленина произвела большое впечатление. «Ни у кого не хватило храбрости ответить ему, — писал Прайс, — так как в глубине души каждый чувствовал, что Ленин прав».

В пятом часу утра было решено провести свободное голосование, не обусловленное партийной дисциплиной. Подсчитали голоса: 116 проголосовали за подписание мира, 85 — против и 26 воздержались.

Немцам немедленно была послана телеграмма. 3 марта Чичерин и Сокольников, возглавившие новую советскую делегацию, подписали мир, который подлежал ратификации Всероссийским съездом Советов. Немцы тем временем, вплоть до подписания мирного договора, продолжали двигаться на Петроград. Мы жили в ожидании ежечасной катастрофы. Но повсюду рабочие снова начали создавать красногвардейские отряды, и снова мы увидели, как к Балтийскому вокзалу потянулась колонна людей с ружьями за плечами, с лопатами, с топорами и ножами. Вокруг Петрограда рыли окопы. Одновременно началась поспешная эвакуация города, так как немцы стремились захватить как можно больше территории, прежде чем их дипломаты подпишут соглашение о демаркационной линии, подошли уже слишком близко к столице. Когда немецкие армии наконец остановились, все вздохнули с облегчением. По крайней мере, красный Питер был спасен, угроза временно миновала. Однако в других местах продвижение немцев потихоньку продолжалось.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТРЯД

Чем ближе подходили немцы к Петрограду, тем чаще я вспоминал наши листовки, в которых мы с Ридом уговаривали немецких солдат покинуть окопы. Вот они их

и покинули по всему растянувшемуся на 1200 миль фронту, только не для того, чтобы поднять красный флаг революции, а для того, чтобы выполнить приказ своих хозяев — растерзать на части молодую Советскую республику. Рид теперь сидит в Христиании в ожидании корабля на родину, и я, по крайней мере, не услышу его хохота, который, несомненно, вызвал бы мой вид бойца Интернационального отряда.

Около 60 человек ответило на «призыв» служить красноармейцами в составе Интернационального отряда, и, к моему облегчению, мало кто имел специфическую военную выправку. Был даже человек, еще меньше меня подходящий для армии.

Когда я впервые сообщил Кунцу, что я теперь доброволец, в моем голосе звучала нотка самоопределения. Ради революции «профессор», несомненно, пошел бы под пули, в тюрьму и на пытку, но ждать, что он будет готов убивать других, значило бы требовать слишком многого от этого сорокавосьмилетнего человека, который попал в революционную Россию прямо с птицефермы в Нью-Джерси, где он делил свое время между цыплятами, наукой и воспитанием многочисленных племянников и племянниц.

Из последнего разговора с ним, состоявшегося незадолго до моего визита в Смольный, мне стало совершенно ясно, что в вопросе о мире он полностью на стороне Ленина. Однако это вовсе не означало, что он пойдет воевать против немцев, если они двинутся на Петроград, а они двинулись.

— Итак, «профессор», — сказал я, приняв, как мне казалось, военную стойку, — теперь я вооружен не только симпатией, доброй волей и дружеским словом, а и винтовкой. Я вступил в Красную Армию. — Подозреваю, что вид у меня при этом был не столько героический, сколько беспомощный. Не могу не отдать должное Кунцу: насколько мне известно, никакие пертурбации в хаотическом беспорядке революционной арены, на которую он будто случайно приземлился в самый канун Октября, не вызывали у него удивления. Не удивила и моя новость.

— Да, — сказал он спокойно, — бедные перепуганные дипломаты уже бегут с корабля, а богатые дамы готовят букеты, чтобы бросать к ногам победителей, когда они гусиным шагом пройдут по Петрограду. Пусть

будет кто угодно, только не большевики! Ленин, конечно, прав, потому что видит все это с классовой точки зрения. Международный пролетариат заслуживает того, чтобы эта революция была спасена. — Потом, как бы вспомнив о чем-то, он добавил: — Я тоже вступаю в ваш Интернациональный отряд.

— Но вы ведь пацифист, — невольно вырвалось у меня, — вы и клопа-то не смогли бы убить! — В голове промелькнули и другие мысли: о его возрасте, о его мягком характере, о плохом зрении. Наверное, лицо мое выражало ужас. Кунц ласково и чуть насмешливо взглянул на меня из-под очков и расхохотался. Я забыл, что я ведь тоже пацифист! Или, по крайней мере, был им.

«Профессор» утешил меня, процитировав Торо *, который, ни минуты не колеблясь, выступил в защиту и оправдание Джона Брауна **, взявшего в руки оружие. Торо, этот апостол учения о непротивлении злу насилием, дал достойную отповедь торгашам-янки, заявившим, что Браун зря пожертвовал жизнью, что это ему ничего не дало. Кунц напомнил мне ответ Торо: «Конечно, он и полушки в день на круг не получил за то, что его повесили, но он отстоял возможность спасти значительную часть своей души — и какой души! — тогда как вы этой возможностью не пользуетесь...»

— Торо так понимал доктрину непротивления, — продолжал Кунц, — он считал, что ради спасения раба человек имеет полное право употребить против рабовладельца силу. И я с ним полностью согласен.

Так мы стали красноармейцами-добровольцами и поступили в распоряжение отдела формирования и обучения войск Всероссийской коллегии по организации и управлению Красной Армией. Мы старались подавать пример воинской дисциплины, хотя раньше не могли даже представить себя в роли примерных солдат. «Профессор» был тверд. «Сказав А, нужно говорить Б», — весело шутил он. В ответ я щелкал каблуками, отдавая честь (ни то, ни другое не было принято в революционной армии), и признавал его логику неотразимой.

Отряд наш разместили в казармах гвардейского гре-

* Г. Д. Торо (1817—1862) — американский писатель, публицист, философ.

** Джон Браун (1800—1958) — борец за освобождение негров в США.

надерского полка, а для записи новых добровольцев отвели помещение на третьем этаже элегантного Мариинского дворца. За официальный язык приняли английский, хотя в отряде были люди самых разных национальностей. Если наш Интернациональный отряд и не внес большого вклада в дело революции, то, по крайней мере, он послужил еще одним доказательством ее организованной силы, так как уже через несколько недель наша разношерстная компания была спаяна в довольно крепкую военную единицу. Вместе с тем мы все глубже постигали реальный смысл тех колоссальных трудностей, которые встали перед новой властью. Несмотря на закон о рабочем контроле, многие фабрики вообще перестали работать, владельцы, оставшиеся на местах, саботировали налаживание производства, инженеры дезертировали со своих постов, и даже многие рабочие вернулись в деревню, прикинув, что там, по крайней мере, у них будут хлеб и щи. Саботаж, казалось, был повсюду и становился все более открытым по мере того, как немецкое наступление повышало шансы контрреволюции.

Видя, что творится вокруг нас, мы почти отчаялись получить какое-нибудь оружие и боеприпасы, не говоря уже о чем-то вроде формы, хотя я лично видел, как Ленин писал об этом записку Верховному главнокомандующему Крыленко. Правда, у красноармейцев, добровольно вступивших в Красную Армию, положение было ненамного лучше нашего.

Однажды наш командир, серьезный, неулыбчивый чех, предложил очень простое решение проблемы. Мы собрались у Мариинского дворца, чтобы направиться к месту, где у нас проходили военные занятия, — без оружия, конечно. Командир показал на окна дворца и сказал: «Вы хотите оружия? Хотите покончить с саботажем? Тогда давайте выбросим в окно всех этих бюрократов». Несколько человек громко выразили свое согласие. Командир не понял, что они шутят. Один из остряков с серьезным видом заявил, что, конечно, так и надо сделать, ведь сам Маркс призывал к уничтожению буржуазной государственной машины. Тут вмешался наш «профессор» и тактично отговорил командира от этой попытки: государственная машина еще на некоторое время понадобится революции, и кто-то должен этой машиной управлять. И, кроме того, Маркс в своей

«Критике Готской программы» не рекомендовал выбрасывание буржуазии и даже саботажников из окон.

* * *

Вскоре после того как я принял решение вступить в Красную Армию, я счел необходимым сообщить об этом Робинсу. Немцы еще двигались на Петроград, по ночам их самолеты летали над городом, а каждый новый день рождал свежие слухи и приносил новые зловещие факты. Моя новость не вызвала у Робинса ни особой радости, ни огорчения. Он просто подсчитал, что мои шансы отправиться на тот свет значительно увеличились.

— Однако после всех ваших подвигов вам ничего другого не остается, — сказал полковник и, сверкнув темными глазами, добавил: — По крайней мере, это будет вызовом буржуазии, которая до хрипа в горле кричала, что с немцами надо воевать до победного конца, а теперь, когда немцы подошли на расстояние пушечного выстрела и буржуазия бежит к вокзалам, вы идете отгонять их от Петрограда.

Посол Фрэнсис предоставил Робинсу заниматься всеми делами, связанными с эвакуацией. Робинс пошел прямо к Ленину, чтобы обеспечить послу и его окружению благополучный переезд из столицы в небольшой провинциальный городок Вологду, откуда шел прямой железнодорожный путь во Владивосток.

Когда Фрэнсис и большая часть состава американского посольства, в том числе персонала «Нэшнл сити бэнк», отправились в Вологду, Робинс, Гамберг и остальные сотрудники Красного Креста выехали вместе с ними. В течение последующих недель туда перебрались и другие посольства. Англичане благополучно вывезли своих людей через Финляндию, оставив Локкарта с несколькими сотрудниками.

Вологда стала шумным городом, переполненным нервными дипломатами. Офицер итальянского генерального штаба Ромеи, побывав там с коротким визитом, сказал потом Локкарту: «Если всех этих союзных представителей сварить в одном котле, тщательно перемешивая, все равно ни капли здравого смысла из этого варева не выжмешь».

Я был уверен, что Робинс там долго не задержится и скоро вновь появится на петроградской сцене: не в его характере было отсиживаться в тихой гавани.

Правда, я его в Петрограде больше не встречал, вскоре наш отряд вслед за правительством переехал в Москву. Однако, судя по всему, Робинс вернулся в Петроград сразу же после того, как отправил Ленину депешу о прибытии посла в Вологду 28 февраля. (В той же депеше он спрашивал, продолжают ли немцы наступать и подписан ли мир. Не прошло и получаса, как Ленин ответил телеграммой: «Мир не подписан. Обстановка без изменений...»)

Помню, однажды ночью на Петроград было сброшено несколько бомб, одна из них попала в Варшавский вокзал, до отказа переполненный беженцами. Это было в ночь со 2 на 3 марта. Мы начали думать, не будет ли мир, подписанный 3 марта, пустой бумажкой для немцев.

Даже из архива Робинса неясно, в какой день он вернулся в Петроград. По свидетельству Локкарта, он позвонил ему из Вологды и сообщил, что, по всей вероятности, Фрэнсис на следующий день отправится домой через Сибирь, но что, если Локкарт получит от Ленина хоть одно обнадеживающее слово, Робинс не только останется сам, но и постарается уговорить посла.

1 марта Локкарт в первый раз беседовал с Лениным и понял, что есть обнадеживающее намерение пойти на риск сотрудничества с союзниками. Таким образом, по крайней мере к 5 марта, то есть через два дня после подписания мира, Робинс был в Петрограде и узнал от русских условия, на которых они могли бы принять помощь. Собственно, это были не условия, а вопросы. Русские хотели знать, как поведут себя США и союзники в случае, если съезд Советов откажется ратифицировать Брестский мир, или немцы возобновят наступление, или если действия немцев вынудят Советское правительство разорвать Брестский договор. Советскому правительству важно знать: могут ли они рассчитывать на поддержку США, Англии и Франции, какую поддержку они смогут получить и какие шаги предпримут США и союзные державы, если Япония захватит Владивосток и Восточно-Сибирскую железную дорогу?

Ленин, по словам Локкарта, сказал ему, что в случае германской агрессии он даже готов будет принять воен-

ную помощь, хотя и убежден, что английское правительство никогда на это не пойдет.

Нет никакого сомнения, что Робинс и Локкарт надеялись на согласие своих правительств. Локкарт немедленно телеграфировал в Лондон, настаивая на предложении помощи России *.

Робинс принес свое сообщение военному атташе в Петрограде, чтобы поскорее передать его в Вологду. Приехав 8 марта в Вологду, он узнал, что его сообщение лежит нерасшифрованным, так как оба сотрудника, знавшие код, были отправлены послом в Петроград в Смольный с заверениями, что «в случае организации серьезного сопротивления» он «будет рекомендовать моральное и материальное сотрудничество». Тот факт, что эмиссары Фрэнсиса в Петрограде обещают помощь русским, успокоил Робинса, и он, отдав Фрэнсису оригинал своего сообщения, поспешил в Москву, к открытию IV съезда Советов...

А между тем посол не торопился передавать вопросы в Вашингтон, 9 марта он только составил краткое изложение их, но и тогда, как замечает профессор У. Уильямс **, «даже тогда он не отметил необходимости быстрого ответа и не подчеркнул важности этих вопросов». Когда они в отредактированном виде достигли Вашингтона (15 марта), ответы уже были не нужны.

* * *

В моей памяти марш Интернационального отряда по Невскому проспекту на пути к Московскому вокзалу всегда ассоциируется с огненно-красным небом, хотя скорее всего петроградское небо в тот серый мартовский день было свинцово-серым. Наверное, это было отражением моего тогдашнего восторженного состояния.

И все-таки я всегда вижу перед глазами пурпурное небо и бегущие по нему грозовые облака.

---

* В игре западиых империалистических правительств с оказаиием помощи Советской России Локкарт имел главиую цель — удержать нашу страиу в войие, а когда это ие удалось осуществить, вступил в коитрреволюциоииый заговор, чтобы свергиуть Советское правительство.

** У. А. Уильямс — историк, автор киги «American-Russian Relations. 1781—1947». N. Y., 1952, в которой ои изложил сравиительио объективио историю отиошеиий между СССР и США.

«Профессор» Кунц, шагающий рядом со мной с винтовкой за плечами (мы наконец получили оружие, хотя форму нам еще не выдали), был необыкновенно трогателен, но сам вид его возбуждал во мне чувство силы и уверенности.

Если революция смогла даже из него сделать солдата, она способна на все...

Состав подали только к ночи, и мы, расположившись в темных вагонах прямо на полу, попытались уснуть. Половину ночи наш состав переводили с одного пути на другой, толкали взад и вперед, сцепляли и расцепляли, но наконец колеса застучали быстро и равномерно, и мы заснули. Проснувшись на рассвете оттого, что поезд стоял, мы бросились к дверям, ожидая увидеть московские купола, но вместо этого перед нами на горизонте виднелись знакомые силуэты петроградского неба. Только с другой стороны города. Таким образом, мы за ночь отодвинулись от Москвы на целых пять миль.

Наш товарищ итальянец схватил винтовку и с возгласами «Саботаж! Измена!» выскочил из вагона, готовясь пристрелить начальника станции или диспетчера. Больше мы его не видели. Остальные, хотя и не бросились за ним, громко выражали свое возмущение и гнев. Один Кунц сохранял полнейшее спокойствие; пожав плечами, он заявил, что саботаж и даже измена вполне вероятные «явления кризиса», но революция все равно победит и, больше того, мы даже попадем в Москву. Через некоторое время мы действительно были в Москве, где наш отряд получил в свое распоряжение великолепное здание.

* * *

По сравнению с Петроградом жизнь в Москве казалась спокойной. Мне дали удобный номер в гостинице «Националь», в нескольких шагах от комнаты, где разместились Ленин с Крупской. Когда я вступил в Интеротряд, то был готов к тому, что придется жить в дощатых, продуваемых всеми ветрами бараках, поэтому, попав в гостиницу, чувствовал себя несколько виновато. К этому примешивалось еще и чувство недовольства — никто не призывал нас к действию. Опасность похожа на любовь, если ее слишком долго ждешь, желание притупляется. Это был период создания Красной Армии, основной упор делался на организацию. Меня назначили упол-

номоченным по организационным вопросам, посадили за письменный стол в штабе отряда, и я занялся совсем не тем делом, на какое шел, записываясь в Красную Армию. Зато в этот период я почувствовал, что Ленин — не знаю, по какой причине, — стал проявлять интерес ко мне с новой стороны. Возможно, он тоже испытывал некоторое беспокойство. Мне, конечно, хотелось думать, что, услышав о задержании Рида в Христиании, Ленин пожалел, что не поговорил с ним лично, и этим объясняется его неожиданный интерес к другому американцу. Не знаю, каковы были истинные причины, только Ленин предложил сначала Борису Рейнштейну, а потом и мне организовать небольшой кружок из пяти-шести человек для изучения марксизма.

— Вы, кажется, имеете уже некоторое представление о нашем языке, нашем народе и нашей революции,—сказал он мне однажды мимоходом. — А как насчет теории революции, идей, которые за ней стоят? А что, если вам собрать вокруг себя несколько человек, которые смогли бы уделить пару часов два-три раза в неделю на изучение Маркса? — И добавил: — Если вы захотите, я мог бы приходить к вам иногда посмотреть, как идут дела.

Мне казалось невероятным, чтобы он мог серьезно думать о возможности выкроить несколько часов в неделю на занятия с полдюжиной учеников, когда перед ним стояли такие проблемы, перед которыми отступили бы десять глав государств. Однако дня через два я узнал, что он, прежде чем говорить со мной, обсуждал этот вопрос с Рейнштейном, а после нашего разговора опять интересовался, какой отклик встретило его предложение.

Спустя шесть лет, в 1924 году, я пытался объяснить сестре Ленина Анне Ильиничне, почему я упустил возможность изучать Маркса под руководством Ленина. У него и без того было столько забот, что под их тяжестью мог сломиться любой смертный, говорил я. Как же я мог со спокойной совестью взваливать на него еще одну заботу? Но Анна Ильинична, так же как прежде Рейнштейн, не видела ничего необычного в ленинском предложении. «Для него это было бы не заботой, а отдыхом, — ответила она. — Вы совершенно напрасно переживали на этот счет. Занятия с группой дали бы Ильичу приятную возможность отвлечься от всяких забот и проблем, так как, кроме всего прочего, он страстно любил передавать свои знания другим».

Тем не менее я ответил Рейнштейну отрицательно. Может быть, в этом сказалась типично американская неприязнь к теории вообще, отчего сама идея марксистского кружка в разгар революции показалась мне абсолютно несвоевременной. Вполне возможно. Меня поразила тогда эта особенная русская вера в первостепенную важность учения даже в момент, когда оставались еще не решенными основные вопросы революции, вплоть до вопроса о ее существовании. Россия, смертельно усталая и голодная, стояла на краю гибели.

— Не мог бы Ленин подождать по крайней мере до окончания кризиса?—воинственно спросил я Рейнштейна, когда он как-то снова завел разговор о кружке.

— Да, видишь ли, — ответил он, — мы еще долго будем в состоянии того или иного кризиса.

Ленин, вероятно, предупредил Рейнштейна, что ко мне нужен терпеливый и осторожный подход, так как все разговоры на эту тему поднимались как бы между прочим. Деликатность и чуткость Ленина позволили ему быть снисходительным к ошибкам, слабостям и сомнениям человека, если этот человек был честен. Очевидно, это распространялось и на малозаметного американского журналиста-социалиста, даже когда Ленин настойчиво добивался от Рейнштейна, чтобы тот уговорил меня заниматься.

Однажды я спросил Рейнштейна, почему такой интерес именно ко мне, ведь есть же много других, которым это нужно. Борис в растерянности опустил глаза, потом посмотрел на меня, улыбнулся и мягко сказал:

— Товарищ Ленин думает, что тебе, возможно, недостает полного понимания теории и тактики большевизма. — И, помолчав немного, стал объяснять, что всякий интеллигент, связавший себя с борьбой рабочего класса, подвержен разным слабостям и колебаниям, если не имеет прочной теоретической базы. — Это, конечно, мое личное объяснение, — поспешно добавил он. — Просто Ленин в разговорах с тобой почувствовал... обнаружил у тебя кое-какие пробелы в...

Я рассмеялся, похлопал его по плечу и заверил, что я нисколько не обижаюсь и он может не выбирать слов. Ленин более чем прав.

— У меня самое поверхностное представление о марксизме. Возможно, я знаю больше рядового члена

Социалистической партии Америки, но это ровным счетом ничего не значит.

И все-таки я опять не дал Борису положительного ответа. Этим дело и кончилось.

Ни в беседах, которые вел со мной Рейнштейн, ни в двух разговорах с Лениным по поводу занятий марксизмом ни разу не всплывало какое-нибудь другое имя. Если бы я согласился, пригласили бы еще несколько человек. В то время мне и в голову не могло прийти, что моя персона была настолько важна. Но, очевидно, Ленину, проявлявшему неизменный интерес к Америке, было очень важно, чтобы я занимался в этом кружке.

Как бы там ни было, я лишний раз убедился в том, что Ленин делами показывал людям, что думает и заботится о них. В 1907 году в Лондоне он проверял, не сырые ли простыни в номере у Горького, зная, что у того слабые легкие. Когда он увидел, что мне не хватает знания русского языка, он пришел мне на помощь, а потом дал совет, как побыстрей его выучить; он проявил интерес к нашей работе в бюро пропаганды; а теперь он увидел, что мне не хватает теоретической подготовки.

Однако меня как корреспондента интересовали не теория и формулы революции. Я присутствовал при ее рождении. Я видел, как пробудился ото сна веками дремавший народ-гигант, видел, как поднялись обездоленные и униженные, видел могучую поступь масс. Я хотел писать о непобедимом духе революционного народа и прежде всего о том, что мне казалось невероятным, — о новом взлете революционного пламени, последовавшем за агонией и позором Брест-Литовска, когда была организована Красная Армия и Ленин бросил в бой лучшие силы партии — молодых большевиков.

К чему мне было узнавать, какая наука стояла за этим? Мне достаточно было того, что я видел и о чем хотел рассказать своему народу. В последующие годы, когда мои друзья узнали, что я упустил возможность заниматься под руководством Ленина, мне пришлось выдержать самую резкую и суровую критику. Наверное, мои критики были правы. Однако Ленин был ко мне добрее; в личных вопросах он никогда не выступал судьей других. Он был самым цивилизованным и гуманным человеком, какого я когда-либо встречал, и если внимание к другому есть вежливость, то и самым вежливым.

На I и III съездах Советов я был скорее участником, чем репортером. На IV — не был ни тем, ни другим. И этому я был очень рад — никогда я не чувствовал себя менее подходящим к роли репортера. IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов, открывшийся в Москве 14 марта 1918 года — через два дня после переезда правительства в старую столицу, — созывался ради решения одного-единственного вопроса. На приветствия от международного пролетариата времени не было, чему я также был рад. В тот момент я не испытывал особой гордости за этот пролетариат.

Теперь я был бойцом Интернационального отряда, но сидел все-таки вместе с репортерами на балконе для прессы и смотрел вниз, в зал бывшего Дворянского собрания, где среди величественных мраморных колонн, отражавших свет роскошных хрустальных люстр, разворачивалось последнее действие брест-литовской драмы.

На съезде было несколько оппозиционных групп, каждая предлагала свое решение вопроса, у каждой была заготовлена своя резолюция и каждая считала ратификацию мирного договора невозможной. На Ленина нападали с разных сторон, не стесняясь в выражениях, и, наверное, больнее всего ему было слышать нападки старого товарища по борьбе Мартова, который, выступая главным оратором от меньшевиков, в частности, сказал: «Если этот договор будет ратифицирован, российский пролетариат начнет войну против правительства. Этот договор — начало раздела России... По договору мы обязуемся не проводить никакой пропаганды в странах Центральной Европы. Я поздравляю Ленина. Теперь он находится под защитой не только Красной гвардии, но и кайзера Вильгельма. Совет Народных Комиссаров должен уйти в отставку, уступив место правительству, способному порвать этот документ и продолжать войну против империализма».

Наблюдая за делегатами, я пытался выяснить их реакцию и определить по одежде, откуда они прибыли. Я совсем не был уверен, что Ленин победит: слишком сильны были чувства протеста против условий Брестского мира. Однако я заметил, что особенно сильны они были среди профессиональных революционеров: именно от них исходили обвинения в предательстве, и они боль-

ше других проявляли заботу о реакции международного пролетариата. Может быть, Ленин все-таки окажется прав в оценке того, что хочет народ? Дебаты длились целых три дня. 17-го нужно было дать ответ, и, если съезд не ратифицирует договор, немцы возобновят военные действия. Здесь собрались делегаты не только из центральных частей России, но и из самых отдаленных провинций. Им предстояло решить: принять ли договор и тем самым согласиться на расчленение России немцами, или отвергнуть подписанный правительством мир. На съезде присутствовало 1160 делегатов с решающим голосом (по другим подсчетам 1172) и 80 человек с совещательным *. Как непохожа была атмосфера этого съезда на боевой оптимизм предыдущего! И как изменились с тех пор обстоятельства!

Россия сокращалась не по дням, а по часам. Конечно, в определенном смысле сокращение началось сразу же после Октябрьской революции, когда было провозглашено равенство всех наций и право народов России на самоопределение, вплоть до отделения. В декабре Совнарком признал независимость Финляндии. Но созданное там антибольшевистское правительство начало кровавую расправу над революционными финскими рабочими, белогвардейская армия генерала Маннергейма с помощью немцев ликвидировала последние оплоты Красной гвардии и подавила сопротивление финского пролетариата. Финляндия была потеряна. Брестский договор требовал передачи Польши, Литвы, части Латвии и Эстонии в распоряжение Германии и Австро-Венгрии. В дальнейшем Германия оккупировала большую часть Белоруссии и всю Украину. А когда русская делегация после целого ряда осложнений в пути прибыла наконец в Брест, чтобы с болью в сердце подписать этот договор, ее ожидало еще одно унижение: надо было отказаться в пользу Оттоманской империи от части Грузии — Карской области, Ардагана и Батума. Таким образом, в результате аннексии и агрессии Германии территория России уменьшалась на 1 миллион 267 тысяч квадратных миль, то есть она теряла 32 процента обрабатываемых земель и 75 процентов угольных и железорудных районов. На этих отрезанных территориях про-

* На Чрезвычайном IV съезде Советов присутствовало 1204 делегата.

живало 62 миллиона человек. Как писал потом один историк, «таков был печальный конец участия России в войне, в которой она к тому же потеряла 2 миллиона солдат убитыми, свыше 4 миллионов ранеными и около 2,5 миллиона пленными».

* * *

В своей книге о Ленине Эдмунд Уилсон, рассказывая о расколе социал-демократической партии после II съезда, писал: «В ленинской полемике... того периода нет ни ядовитости, ни личных выпадов. Как борец он был непримирим, но как человек — прежде всего добродушен». Исходя из всего, что я знаю о Ленине, я могу подтвердить, что это правда. На все эмоциональные взрывы и оскорбления со стороны оппонентов он всегда отвечал по существу дела, не касаясь личностей, на самом высшем уровне убедительности.

Вот и сейчас, на IV съезде, он говорил в таком же тоне. Ни одного упрека не бросил он в адрес товарищей по руководству, которые своим упорным сопротивлением договору дали немцам возможность продиктовать еще более жесткие условия. Еще 11 марта он писал в «Известиях»: «История человечества проделывает в наши дни один из самых великих, самых трудных поворотов, имеющих необъятное — без малейшего преувеличения можно сказать: всемирно-освободительное — значение...» и «...неудивительно, что на самых крутых пунктах столь крутого поворота, когда кругом с страшным шумом и треском надламывается и разваливается старое, а рядом в неописуемых муках рождается новое, кое у кого кружится голова, кое-кем овладевает отчаяние, кое-кто ищет спасения от слишком горькой подчас действительности под сенью красивой, увлекательной фразы... Не надо самообманов. Надо иметь мужество глядеть прямо в лицо неприкрашенной горькой правде. Надо измерить целиком, до дна, всю ту пропасть поражения, расчленения, порабощения, унижения, в которую нас теперь толкнули» *.

Теперь на съезде он говорил, что основа разногласий в среде советских партий заключается в том, что «...некоторые слишком поддаются чувству законного и спра-

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, с. 78, 79.

ведливого негодования по поводу поражения Советской республики империализмом, слишком поддаются иногда отчаянию и... пытаются ответить относительно тактики революции на основании непосредственного чувства» *.

Ленин и словом не обмолвился ни о том, как близко было руководство большевистской партии к принятию иного, чем он предлагал, решения, ни о том, что на проходившем 6—8 марта в Петрограде VII съезде партии раздавались возгласы «предательство», «соглашатели». На съезде партии победили все-таки ленинцы. А теперь, кроме левых большевиков, возглавляемых Бухариным, который, несмотря на решение съезда, все еще ставил палки в колеса, надо было еще убедить левых эсеров. Среди делегатов с решающим голосом было 795 большевиков, 283 левых эсера, 14 анархистов, 3 украинских эсера, 24 максималиста, 25 эсеров-центристов, 11 меньшевиков-интернационалистов (группа Мартова), 6 объединенных меньшевиков, 21 просто меньшевик и 17 беспартийных.

Сравнивая Брестский мир с Тильзитским, навязанным немецкому народу Наполеоном, Ленин говорил, что немцам тогда было еще тяжелее, чем нам теперь; они были слабым и отсталым народом, но этот народ сумел научиться на горьких уроках и подняться. Дальше он сказал фразу, которая меня очень взволновала: «Мы в лучшем положении: мы не только слабый и не только отсталый народ, мы тот народ, который сумел, — не благодаря особым заслугам или историческим предначертаниям, а благодаря особому сцеплению исторических обстоятельств, — сумел взять на себя честь поднять знамя международной социалистической революции» **. В конце своей речи Ленин сказал, что, хотя у них и есть величайший союзник — международный социалистический пролетариат, этому союзнику нелегко поднять свой голос, этот союзник живет в подполье, «...поэтому советским войскам нужно много времени и много терпения и тяжелых испытаний», чтобы дождаться этой помощи. «...Мы будем сберегать малейшие шансы на то, чтобы оттянуть время, ибо время работает за нас... Мы начинаем тактику отступления... и мы сумеем не только геро-

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, с. 92.
** Там же, с. 109.

ически наступать, а и героически отступать и подождем, когда международный социалистический пролетариат придет на помощь...» *

Мне вдруг впервые пришло в голову, что не только Восков, Петерс, Луначарский и другие знакомые большевики не были уверены, что удастся выдержать, но и сам Ленин не был в этом уверен. Старая армия полностью разложилась, новую еще надо было создать. Советы могут быть уничтожены, прежде чем начнется революционная война. Для оптимизма не осталось места. Даже буржуазные корреспонденты, заразившись настроением зала, выглядели мрачными и озабоченными. После выступления Ленина прения разгорелись с еще большей силой.

* * *

Все эти дни в залах и кулуарах съезда маячила знакомая фигура полковника Робинса. То он привидением бродил взад и вперед по коридору, то, сидя вплотную к трибуне, горящими глазами впивался в очередного оратора. Большинство дипломатов и служащих союзных посольств, сбившись от страха в кучу, притаились в далекой Вологде. Иностранцев на съезде почти не было, и Робинс торчал у всех на виду, как большая мозоль.

Я в то время не знал ничего определенного о вопросах Советского правительства, переданных, как рассчитывал Робинс, лично президенту Вильсону, а Робинс не знал, что они попали в Вашингтон с большим опозданием и в изуродованном виде **. Я поймал себя на том,

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, с. 111.

** Здесь, возможно, имеется в виду нота Советского правительства, направленная 5 марта 1918 г. правительству США, с помощью которой оно хотело выяснить, можно ли рассчитывать на поддержку США, Англии и Франции, если съезд Советов откажется ратифицировать договор о мире и если Германия, нарушив Брестский мир, возобновит военные действия. Правительство США не дало ответа на советскую ноту. Но 11 марта Вильсон направил телеграммой обращение IV Чрезвычайному съезду Советов, которое Робинс передал Ленину. Американское правительство сообщало, что оно не в состоянии оказать России непосредственную и деятельную поддержку. В то же время оно уверяло русский народ в своем стремлении обеспечить России снова полный суверенитет, независимость и восстановление ее великой роли в жизни Европы и всего челове-

что впервые так внимательно изучаю лицо Робинса. Мне, конечно, было известно, что он даже сейчас всей душой надеется на отклонение Брестского договора, хотя еще в феврале, когда дебаты вокруг мирных переговоров только начались, он сам мне сказал, что идея мира встретит огромную и безоговорочную поддержку среди крестьян и что только для интеллектуалов этот вопрос представляется таким сложным.

Робинсу с большим трудом удалось добиться доверия Ленина и других большевиков, и он был единственным человеком, который давал американскому правительству объективную информацию о России на протяжении почти всего послеоктябрьского периода. Однако все это время и американское правительство, и союзники занимали такую позицию, будто того правительства, с которым Робинс так тесно общался, не существовало в природе.

Робинс не мог даже иметь прямую связь со своим правительством. Чтобы послать телеграмму в Вашингтон, ему приходилось долго обрабатывать Фрэнсиса (телеграммы могли идти только за подписью посла), и часто, изложив точку зрения Робинса, Фрэнсис добавлял свои, совершенно противоположные выводы.

Я знал, что ратификация договора будет для Робинса горьким разочарованием, но в его лице и во всем его поведении я видел сейчас нечто большее, чем предчувствие неудачи. И пытался угадать, что его мучит. Мне захотелось подойти к нему и поговорить, но я удержался. Робинс был не из тех людей, которые делятся своими неприятностями.

Кое о чем я мог догадаться, когда стали читать телеграфное послание съезду от президента Вильсона. Но, очевидно, не только это угнетало Робинса.

Вильсон был первым из глав Антанты, кто обратился непосредственно к народу России. С одержимостью «мессианских» натур он хотел взывать только к народу, но в своем ослеплении не понимал, что, обращаясь к нему через съезд Советов, созванный народным правительством, он тем самым обращался к высшему органу власти в России.

чества. Лицемерное послание президента США имело целью поддержать противников мира с Германией и помешать ратификации договора съездом. 14 марта съезд принял резолюцию по поводу обращения Вильсона (см. следующую стр.).

Со времени Парижской коммуны это было, пожалуй, самое зрелое в политическом отношении собрание представителей народа, взявшего власть в свои руки. Делегаты рабочих и крестьян всей России — от Одессы до Мурманска, от Владивостока и Иркутска до западных границ страны — спокойно выслушали короткое послание президента. Единственные слова, имевшие для них какой-либо смысл — а в нем они очень быстро разобрались, — были: «Правительство Соединенных Штатов в настоящий момент, к сожалению, не в состоянии оказать прямую и эффективную помощь, которую оно желало бы оказать...» Все остальные фразы о возможной помощи в будущем, о восстановлении «великой роли» России среди других народов и т. д. оставили их совершенно равнодушными. У Ленина был заготовлен проект резолюции. Свердлов быстро прочел его делегатам и сказал, что принимает их аплодисменты (довольно жидкие) за согласие послать этот ответ от имени съезда. В ответе говорилось:

«Съезд выражает свою признательность американскому народу и в первую голову трудящимся и эксплуатируемым классам Северо-Американских Соединенных Штатов по поводу выражения президентом Вильсоном своего сочувствия русскому народу, через съезд Советов, в те дни, когда Советская социалистическая республика России переживает тяжелые испытания.

Ставши нейтральной страной, Российская Советская республика пользуется обращением к ней президента Вильсона, чтобы выразить всем народам, гибнущим и страдающим от ужасов империалистской войны, свое горячее сочувствие и твердую уверенность, что недалеко то счастливое время, когда трудящиеся массы всех буржуазных стран свергнут иго капитала и установят социалистическое устройство общества, единственно способное обеспечить прочный и справедливый мир, а равно культуру и благосостояние всех трудящихся» *.

Покончив с этим делом, делегаты сразу же вернулись к тому, что сейчас их больше всего волновало, — к мирному договору. И я забыл про Вильсона.

Голосование состоялось поздно ночью 15 марта. За «разбойничий мир», как его часто называл Ленин, проголосовало 784 человека, против — 261, воздержалось —

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, с. 91.

115. Среди воздержавшихся был Бухарин и его группа революционной войны.

Во время дебатов казалось, что Ленин был почти в одиночестве, по результатам голосования он победил с соотношением более чем два к одному. В такой ситуации победа была внушительной. Надолго или нет, но народ получил «передышку», в которой он так нуждался. Еще раз подтвердилась гениальная способность Ленина читать мысли народа и понимать, чего он хочет.

* * *

Незадолго до голосования я видел (да и все в зале могли это видеть), как Ленин с Робинсом обменялись несколькими фразами. Ленин подозвал к себе Робинса, а когда тот подошел, улыбнулся ему и о чем-то спросил. Улыбка его была чуть-чуть насмешливой, но вместе с тем ободряющей. Он смотрел на Робинса, слегка склонив голову набок, как он обычно делал, слушая собеседника. Лицо Робинса я не видел: он стоял ко мне спиной. Когда, закончив разговор, Робинс возвращался на место, Ленин уже без улыбки проводил его взглядом, в котором, как мне показалось, промелькнуло сострадание, потом лицо его приняло выражение твердой решимости и он направился к трибуне.

Даже не зная содержания этого разговора, я не сомневался, что Робинс в тот день получил двойной удар, — и тот, который он совершенно неожиданно получил от своего собственного правительства, ранил его в самое сердце. Я наблюдал, как он вместе с Гамбергом выходил из зала после закрытия съезда: гордый, глубоко чувствующий человек, утративший иллюзии, но далеко еще не сломленный. Это было начало его личного Брест-Литовска...

Меня тогда волновало другое обстоятельство: в выступлениях Ленина на съезде я опять не услышал ни одного резкого слова по адресу Вильсона или Соединенных Штатов. Да и в других речах Ленина в тот период не упоминалась Америка. Я уже говорил, с каким вниманием изучал ленинские статьи в «Правде» перед тем, как вступить в Интернациональный отряд. Частым гребнем прочесывал я эти статьи, недоумевая — а где же Америка? Ленин бросал суровые обвинения империали-

стам вообще или говорил об англо-французских разбойниках, но Соединенные Штаты не называл.

Этому была причина: и дело не только в Робинсе, хотя, несомненно, в своих контактах с иностранными представителями Ленин предпочитал Робинса Локкарту. Главная же причина в том, что Соединенные Штаты не были тогда старшим братом Британской империи. По сравнению с Францией и Великобританией Америка была младшим партнером в империалистическом бизнесе. Более того, США имели все основания бояться Японии на Тихом океане, а Ленин поэтому имел некоторые основания считать, что из всех стран Антанты Америка в последнюю очередь захочет смириться с японской интервенцией.

Как писали на следующий день «Известия», Америка в своих собственных государственных интересах может в один прекрасный день «дать нам деньги, оружие, паровозы, машины, инструкторов, инженеров и т. д., чтобы помочь нам преодолеть разруху и создать новую сильную армию». Эта статья заканчивалась словами совсем в ленинском духе: «Мы убеждены, что самая последовательная социалистическая политика может сочетаться с самым трезвым реализмом и с самой уравновешенной практичностью».

К сожалению, к тому, что газета считала «государственными интересами» Америки, президент Вильсон проявлял наибольшую неуверенность, если он вообще имел о них правильное представление. И дело не в том, что его держали в неведении — он умышленно избегал советов и информации, исходящих от людей, которых он считал сторонниками признания или хотя бы минимального сотрудничества с большевиками.

* * *

Съезд Советов закрылся, Брестский договор был ратифицирован, но Робинс не почувствовал себя ненужным. Это было ему несвойственно. Наоборот, он стал действовать еще энергичнее, ежедневно связывался по телеграфу с Фрэнсисом, добиваясь предотвращения японской агрессии в Сибири, встречался с Лениным и разрабатывал вместе с ним план американо-советского экономического сотрудничества.

Весь последующий период он делает все возможное,

чтобы Вашингтон не принял решение об интервенции, — конечно, это приходилось делать руками Фрэнсиса. 3 апреля он писал Уордуэллу *:

«У меня с послом полнейшее «взаимопонимание» и довольно активное сотрудничество, но наши отношения — «мир по необходимости» и напоминают брестскую ситуацию. Он продолжает использовать меня как посредника между двумя правительствами, за что взамен я ежедневно получаю от него конфиденциальную информацию. И все-таки я знаю, что, если бы мы стояли над пропастью и он мог бы себе позволить отделаться от меня, с каким облегчением столкнул бы он меня вниз».

Как-то раз, засидевшись до полуночи над своими заметками, я вышел из гостиницы размяться и подышать свежим воздухом. Ночь была сравнительно теплой, небо покрыто тучами. Не успел я отойти и сотни метров по пустынной, слабо освещенной Моховой, как услышал впереди чьи-то шаги и вскоре смог различить фигуры Ленина и Крупской, которые медленно рука об руку шли мне навстречу, возвращаясь в гостиницу.

Ленин меня тотчас узнал и после обычных приветствий на мой вопрос: «Как вы поживаете, товарищ Ленин?» — ответил:

— Сегодня немного устал, должен признаться. Слишком долго заседали! Слишком много было ораторов!

— И слишком много разговоров после заседания, и слишком много рукопожатий, — с улыбкой добавила Крупская.

Тем не менее он был в своем обычном хорошем расположении духа. Не спрашивая согласия, я пошел рядом с ним. Ленин стал интересоваться моими делами и самочувствием. И хотя я немного нервничал, все-таки успел, пока мы не дошли до подъезда, вспомнить и рассказать несколько забавных эпизодов, которые заставили Ленина от души хохотать. Когда мы дошли до двери их номера, Ленин спросил, не хочу ли я зайти в гости, но я поблагодарил и пошел дальше по коридору в свою комнату. Я вдруг подумал о том, как должен чувствовать себя человек, которому поручили бы охра-

* А. Уордуэлл — майор, член американской миссии Красного Креста, которую он возглавлял после Робинса с мая по октябрь 1918 г.

нять Ленина, если, конечно, большевикам когда-нибудь удастся доказать ему, что он нуждается в телохранителе. Какая огромная ответственность ляжет на этого человека!

Встретившись на следующий день с Робинсом, я рассказал ему об этой прогулке. Как, воскликнул Робинс, ведь в центре по ночам шляется столько разного сброда, в том числе любящие ночную жизнь иностранцы, которых он, к сожалению, слишком хорошо знает! Встревоженный моим сообщением, он пытался убедить меня немедленно идти к Ленину и выразить протест по поводу его одиноких прогулок. Я объяснил, что не имею никакого влияния на Ленина, и оставил его в раздумье над разрешением этой задачи. Он говорил потом с Петерсом, и тот даже спросил у меня: неужели Робинс «так искренне» этим озабочен? Я заверил его, что именно так.

Робинс хорошо знал жизнь, знал законы всех общественных стихий и понимал, сколько людей может замышлять убийство Ленина. Большевики знали это только в теории. Очевидно, никто из них, включая Петерса, проявившего излишнюю настороженность к Робинсу, по-настоящему не пытался убедить Ленина в том, что безопасность революции требовала безопасности ее руководителя и что он поступает опрометчиво, появляясь повсюду без охраны.

Незадолго до моего отъезда из Москвы Робинс все-таки высказал Ленину все, что думает по этому поводу, и обратил, в частности, внимание на опасность, которую представляют анархисты. Вскоре был отдан приказ об аресте всех известных главарей анархистских банд и ликвидации нелегальных кабаре на городских окраинах.

Но в тот момент перед большевиками было столько неотложных дел и гораздо более острых проблем, чем проблема личной безопасности, что до нее все руки не доходили. Трагическое упущение! Правда, за изоляцию от народа тоже приходится расплачиваться. А для Ленина такая изоляция была невыносима. Он хотел знать, что нужно народу, говорить с людьми, выслушивать их жалобы, принимать петиции.

Отсутствие охраны и привело к тому, что он был ранен двумя пулями 30 августа 1918 года. От последствий этого ранения он так полностью и не оправился.

ПРОЩАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА С ЛЕНИНЫМ

Был конец апреля, таял снег, и в воздухе пахло весной. Каждую неделю я собирался поехать в деревню, но дела Интернационального отряда не отпускали меня из Москвы. Немцы оккупировали Украину, белые, поощряемые союзниками, формировали на Кавказе новую армию. Им давали золото и обещали открытую интервенцию. Города голодали, в деревне было неспокойно. Опытных кадров большевиков на всю страну не хватало. В Мурманске и Архангельске высадились английские и французские войска, а потом и американские, которые якобы охраняли от немцев военное имущество. Однако главная угроза шла с Дальнего Востока, и именно туда мы отправились с «профессором» Кунцем — наш путь на родину лежал через Владивосток...

Мне уже было известно о предательской роли союзнических представителей, которые, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, всячески подстрекали контрреволюционные силы к мятежу. И только вид широкоплечей фигуры Робинса, выходящего из Кремля в своем мундире полковника американского Красного Креста, давал мне некоторую уверенность, что моя страна не выступит на стороне белых генералов. Впрочем, кто знает, что делалось за его спиной. Во всяком случае, он продолжал обсуждать с Лениным и Чичериным вопрос об угрозе японской агрессии и прилагал все усилия к тому, чтобы с помощью посла Фрэнсиса — по крайней мере, он на эту помощь рассчитывал — добиться от президента Вильсона выступления против японской интервенции.

Чем сильнее пахло весной, тем больше мне хотелось отправиться не во Владивосток и не в Америку, а в провинцию, в деревню. Там лежал ответ на самый кардинальный вопрос: выживут ли Советы? Однако стремление сделать что-нибудь на родине для предотвращения интервенции отодвинуло на второй план все остальные замыслы. Я все-таки решил ехать домой, отказавшись от своего красноармейского жалованья — целых 60 рублей в месяц, — предоставив Интернациональному отряду действовать без нас с Кунцем.

Не имея уже времени самому съездить в провинцию, я старался выяснить как можно больше у всех,

кто там побывал. Яркую картину общей неразберихи дал мне, в частности, корреспондент «Манчестер гардиан» Филлипс Прайс, который несколько недель изучал обстановку в деревне и вернулся оттуда крайне обеспокоенным. Прайс был великолепным журналистом и так же, как Рансом, во многом придерживался взглядов, не расходящихся с моими. Его тоже глубоко тревожили надвигавшиеся тучи интервенции.

Он объездил несколько губерний и нашел там полнейший хаос и анархию. Ленин настаивал, чтобы по крайней мере один пункт Брестского договора (в отношении остальных он был менее требователен) выполнялся неукоснительно, — чтобы красные партизаны не нападали на немецкие войска. Получив приказ распустить отряды и разойтись по домам, некоторые партизаны хотя и с неохотой и с недовольством, но подчинились, другие же отказывались прекратить борьбу и, пользуясь симпатией и поддержкой части крестьян, продолжали воевать с немцами, которые постепенно забирали в свои руки власть даже там, где сами же до этого восстановили власть рады. В партизанских отрядах было много и большевиков, и они, одержав победу над радой в январе и феврале, не хотели добровольно отступать. Были и такие отряды, где верх взяли анархистские элементы, открыто поставившие себя вне закона. Они останавливали поезда, бесцеремонно высаживали пассажиров и заставляли машинистов везти их туда, куда им надо было.

Новый закон о земле, введенный в действие 19 февраля, ровно через 57 лет после отмены крепостного права, начал кое-где уже проводиться в жизнь, особенно в бедных деревнях и волостях, где большинство крестьян-бедняков на основании этого закона создавали новые земельные комитеты или преобразовывали старые, и эти комитеты становились частью местной Советской власти. Однако во многих местах, сказал Прайс, земельные комитеты оставались в руках правых эсеров. А левые эсеры, выступая под маской патриотизма и прикрываясь ненавистью к немцам, разжигали среди крестьян оппозицию к большевикам. Во всех случаях их истинной целью была защита своих мелкобуржуазных сторонников от растущей организованности бедного крестьянства, руководимого большевиками.

В некоторых районах землю расхватали еще до Октябрьской революции, причем, конечно, кто был ловчее, тот побольше и захватил, поэтому крестьянским комитетам мало что осталось распределять. Безземельные и малоземельные крестьяне, вынужденные батрачить на более богатых, начали объединяться.

Деревня созрела для «второй революции», которую предвидел Ленин.

В апреле в деревне появились первые продотряды городских рабочих. Они привезли текстиль, лопаты и другие промышленные товары, чтобы обменять их на хлеб. Однако трудовые крестьяне, приветствовавшие Советскую власть за то, что она узаконила захват земли и подтвердила их право на нее, теперь, добившись своей главной цели, встретили продотряды враждебно. Приветствия и товары были приняты, а самих рабочих выгнали с пустыми руками. «Слишком дорого обойдется землица, если Советы будут отбирать то, что мы на ней вырастим», — говорили не только кулаки, но и середняки. Ряды середняков значительно выросли и за счет захвата земель, и за счет грабежа помещичьих усадеб летом 1917 года. Однако даже в апреле в некоторых местах, как писалось в газетах, беднякам удалось создать сильные земельные комитеты и произвести передел земли. Середнякам в некоторых случаях пришлось даже часть земли уступить беднякам. Но кулаки оказались более твердым орешком, а объединение деревенской бедноты и полупролетариев еще только начиналось. Скрытое недовольство вскоре перейдет в открытые кулацкие мятежи.

Я не мог согласиться с Прайсом, что ситуация действительно выглядела мрачно. В своей книге «Воспоминание о русской революции», в главе, посвященной этому периоду, Прайс писал:

«Дух мятежа по-прежнему бушевал по всей стране. Не было больше ни помещиков, ни банкиров-кадетов, но оставались немцы, для которых договор был «клочком бумаги», и советские комиссары в Петрограде и Москве. Последние представляла власть, и всякая власть в те дни была анафемской. Вулканическое пламя, веками тлеющее под поверхностью, вырвалось наружу. Примитивная жажда мести классовым угнетателям была настолько сильной, что не останавливалась ни перед чем... Однако чрезвычайно важно понять, что

эти символы мятежа были одновременно символами той самой недисциплинированности, против которой большевикам пришлось начать беспощадную борьбу».

Казалось, не было конца осложнениям, встававшим на пути этой первой пролетарской республики!

Ленин настойчиво придерживался теории, выработанной им еще в 1905 году! Для успеха революции необходимы два фактора, первый из них — союз рабочего класса и крестьянства. Этот союз прошел первую стадию, когда рабочие вместе со всем крестьянством свергли власть помещиков. Теперь наступила вторая стадия — рабочие вместе с беднейшим крестьянством должны начать борьбу против кулака. К лету и осени необходимость этой борьбы станет особенно актуальной, а позже в деревне развернутся жестокие классовые битвы.

А как обстоит дело со вторым фактором? С поддержкой международного пролетариата? Не забыл ли Ленин про этот фактор? Нет, он все еще упоминал о нем даже в августе. В «Письме американским рабочим» он писал, например: «Мы находимся как бы в осажденной крепости...» — но он знал, что передовые рабочие других стран придут на помощь, поэтому с уверенностью утверждал: «Одним словом, мы непобедимы, ибо непобедима всемирная пролетарская революция» *. Должен признаться, что, думая о доме и представляя себе свою будущую аудиторию, я меньше всего имел тогда в виду американский пролетариат. (Как потом оказалось, моими слушателями были люди самых различных социальных слоев: священники и бизнесмены, рабочие и интеллигенты, но среди двух миллионов американцев, купивших мою маленькую книжицу **, подавляющее большинство были, конечно, рабочие.)

Враги Октябрьской революции, презрительно пожимая плечами, заявляли, что Советская власть не продержится и нескольких дней, потом они начали говорить о нескольких неделях. К апрелю 1918 года даже кое-кто из большевиков, по крайней мере из тех, с кем я

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, с. 64.

** Albert Rhys Williams. 76 Questions and Answers on the Bolsheviks and the Soviets. New York. 1919.

беседовал на эту тему, в глубине души опасался, что их период власти будет коротким. При этом, однако, они не считали свою борьбу напрасной. Даже если они потерпят поражение, все равно их опыт был огромной победой. Подобно Парижской коммуне, Советская власть станет источником, из которого человечество будет черпать опыт при своей следующей попытке построить социалистическое общество. Брестский договор дал им отсрочку, но зловещие действия Антанты ставили под угрозу даже эту короткую передышку.

Луначарский, который выглядел в эти дни более мрачным, чем когда бы то ни было, сказал: «Нам, может быть, придется оставить Москву, но, если перед уходом мы и хлопнем дверью, мы все равно вернемся назад!»

Робинс бомбардировал Фрэнсиса телеграммами в надежде, что Вашингтон изменит свое отношение к японской интервенции. Он предупреждал, что ненависть к японцам объединит все враждующие сейчас между собой силы, и указывал на более выгодный для самой Америки выход — признание Советской власти. Мне он сказал, что, по его мнению, без американской помощи большевики обречены:

— Что ж, они сделали все, что могли. Ваша задача теперь оправдать их перед историей. Как, впрочем, и моя.

— Нет, полковник, эта работа мне не по душе, — ответил я. — Я хочу, чтобы они сами делали историю. Меня не интересует посмертное выяснение причин их гибели. Ее надо предотвратить.

Я тогда, конечно, не знал, что Вильсон уже принял решение. И русскому народу, который не хотел никакой войны (и в октябре пошел за большевиками, в частности, и потому, что все остальные партии не смогли дать ему мира), — этому народу так и не суждено было тогда пожить хоть немного без войны. Снова надо было проливать кровь, умирать и убивать...

Не могу точно назвать дату нашего отъезда из Москвы. Помню, как за несколько дней до отъезда я рассказал Кунцу о настроениях среди некоторых товарищей, к которым я приходил прощаться. Сам я чувствовал себя усталым, подавленным и мучился сознанием какой-то вины. Мне казалось, будто я бегу с поля боя. Кунц реагировал с необычной для него резкостью. Он

напомнил, как сразу же после Октября многие ожидали немедленного построения социализма. Но был человек, который понимал, что это сразу невозможно. И прежде чем отправиться домой, мы увидим этого человека, добавил «профессор», уже улыбаясь.

— Ленина? — спросил я с сомнением. Ведь я помнил, как доказывал Кунцу, что мы не имеем права отнимать у Ленина время и претендовать на прощальную встречу.

— Да, Ленина, — ответил «профессор» как ни в чем не бывало. — Все уже устроено.

Оказывается, он звонил в Кремль и разговаривал с секретарем Ленина. Ответ был дан сразу же: «Он может уделить вам не более пяти минут». Был назначен день приема. Вечером того дня мы уезжали из Москвы.

Наша беседа с Лениным началась около десяти часов утра. Когда мы вышли из его кабинета, был полдень!

Мы прибыли в Кремль задолго до назначенного срока. Секретарь Ленина сказала нам, что он еще занят. Мы сели в приемной и стали ждать. Время шло, и нас начало разбирать любопытство: с кем это так долго беседует глава правительства? Наконец в дверях кабинета появились два посетителя, двое крестьян, типичных русских мужиков, миллионы которых можно было видеть по всей России. Одеты они были в старенькие овечьи полушубки, ноги обуты у одного в лапти, у другого в валенки.

Здороваясь с нами, Ленин продолжал улыбаться. Я убежден, что он позволил нам отнять у него так много времени главным образом потому, что крестьяне оставили его в самом хорошем расположении духа. Он извинился за то, что заставил нас ждать, и добавил: «У нас был очень интересный разговор по некоторым важным вопросам». Заложив руки за спину, он быстрым шагом прошелся несколько раз взад и вперед по комнате. Мы следовали взглядом за его плотной невысокой фигурой и крепко посаженной лысой головой с высоким, по меткому определению Горького, «сократовским» лбом. Ленин так и светился радостью. Крестьяне приехали из Тамбовской губернии, пояснил он, один из них — удивительно умный и хитрый старик, но и другого стоило послушать. Ленин был страшно доволен тем, что двое крестьян разоткровенничались с ним и выложили все свои обиды и жалобы. Он долго

и жадно расспрашивал их обо всем, что его волновало и что должно было волновать русских крестьян.

Теперь я знаю, что вскоре после этой встречи Ленин принимал делегата с Путиловского завода, который рассказал ему о страшном голоде в Петрограде. Через несколько дней, 24 мая, Ленин опубликовал в «Правде» письмо к питерским рабочим, озаглавленное «О голоде». Путиловец сказал, что от 40 тысяч рабочих завода осталось только 15 тысяч, «...но это — пролетарии, испытанные и закаленные в борьбе.

Вот такой-то авангард революции — и в Питере и во всей стране — должен кликнуть клич, — писал Ленин, — должен *подняться массой,* должен понять, что в его руках спасенье страны, что от него требуется героизм не меньший, чем в январе и октябре пятого, в феврале и октябре семнадцатого года, что надо организовать великий *«крестовый поход»* против спекулянтов хлебом, кулаков, мироедов, дезорганизаторов, взяточников, великий *«крестовый поход»* против нарушителей строжайшего государственного порядка в деле сбора, подвоза и распределения хлеба для людей...» *

Он призывал к «крестовому походу» во все концы страны для водворения порядка, для укрепления местных Советов, для надзора «за каждым пудом хлеба, за каждым пудом топлива». «Нужны десятки тысяч передовиков, закаленных пролетариев, настолько сознательных, чтобы разъяснить дело миллионам бедноты... и встать во главе этих миллионов...» **. Продовольственные отряды не новость, продолжал он и, основываясь, очевидно, на некоторых жалобах крестьян (возможно, кстати, и тех же тамбовских), ссылался на неправильное поведение отдельных отрядов в прошлом.

«Рабочий, став передовым вождем бедноты, не стал святым» ***, — писал он, подтверждая то, о чем рассказывал Прайс и с чем печально соглашался Петерс: не хватало не только закаленных большевиков, но и просто дисциплинированных красногвардейцев.

С тех пор прошло несколько десятков лет, и теперь, рассказывая о нашей долгой беседе, я, конечно,

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, с. 361—362.
** Там же, с. 362.
*** Там же, с. 364.

не претендую на точную передачу всех ленинских слов, за исключением цитат, опубликованных мной в ранних статьях и книгах. Факсимильная запись этого прощального интервью вместе с другими документами была отобрана у меня по возвращении на родину агентами военно-морской разведки и так и не возвращена. Восстанавливая в последующие годы эту запись по памяти, я в большинстве случаев просто излагал мысли, высказанные Лениным.

В беседе с нами, состоявшейся после разговора с тамбовскими крестьянами, Ленин откровенно сказал о серьезной проблеме безработицы в городах, о голоде. Голод для бедной России не новость, говорил он, но сейчас, когда большевики держат власть в своих руках, а у богатых крестьян амбары ломятся от зерна, голода быть не должно — этого терпеть никак нельзя. Употребляя свое любимое выражение, он сказал, что теперь «сама жизнь» заставит большевиков сделать то, что они должны были сделать еще в самом начале революции, — организовать комитеты деревенской бедноты.

Первые попытки в этом направлении были предприняты еще в январе (у меня даже сохранились пожелтевшие от времени листовки с инструкциями красногвардейцам, «идущим в народ», как когда-то шли в народ народники, и перевод этих инструкций, сделанный моим переводчиком, в самом возвышенном стиле), но события, связанные с брестским кризисом, на время прервали эту работу...

Все больше и больше рабочих железных батальонов должно отправиться в деревню. Таких же батальонов, какие боролись с белогвардейщиной и одержали над ней победу. Только их потребуется гораздо больше, чтобы повести беднейшее крестьянство на борьбу с кулаком. В процессе этой борьбы они выработают самодисциплину и преодолеют свои собственные недостатки и пороки. Я всегда с тех пор помнил, что Ленин, требуя от рабочих самого активного участия в управлении, не идеализировал их как людей. Какие же пороки он имел в виду? Неожиданное ощущение власти способствовало проявлению у рабочих мелкобуржуазной психологии, это выражается, например, в том, что они стремятся добыть хлеб для себя или только для своих заводов. Революция не рож-

дает чистые души за одну ночь; жадность и другие пороки не являются принадлежностью одной лишь буржуазии или спекулянтов и мешочников. Чтобы провести в жизнь великий социалистический принцип «Кто не работает, тот не ест», люди, которые его провозгласили, должны прежде всего сами проникнуться идеей труда для всего общества.

Разговор о деревне и крестьянах полностью захватил меня, мне хотелось задать еще несколько вопросов и, как прирожденному любителю поговорить, высказать свою точку зрения. Но прежде чем я успел вставить слово, Ленин окинул нас оценивающим взглядом и спросил, знаем ли мы, что такое Сибирь, и достаточно ли хорошо подготовились к длинной и трудной дороге. Его действительно волновало предстоящее нам путешествие. Подойдя к карте, он стал показывать наш маршрут. Глаза его загорелись, будто он сам собирается совершить эту поездку, и он, несомненно, с удовольствием бы ее совершил, если бы не был занят другими делами. Потом он снова спросил, все ли у нас есть, что нужно.

Я сказал, что везу с собой целый чемодан дневников, записей, документов, газет, листовок, экземпляров «Die Fackel», то есть материалы для будущей книги, и что я надеюсь благополучно довезти все это до Америки. «Профессор» Кунц, будучи настолько же непрактичным человеком, насколько Ленин практичным, только улыбнулся и пожал плечами, как бы говоря, что не видит ничего особенного в нашей поездке (мы ехали целых три недели). Поезд уходит сегодня вечером, сообщил он Ленину, и, если окажется, что мы ничего не забыли, это будет поистине «редким явлением в истории революции». При всех обстоятельствах, добавил «профессор», наше путешествие будет более удобным, чем поездка Ленина в 1897 году в дикую глушь Енисейского края. Ленин, откинув голову назад, расхохотался. С каким удовольствием он всегда смеялся!

Помнится, он подошел к окну, посмотрел на улицу, потом обернулся и с оживлением сказал:

— А вы знаете, это красивейший край. А какие там люди! Впрочем, вы сами увидите, когда познакомитесь с товарищами из Владивостокского Совета. Но имейте в виду, — продолжал он, обращаясь лично ко мне (возможно, потому, что моя деятельность

в большей степени, чем деятельность Кунца, должна была интересовать американское и другие посольства), — направляясь в Сибирь, вы направляетесь также в первый пункт интервенции Антанты. Японцы и англичане уже готовятся встретить вас там. Смотрите, как бы американские войска вас тоже не опередили Мой совет — постарайтесь добраться туда как можно скорее.

Я опешил.

— Вы, конечно, шутите! Ведь совсем недавно, когда я прощался с полковником Робинсом, он даже питал некоторые надежды, что Америка признает Советское правительство или, на худой конец, окажет ему какую-нибудь помощь, — запинаясь от растерянности, проговорил я.

— Видите ли, Робинс представляет либеральную часть американской буржуазии, а политику Америки определяет не либеральная буржуазия, а финансовый капитал. И этот финансовый капитал стремится захватить контроль над Сибирью.

Эту часть беседы я приводил в своей книге «Ленин — человек и его дело». Чтобы быть полностью справедливым к Робинсу, должен здесь сказать, что тогда, весной 1918 года, он не испытывал особой необходимости посвящать меня в свои дела или даже делиться своими мыслями, поэтому, когда он высказывал какие-нибудь надежды, я чувствовал, что это были лишь общие фразы, ничем реальным не подкрепленные. (Позже, уже в Америке, мы сошлись гораздо ближе, переписывались почти до самой его смерти; при этом он часто вспоминал в своих письмах Ленина, и я не раз бывал у него во флоридской усадьбе.) И все-таки Робинс оставался Робинсом, он боролся до самого конца, а я тогда не мог даже подозревать, что конец наступит так скоро. 25 апреля он написал прощальное письмо Ленину — корректное во всех деталях.

Короткий ответ Ленина был внешне так же корректным, но по существу язвительным. Примечательно, однако, что предложения о советско-американском экономическом сотрудничестве, которые были разработаны и которые Робинс должен был представить своему правительству, были отправлены Робинсу из Москвы в мае! Значит, Ленин все-таки разделял главную надежду Робинса, что в Америке найдется доста-

точное количество проницательных промышленников и банкиров, способных повлиять на «идеалистов» Вильсона. По логике вещей так могло бы и быть. В книге Карра отмечается, что этот документ явился, в сущности, прообразом тех экономических соглашений, которые позднее стали типовыми в советской практике предоставления концессий иностранному капиталу.

— Так как же насчет вашего чемодана с литературой, дневниками и прочим? — снова спросил Ленин. — Будет очень обидно, если с ними что-нибудь случится. У вас в стране ему, наверное, не очень-то. будут рады, ну а мы, поскольку это будет в нашей власти, обеспечим ему благополучный выезд из страны.

Удивительно, как точно Ленин предугадал встречу, которая ожидала меня на родине! Чемодан у меня, конечно, отобрали, а когда я получил его обратно от военно-морской разведки через министерство юстиции, в нем не оказалось части дневников за последние два месяца в России и почти законченной первой черновой рукописи книги о революции...

Без лишних слов Ленин взял в руки перо, быстро написал записку и подписался именем, которое, как волшебное слово, устраняло потом все препятствия на нашем шеститысячемильном пути. В записке он просил железнодорожных служащих оказывать нам всяческое содействие и обеспечить сохранность нашего багажа. Передавая мне записку, Ленин сказал, что она может пригодиться нам в советской Сибири и в том случае, если мы действительно встретимся с американскими морскими пехотинцами, у которых может не оказаться должного исторического чутья в отношении рукописей журналиста. (По иронии судьбы большая часть дневников и документов, находившихся в чемодане, после долгих странствий и злоключений все-таки вернулась ко мне, а вот коротенькое письмо Ленина, адресованное мне, и его охранную записку относительно нашего багажа и бумаг я потерял безвозвратно. Оба эти драгоценных документа были отданы мной на хранение одному товарищу во Владивостоке.)

В ходе нашей беседы я упомянул, между прочим, о том, что по возвращении на родину надеюсь осуществить план, который обсуждал со мной Чичерин, —

создать и возглавить Русское бюро общественной информации.

Ленин почему-то никак не выразил своего отношения к этому проекту, хотя, очевидно, знал о нем. Возможно, что и в этом случае он более трезво оценивал обстановку, чем мы с Робинсом, и не питал особых надежд на успех этого плана. (Он еще раз оказался прав. Государственный департамент решил, что, коль скоро Советы не признаны, значит, они не существуют, а раз они не существуют, то у них не может быть и никакого бюро информации в США.)

Вместо комментариев Ленин еще раз спросил меня о литературе, которую я везу с собой. Я ответил и рассказал также о небольшой киноленте, которая была сделана с помощью артистов Московского Художественного театра и показывала революцию в ее художественном аспекте. Я с жаром говорил, как буду демонстрировать этот фильм по всей Америке... Нетрудно, конечно, догадаться, что фильм так и не доплыл до наших берегов, по крайней мере, я его никогда больше не видел. Ленин, наверное, догадывался об этом еще тогда. Погладив рукой лысую голову, он поднял глаза к потолку, явно забавляясь моей наивностью, и сказал:

— Боюсь, что ни вашу литературу, ни фильм не пропустят в Америку. Они, должно быть, и в самом деле ужасно опасны...

Наш разговор происходил 43 года тому назад *. В своей маленькой книжице, которая в большой спешке была выпущена в 1919 году **, я уделил этому прощальному интервью незаслуженно мало места. Мне тогда казалось, что мысли и рассуждения Ленина, то есть наиболее трудоемкая для меня часть работы, были бы менее интересными для читателя, чем рассказ о его жизни и о чертах характера. Кроме того, я в тот момент вообще считал устные выступления наиболее коротким и верным путем к сердцам миллионов аме-

---

* Вильямс иачал писать эту книгу в 1961 г. и имеет в виду свой прощальиый разговор с Лениным в апреле 1918 г.

** Имеется в виду работа «Ленин — человек и его дело», в русском переводе вышедшая последний раз в 1960 г. в книге «О Ленине и Октябрьской революции».

риканцев, которым я должен был рассказать правду об интервенции. Когда же я вернулся в Россию в конце августа 1922 года, с тем чтобы собрать материалы для второго издания книги, о новой беседе с Лениным не могло быть и речи. Он был серьезно болен, серьезнее даже, чем нас старались убедить. И хотя к осени ему стало лучше, я все-таки не осмелился просить о встрече. Всю жизнь я жалел об этом.

Как жаль, что интервью не записывали тогда так, как записывают сейчас, на пленку! Много раз начинал я рассказ о последнем интервью. В своем архиве я нашел несколько разных вариантов. Все они верны, потому что отражают разные проблемы, обсуждавшиеся в ходе беседы. И во всех вариантах неизменно присутствует слово «если» — если только им не придется отступить за Урал и ждать более благоприятной международной обстановки. Это «если» простиралось даже до возможности — Ленин упомянул о ней вскользь — объединения сил воюющих между собой империалистических государств для совместного подавления Советской власти. В таком случае другие подхватят знамя единственно справедливой власти (потому что она власть большинства), знамя подлинной демократии — диктатуры международного пролетариата. Какова бы ни была их собственная участь, движение пролетариев будет отныне нести гибель власть имущим классам, власти меньшинства.

В следующий момент, после паузы, которая заняла пропорционально еще меньше времени, чем переход буржуазно-демократической революции в социалистическую, Ленин с полной верой в будущее уже говорил о развитии социалистического государства — и не где-нибудь, а здесь, в России. Он так образно и конкретно обрисовал нам перспективы, что много лет спустя всякий раз, когда я читал о строительстве в СССР новых каналов, плотин и гидростанций. я удивлялся: «Странно! А я готов был поклясться, что они уже давно существуют». И вспоминал Ленина, показывающего на карте, где будут строиться эти объекты.

Позабыв, казалось, о том, что Россия находится в огненном кольце, что города изнемогают от голода, а продовольственная проблема нигде даже не близится к разрешению, Ленин рассказывал нам, какой станет

Сибирь при социализме. Он говорил о ее величайших богатствах: это и обилие полезных ископаемых от платины до угля, и необъятные просторы, и девственная тайга, и, главное, длинные могучие реки. Покоренные и обузданные плотинами, они смогут быть использованы для электрификации страны. Он видел огромные домны, заводы и города, возникающие в диких, безлюдных местах.

В его картине будущего не только промышленность Петрограда, но и не построенных еще городов Сибири работала на электричестве, а все шахты Урала были модернизированы по самому последнему слову науки и техники.

Может показаться странным, что Ленин говорил об этом с нами тогда, но надо вспомнить, что документ, содержащий сходные идеи и положенный в основу его программы рационального размещения промышленности и изучения природных богатств России, был написан им в апреле 1918 года, хотя впервые был опубликован только после его смерти *.

Во время беседы проявилась еще одна черта ленинской натуры — та «мужицкая» проницательность и чувство реальности, по поводу которых ходило выражение, что «он видит на два аршина в глубь земли». Это чувство реальности давало ему возможность видеть все последствия иностранной интервенции, а его непоколебимая вера в русский народ не позволяла смириться с несчастной судьбой России.

Он рассмеялся, когда я сказал, что его, видно, не очень страшит перспектива оказаться в ловушке за Уралом. О, Урал — обширная территория, ответил он, там можно вздохнуть свободно.

Им предстоят тяжелые испытания. Улыбка сошла с лица Ленина, но печальным оно не стало. Он повторил то, что уже неоднократно говорил в своих выступлениях. Советская власть столкнулась с проблемами, которые Маркс не мог предвидеть. Тем не менее интервенция встретит сопротивление не только в Советской республике, но и внутри капиталистических стран и будет тем сильнее, чем более развиты там трудящиеся классы.

---

* Очевидно, имеется в виду «Набросок плана научно-технических работ», написанный В. И. Лениным в апреле 1918 г. и опубликованный в марте 1924 г.

Вот почему мы и едем домой, сказал я. Будем стараться усилить протест против политики, ведущей к интервенции, в надежде, что ее удастся предотвратить.

Ленин подвинул свой стул поближе к моему. Когда он так делал, это могло означать: ему нужно все внимание собеседника, чтобы его мысли полностью дошли до слушателя и чтобы ни одна из них не затерялась по дороге в отделяющем его от собеседника пространстве. Я уже однажды испытал это на себе, когда хотел записаться в Красную Армию, а он убедил меня, что для нас, иностранных доброжелателей, вполне достаточно будет находиться в рядах Интернационального отряда. В таких случаях он не просто выкладывал свои мысли, он вкладывал их в вашу голову. Ну а если он начал задавать вопросы, вы — в его власти. Без особых усилий и без всяких ухищрений он как-то незаметно, просто благодаря своей любознательности совершенно обезоруживал человека, пришедшего задавать ему вопросы. Направив на собеседника вопрошающий, слегка иронический, будто видящий все насквозь взгляд своих прищуренных глаз, он задает вопрос за вопросом, вытягивая факты даже из интервьюера.

Как сказал мне Боб Майнор *, «Ленин заставлял других развязать язык, а сам использовал свои уши». (Боб тогда был анархистом и к большевикам относился враждебно. Он добивался встречи с Лениным, чтобы «разоблачить» его, но эта встреча оказалась первым шагом Боба к коммунизму, а вскоре ему пришлось даже отложить карандаш и кисть, чтобы стать профессиональным деятелем компартии, в результате чего страна потеряла своего лучшего карикатуриста.) Во всяком случае, все корреспонденты, с которыми я обменивался впечатлениями по этому поводу, испытывали на себе способность Ленина «развязывать языки». Мы могли быть очень опытными репортерами, а Ленин был лучшим репортером всех времен и народов.

И вот уже Ленин спрашивает меня об американских инженерах и ученых — «нам нужны тысячи

---

* Р. Майнор (1884—1952) — американский карикатурист и журналист. В 1918-м и последующие годы встречался с Лениным. Был активным деятелем Компартии США и ее печати.

специалистов», — а я отвечаю и сам удивляюсь, откуда что берется. Этот живой магнит вытягивал из закоулков моего подсознания (по современной терминологии, тогда еще не вошедшей в моду) факты и сведения, которые я где-то когда-то нахватал, а потом, казалось, начисто забыл. Вопрос следует за вопросом, еще ближе придвигается стул, еще сильнее действует на собеседника излучаемое Лениным тепло и притягательная сила этого человеческого магнита. И вдруг собеседник испытывает непреодолимое желание разделить его энтузиазм.

Но Ленин был не только жаден до информации, он умел с жадностью ее выслушивать — если, конечно, было что слушать, но такого же внимания требовал и к себе. Тот же Майнор рассказывал мне, как однажды он по обычной американской манере покидать любое собрание, если подходит время идти в какое-нибудь другое место, встал и бесцеремонно направился к выходу мимо трибуны, с которой в тот момент выступал Ленин. Услышав скрип ботинок, Ленин обернулся и наградил Майнора суровым взглядом.

Потом наступил момент, когда мне нечего было сказать. Ленин хотел обсудить внутреннюю обстановку в Америке, перспективы развития там социалистического движения, характерные особенности классовых противоречий. Увы, у меня по этим вопросам не было никаких — не только блестящих, но даже просто интересных — мыслей. Ведь я в теории совершенно не разбирался. Видя, что здесь от меня ничего путного не услышишь, Ленин перевел разговор на другую тему.

Некоторое время Ленин и Кунц, переходя с русского языка на немецкий и наоборот, обсуждали какие-то философские проблемы. Мне трудно было следить за разговором, который полностью захватил собеседников. Они горячо спорили о непонятных для меня философских тонкостях, а я между тем обдумывал свой вопрос Ленину.

Я вспомнил слова Робинса о том, что у Ленина есть две любимые темы: Арктика и электрификация. Поэтому, удовлетворив Ленина рассказами о своей жизни на Клондайке и о золотоискателях, он считал себя вправе потихоньку перейти к темам, которые представляли особый интерес для него, Робинса, на-

пример, к религии. Как только Ленин начинал проявлять нетерпение, Робинс тут же подбрасывал ему несколько фактов об электрификации.

...Я вспомнил прием Робинса и, воспользовавшись паузой, заговорил.

Я сказал, что, как только позволят обстоятельства (мне тогда и в голову не могло прийти, что интервенция продлится до 1920 года, а во Владивостоке и того дольше) и как только я выполню свой долг, рассказав американцам все, что знаю о революции, я вернусь в Россию. Будет ли к тому времени так называемый «середняк», которого Ленин в одном из своих ранних работ определил как крестьянина, владеющего парой лошадей, но едва сводящего концы с концами, — будет ли этот середняк настолько социалистически сознательным, чтобы не презирать меня как «безземельного крестьянина»? Мой вопрос послужил началом оживленной дискуссии. Разгадав, что именно этого я и добивался, Ленин взглянул на меня с новым интересом, как бы говоря: «А ты, оказывается, тоже хитрый мужик!» Тем не менее он ответил на мой вопрос. Пока в деревню не придет свой «Октябрь» («красные петухи» по всей России были формой крестьянской «Февральской революции»), такая сознательность не может быть широко распространенной. Однако и теперь уже имеются признаки ее появления. Пример тому вот эти тамбовские крестьяне, что были сегодня здесь. (Неудивительно, что ему так понравилась беседа с ними.)

Нет, нам решительно повезло: Ленин сегодня был явно в настроении поразмышлять. Его рассуждения о предстоящей классовой борьбе в деревне — борьбе, в которой, как он это себе представлял, рабочие будут союзниками беднейшего крестьянства, — совершенно естественно привели нас к еще одной теме.

Социализм не может просуществовать долго в одной стране, а окончательная победа Октября, то есть построение бесклассового общества — коммунизма, дело далекого будущего, оно зависит от революции международного пролетариата, и Ленин не может установить никаких сроков. Об этом будущем он говорил нехотя, между прочим, как о роскоши, о которой непозволительно даже думать сейчас, когда марксистам надо решать сегодняшние и завтрашние проблемы.

Безо всяких экивоков он признал, что диктатура пролетариата, коль скоро в ней имеется необходимость, будет, как и в любом государстве, диктатурой правящего класса, с одной только очень важной разницей: в других государствах меньшинство, составляющее правящие классы, осуществляет насилие над угнетенным большинством, а здесь угнетенное большинство стало правящим классом, хотя оно еще недостаточно полно осознает себя хозяином государства. Ленин при этом добавил, что чем сильнее будет сопротивление потерявших власть классов, тем беспощаднее оно будет подавляться. Парижская коммуна потерпела поражение потому, что сразу же не подавила сопротивление буржуазии. Эти слова Ленина мне были известны и раньше. Но лишь некоторое время спустя после нашей беседы я нашел у него формулировку одной важной мысли Энгельса: «Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства».

Я нашел ее в книге «Государство и революция», написанной им в подполье. В те дни, когда мы с Ридом кружили по петроградским улицам и мыслями витали в облаках, хотя ноги уже твердо стояли на булыжной мостовой, Ленин писал, что только когда исчезнет государство, можно говорить о свободе, «...люди постепенно *привыкнут* к соблюдению элементарных, веками известных, тысячелетиями повторявшихся во всех прописях, правил общежития, к соблюдению их без насилия, без принуждения, без подчинения, *без особого аппарата* для принуждения, который называется государством» *.

Теперь же, говоря об этом Кунцу и мне, он на минуту задумался, будто мысленно представляя себе это счастливое время, когда все общественные пороки будут изжиты и человек станет тем, чем он рожден быть.

Когда это будет? Он прищурил глаза, задумчиво повторив мой далеко не легкий вопрос. Это зависит не от одной России, ответил он. Россия — пока единственная страна, где осуществляется диктатура пролетариата, и, несмотря на слабость и теперешнее бессилие России, могучие капиталистические державы, похоже, дрожат от страха и полны решимости стереть Советскую власть с лица земли.

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 33, с. 89.

В каком-то месте беседы он сказал, что Октябрьская революция все равно победит и что это будет «скоро». В другом месте он говорил о «целом периоде войн и революций, который будет длиться пятьдесят-семьдесят лет», и тогда слово «скоро» означало просто окончательную победу. На этот раз речь шла о «когда», а не о «если».

Однако гораздо раньше будут ликвидированы эксплуатация человека человеком и частная собственность. Этот процесс уже полным ходом осуществляется. В сложившихся условиях разрушение старого государственного аппарата шло, пожалуй, слишком быстро: левые коммунисты даже горят нетерпением изменить новый земельный закон. Они, например, объявили, что план создания государственных хозяйств будет возвратом к батрацкому труду. Ленин рассказывал об этом сухо, без эмоций, а я вспомнил, как он уговаривал рабочих не брать управления заводами в свои руки, пока они не научатся искусству управления.

Мы победим, продолжал Ленин, если сейчас уцелеем, а чтобы уцелеть, нам придется сделать кое-какие временные уступки: мы должны хоть как-нибудь наладить производство. Однако в любом случае, победим мы или нет, сказал Ленин, наш пример будет вдохновлять на революцию народы Азии, Южной Америки и Африки. И недалек тот час, когда к нам присоединится пролетариат Европы. Ленин посмотрел на нас испытующим взглядом, как бы читая наш мысленный вопрос, и, хотя у меня в голове действительно возник этот вопрос, я бы не стал его задавать: слишком он был болезненным. Но Ленин тем не менее на него ответил. Он не может сказать «когда». Многие уже совершали эту ошибку. «Но я вам скажу другое. Кайзер будет свергнут в течение ближайшего года. Это абсолютно точно». Я впервые слышал, чтобы Ленин делал определенные прогнозы во времени. Он оказался прав. Через семь месяцев, 10 ноября 1918 года, кайзер Вильгельм бросил свою армию и бежал в Голландию.

А в конце концов через 75—100 лет, с твердой уверенностью сказал Ленин, страны объединятся в великую социалистическую федерацию или сообщество.

То обстоятельство, что Ленин говорил о революции в Азии и даже в Африке и при этом словом не обмол-

вился о революции в Америке, не произвело на меня тогда такого впечатления, как его слова в начале беседы об американской интервенции. Сознавая, что мы и так долго засиделись, я задал последний вопрос:

— Все, что вы говорите, касается будущего. Ну а все-таки, если интервенция станет реальностью? Если моя страна не только попытается ей помешать, но и сама примет в ней участие, что тогда?

Тогда, ответил Ленин, будем организовывать защиту. Мы к этому готовимся. Все остальное будет подчинено этой главной задаче. Ход революции может в таком случае замедлиться, ее ф о р м ы могут быть даже на некоторое время искажены, но цель ее, ее идеалы останутся прежними, только достижение их отодвинется.

Если начнется иностранная интервенция, наш безмерно усталый народ найдет в себе новые силы для борьбы. Крестьяне будут защищать свою землю, они поймут, как это уже поняли те, кто попал к немцам, что приход японцев, англичан, французов или американцев будет означать возвращение помещиков. Каждый интервент должен на кого-то опереться, и, единственно, на кого он может опереться в России, — это белогвардейщина. Так что, кто знает, может быть, ваше империалистическое правительство еще ускорит революцию. Однако все же интервенция будет большой ошибкой и несчастьем как для вашей страны и вашего народа, так и для нас.

Но в конце концов мы победим, в этом можете не сомневаться, заключил свой ответ Ленин.

Потом совершенно неожиданно после трех крупных вопросов, которые только что обсуждались, Ленин, повернувшись ко мне, выразил сожаление по поводу потери потенциального члена марксистского кружка. Сказано это было так, будто мы с ним не попали на интересный концерт или не успели доиграть партию в шахматы. Была ли в его голосе хоть маленькая нотка досады? Нет, глаза его были добрыми, и мне, во всяком случае, показалось, что Ленин действительно сожалел. Он сказал, что все понимает, что я типичный американец, но что я скоро сам почувствую необходимость изучать теорию: переломные моменты истории — наиболее подходящее для этого время.

Помню, что всю дорогу от Кремля мы с Кунцем почти не разговаривали. Каждый думал о своем, но никому из нас даже в голову не приходило чувствовать себя польщенным тем, что Председатель Совнаркома целых два часа говорил с нами и слушал нас. Думаю, что и тамбовским крестьянам это также не пришло в голову. Мои мысли были поглощены невероятными трудностями, которые ждут Советскую Россию впереди. Простота обращения Ленина в сочетании с его исключительной целеустремленностью, проявляющейся даже в вещах, казалось бы, незначительных, рождали у слушателей какой-то особый строй мысли и зажигали огонь в их сердцах. Я навсегда запомнил голос Ленина, высокий, резковатый, невыразимо дорогой и близкий, и слова, отчетливо прозвучавшие в пустой комнате, выбранной им в Кремле для своего кабинета: «В конце концов мы победим!..»

ПОСЛЕСЛОВИЕ ЛЮСИТЫ ВИЛЬЯМС ДЛЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Рис всегда любил молодежь: приезжая в какую-нибудь деревню, он прежде всего искал комсомольцев, чтобы поговорить с ними; когда он хотел отдохнуть и развлечься, он собирал подростков н играл с ними в мяч, к иемалому удивлению крестьян, которые считали такое поведение неподобающим солидному человеку. Свою любовь к спорту он передал н нашему сыну, Рису-младшему, родившемуся в 1929 году, и очень гордился, когда, став взрослым, сын включился в общественную борьбу за разрешение многочисленных проблем у нас на родине, в Америке.

Он много думал о советской молодежи и старался всегда отвечать на письма из России, даже если для этого ему приходилось прерывать работу над книгой. Эти письма служили ему ярким доказательством вечной молодости Советской власти, напоминали о пламенных молодых революционерах, чьи мечты расцвели с Октябрем. Это были письма от детей и внуков его товарищей по оружию — от представителей того нового поколения, ради счастья которого отцы и деды отдавали свою жизнь.

В ноябре 1960 года пришло письмо, вызвавшее у него особый интерес. Оно было из Куйбышева, от учеников старших классов средией школы № 109. Под ним стояло 34 подписи. Рис тогда не смог прервать работу над кингой, чтобы ответить обстоятельиым письмом, но, чувствуя себя в долгу перед ребятами, послал им в декабре открытку с новогодним поздравлеиием. Ребята откликнулись сразу же, оии были очеиь рады открытке, но все-таки с нетерпением ждали подробиого пнсьма. Конечио, книга стояла у него на первом месте, но и эти школьники были дороги ему, были его друзьями. И он потихоиьку начал делать кое-какие наброски, рассчитывая переписать начисто, когда до этого дойдут руки. Вскоре я заметила, что он в этих набросках обращается уже ко всей советской молодежи.

Когда в 1961 году наш сын Рис приехал к нам с женой Элеоиорой и недавно родившимся у иих сыном, мы почувствовали, будто рядом с нами, в одном строю, встал третий Рис Вильямс, чтобы нести эстафету дальше, в светлое будущее и занять свое место в иовой, космической эпохе и во миоговековой борьбе за справедливость и мир.

Не успели мы оглянуться, как и 1961 год подошел к концу, и я увидела, что Рис снова пишет поздравительную открытку в 109-ю школу. В его глазах, когда он поднял голову от стола, промелькнула растерянность, но потом никогда не покидавшее его чувство юмора взяло верх, и он сказал: «Вот будет забавно, если эти ребята уже кончили школу!»

Ответ пришел так же быстро, как в первый раз: «Вы не ошиблись, наш дорогой друг, — многие из наших с Вами молодых друзей окончили школу в этом году, — писал учитель литературы Александр Тарасович Кисель. — Некоторые из них уже студенты высших учебных заведений. Другие пошли работать на фабрики, вступили в бригады коммунистического труда и стали настоящими строителями коммунизма. Многие же просто перешли в следующий класс и продолжают штурмовать вершины науки... Все они часто вспоминают Вас, сердечно благодарят за присланную фотографию и с нетерпением ждут Вашего письма».

Наступил февраль 1962 года, и Риса в последний раз положили в больницу для переливания крови. Помимо объемистой рукописи новой книги, он взял с собой в больницу набросок статьи, которую он готовил к исполняющемуся в апреле 50-летию «Правды», и заготовки своего письма советским школьникам. И все это вопреки строгому предписанию врачей, запретивших всякую работу. Рис знал, что нельзя совершить невозможное, но он игнорировал запрет, так как жил только работой.

Он ушел из жизни неожиданно. Именно так он и хотел умереть. Но осталась жить самая важная часть Риса — его книги. Я счастлива, что у меня хватило отпущенного мне времени и сил довести работу над этой его последней книгой. Это было страстным его желанием.

Книга закончена. Вы ее только что прочли. Прочтите и страницы письма Риса Вильямса ко всей молодежи Советского Союза.

ПРИВЕТСТВИЕ МОЛОДЕЖИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И МОИМ МОЛОДЫМ ДРУЗЬЯМ, УЧАЩИМСЯ ШКОЛЫ № 109 г. КУЙБЫШЕВА НА ВОЛГЕ

Оссайнинг, Нью-Йорк, США, февраль 1962 г.

Я часто получаю письма из самых разных уголков Советского Союза с выражением горячих дружеских чувств и с огромным количеством информации о жизни в вашей стране. Но, к сожалению, я не в состоянии ответить на все эти письма.

Среди многих причин, по которым ваши письма ноября 1960 года и декабря 1961 года требуют ответа, и то обстоятельство, что

они пришли из Куйбышева, города на берегу великой Волги. Тысячи рек протекают по русской земле, и везде счастлива советская молодежь, но вы счастливы вдвойне.

За четырнадцать месяцев, что мы с Люситой прожили в Хвалынске, ваша Волга околдовала и зачаровала меня. Она стала и моей Волгой, и это нас связывает. Мы наблюдали на ней смену времен года: ее зимний сон под толстым слоем льда, покрытым белым одеялом снега, ее звонкий ледоход и величественный разлив по весне; мы слышали, как на ее берегах соловьиные трели сливались с песнями комсомольцев, прогуливающихся по вечерам с веточками цветущей вишни в руках. Я как сейчас вижу длинные баржи с арбузами, рассекающие белые гребешки волн, поднятые крепким бризом, помню пряный запах земли, доносившийся с только что убранных полей до пристани, где мы спали на деревянных скамейках среди пассажиров, ожидавших последнего перед наступлением осенних холодов парохода на Нижний Новгород.

В своем письме вы просите вспомнить о днях, проведенных мной в 1918 году во Владивостоке. Об этом я уже почти все, что мог, рассказал. Но почему бы не рассказать еще раз? О настоящих героях и в сотый раз стоит вспомнить! Если бы не они, я бы, возможно, пал духом.

Благодаря двум запискам от Ленина я был сразу же принят во Владивостокском Совете и смог изнутри познакомиться с работой местного органа управления. Это был для меня очень ценный опыт, так как до сих пор я видел в работе только высшие органы власти. Здесь же я оказался как бы в микрокосме того, что олицетворял собой могучий Петроградский Совет.

Конечно, я не специалист в этих вопросах, но мне казалось, что, несмотря на необыкновенно трудные условия, в которых приходилось работать молодым большевикам Владивостока, они вели дела Совета четко и организованно. Наблюдая их деятельность, я получил неоценимые знания не только о них, но вообще о русском народе и о русской молодежи.

Первые же встречи с русскими большевиками во время моей поездки по стране летом 1917 года произвели на меня очень хорошее впечатление, оно усилилось в последующие осенние и зимние месяцы, а во Владивостоке это впечатление получило более широкое и глубокое обоснование.

Вспоминая о большевиках, которых я близко знал, я бы сказал, что для меня самой неожиданной особенностью их характера была, пожалуй, способность веселиться, умение использовать шутку и смех для разрядки дикого напряжения физических сил и нервов. Среди многих замечательных качеств революционера определяющим фак-

тором был высокий боевой дух, подкрепленный стальными мускулами, железной волей и чувством юмора.

Из вашего письма я, конечно, понял, что вас интересуют «героические судьбы», вы рассчитываете найти драгоценные камни по их блеску и сиянию. Но после первых же поисков вглубь и вширь вы обнаружите героев у себя дома, на вашей улице. Правда, выявить их нелегкое дело, большинство из них — я очень хорошо это знаю— не захотят говорить о себе. Я много встречал таких людей везде и всюду, когда бы ни приезжал в Россию. Трудно из них что-нибудь вытянуть, но не оставляйте попыток. Если вы будете с ними так же настойчивы, как со мной, вы добьетесь успеха. Кое-кто живет и в вашем родном городе — их жизнь послужила Люсите источником вдохновения для создания фильма в 1928 году.

Вы нашли героев Владивостока: Якова Кокушкина, Зою Станкову и Зою Секретареву. Вы нашли Костю Серова, который только чудом остался в живых. А разве можно забыть, какую роль сыграл город Куйбышев во время Великой Отечественной войны? К этому я могу добавить, что теперь всякий раз, когда я слышу слово «Куйбышев», я сразу же вспоминаю вас, энергичных и целеустремленных. Я знаю, что вы энергичны, хотя бы потому, что взялись написать мне письмо.

И еще хочу сказать, что качества, отличавшие когда-то героев революции, стали сейчас наследственными чертами миллионов советских юношей и девушек.

Изучая историю тех героических лет, вы, наверное, жалеете, что опоздали родиться и не участвовали в битвах, не строили баррикад, не разрушали крепостей. Но человек по природе своей прежде всего творец, созидатель. Труд для него — жизненная потребность. Поэтому бойцы революции больше всего хотели бы участвовать в великом деле строительства социализма. Вы желали бы быть на их месте, а они — на вашем.

Поэтому вы должны так же хорошо сделать свое дело за себя и за них, как они делали свое дело за себя и за вас.

Ну вот, вы просили несколько строк, а я уже написал почти столько, сколько и вы. И еще не кончил. Я хочу сказать, что одно из великих достижений революции — и это явствует из вашего письма — заключается в том, что она и вас поставила под свои знамена.

Если бы революция 1917 года только расчистила почву, это было бы великим героическим подвигом. Но если бы она этим и ограничилась, колоссальные жертвы, принесенные во имя ее, заняли бы только одну главу на страницах человеческой истории. Дело построения фундамента нового общества выпало на долю следующего поколения, стало делом их жизни. Если бы этот второй период рево-

люции дал лишь индустриализацию и электрификацию, это опять же было бы отмечено лишь в одной главе. В каждый период каждое новое поколение вносило свой героический вклад, и только все вместе взятое делает историю.

Теперь вы становитесь участниками общего дела всех поколений революции, у вас своя задача, тоже очень важная. Дело революции — это непрерывный процесс, в котором у каждого поколения свои задачи, свои проблемы. Теперь это дело переходит в ваши руки, возлагается на ваши плечи. Пройдет время, и вы передадите его следующему поколению, и так же как сегодня вы черпаете вдохновение, оглядываясь на Ленина... так будущие поколения будут вдохновляться вашим примером. Как вы справитесь с выпавшей на вашу долю задачей? Ведь от вас, продолжателей дела революции, зависит ее бессмертие. У вас есть все необходимые инструменты, приложите только руки! В некотором смысле ваша задача труднее, чем у тех, кто начинал. Она требует особого рода стойкости. Все это вы и без меня знаете, но такова привилегия стариков — давать советы молодым, призывать людей к добру и делать добро, иначе одолеет лень. На свете так много соблазнов, так много врагов и вокруг, и внутри нас самих.

Многие из вас, наверное, знают, как трудно бывает взяться за перо. С возрастом это становится еще труднее, так как в организме все вообще замедляется. Но вам я пишу безо всякого напряжения. Ваше письмо зарядило меня новой энергией. Я почувствовал, что принадлежу не прошлому, не старому, ушедшему поколению, а являюсь частью вашего, нового поколения и вместе с вами радуюсь новым грандиозным перспективам, открывшимся вам. Так что вы уже оказали мне великую услугу: я вновь почувствовал себя молодым.

Вы благодарите меня за службу делу революции, за мою любовь к России, но когда-нибудь я расскажу вам, что дала революция мне, и это будет очень длинный рассказ.

Как это замечательно — делать что-то не только для себя, но и для других! Это и поныне так. Вы осчастливили многих людей. Но никто не был бы так счастлив, как Ленин. Вы делаете именно то, что он прежде всего хотел от вас...

Заканчивая письмо, я мысленно представляю себе то чудесное социалистическое общество, которое вы, советская молодежь, продолжаете строить ради будущего, ради мира и счастья всего человечества.

Люсита вместе со мной шлет вам самый горячий привет и любовь.

Ваш друг Альберт Рис Вильямс

Савва Дангулов

АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС И ЕГО КНИГА «ПУТЕШЕСТВИЕ В РЕВОЛЮЦИЮ»

Бывают события, к которым человек возвращается всю жизнь. Они, эти события, как незакатное солнце, стоят над жизненной дорогой человека. Как ни трудна дорога — солнце с человеком. Где-то оно высветлит спасительным лучом ущелье, где-то растопит завал, непобедимое дневное светило! Для американца Альберта Риса Вильямса этим незакатным солнцем была русская революция. Она вошла в его жизнь, когда ему было немногим больше тридцати, и составила смысл его деятельности и бытия в последующие сорок пять лет. Ей он посвятил одну из своих первых книг и книгу, замысел которой возник у него, когда он видел уже тот берег жизни. Очевидно, она ему была очень нужна, эта книга, если он отдал ей свои последние дни. Однако как мог человек иной страны, языка, общественной среды и, в сущности, иного строя взглядов так близко принять к сердцу муки и радости России? Чем, в конце концов, Россия и ее революция были для Вильямса?

Очевидцы, бывшие в Америке, свидетельствуют: нет зрелища грознее и величественнее, чем торнадо — буря, идущая долиной Миссисипи. Точно лемехом распахивает землю торнадо — такое возможно, если воспрянут силы природы, если придет в движение все, что копилось в ее тайных кладовых. Нечто напоминающее торнадо, однако, не в природе, а в социальной жизни, испытала Америка в начале века. Рабочая Америка, возглавляемая «красными казначеями» Хейвудом и Дебсом (Хейвуд начинал как секретарь-казначей федерации рудокопов, Дебс — братства кочегаров), поднялась с невиданной доселе силой. Лоренс Лоуэлл, Нью-Бедфорд, Патерсон — такого могучего взрыва народного гнева американская земля не ведала. Истинным бардом поднимающейся революции стал Джо Хилл — революционная Америка штурмовала стены своих Бастилий с песнями Джо Хилла: «Кейси Джонс», «Рабочие мира, пробудитесь», «Аллилуйя», «Я — бродяга», «Мятежная девушка»,

«Если бы я стал солдатом», «Не забирайте у меня папу». Последние две песни были направлены против войны — она уже обозначалась в европейском далеке, и шовинистический туман обволок Америку. Взрыв народного гнева хотели подавить войной. И не только войной. Хилла казнили (Хейвуд избежал этой участи, покинув Америку), Дебса заточили в безвестной глуши, а тысячи и тысячи непокорных отправили за океан воевать за «американскую свободу».

Альберт Рис Вильямс родился 28 сентября 1883 года в трудовой шахтерской семье. Позже его отец стал священником. Желая стать преемником отца, Альберт закончил духовную семинарию и недолгое время сам был священником.

В детстве Альберт видел много несправедливости и на всю жизнь сохранил сочувствие к человеческим страданиям и болям... Любовь к угнетенным, оскорбленным и обиженным, уважение к простому народу. Впоследствии он это откровенно высказал сенаторам: «Мне дороги все люди на земле, но, если бы мне пришлось выбирать, кому отдать предпочтение, я бы сказал, что мои симпатии... на стороне... рабочих и крестьян».

Еще учась в духовной семинарии, Альберт пишет целое сочинение о социализме. Поскольку церковь относилась пассивно к страданиям и тяготам людей, Альберт Вильямс разочаровывается в религии, отходит от церкви и становится участником социалистического движения и членом социалистической партии.

Услышав в 1917 году о Февральской революции в России, американский журналист Альберт Рис Вильямс отправляется в Петроград, представляя газету «Нью-Йорк ивнинг пост», чтобы информировать американскую общественность о русской революции.

Русская революция наполнила жизнь Вильямса новым содержанием. Ни одна страна так не напоминала американцу его родину, как Россия. И свободным размахом просторов. И свободолюбивым характером людей. И тем ощущением широты их мысли, натуры, взглядов на явления жизни, какой исполнена сама история России и Америки. Для Вильямса это было похоже на чудо: мечта об американской свободе, какой ее видели передовые сыны Америки, обрела плоть и кровь в России.

Русская революция завладела умами американцев. Американский журналист Вильямс увидел в Ленине свой идеал.

Известную книгу Вильямса «Ленин — человек и его дело» поучительно рассмотреть именно в этом свете — что увидел американец в Ленине, что ему было дорого в вожде русской революции: верность Ленина заповеди коммунистов: богатства, которыми владеет человек, должны быть распределены справедливо;

его готовность всем пожертвовать ради осуществления идеала;

его бескомпромиссность;

его скромность;

его принципиальность;

его интеллект.

Американские биографы Вильямса склонны утверждать, что Ленин пытался обратить Вильямса в свою веру, однако тот воспротивился этому. Так ли это? Чтобы ответить на этот вопрос, очевидно, надо установить, что следует понимать под тем, что биографы называют «верой Ленина». Если имеется в виду коммунизм, а обращение в веру означает вступление в ряды коммунистов, то утверждение биографов нелепо. Ленин полагал, что мировоззрение человека и выбор им пути в жизни — дело его сознания. Конечно же, Ленин боролся за душу Вильямса, как боролся за души Стеффенса, Робинса, Рида, Майнора. Разумеется, он хотел, чтобы они поняли, какие принципы лежат в основе русской революции, но Ленин, разумеется, видел, что все они — при доброжелательном отношении к Советской стране — люди разные: одни станут коммунистами, другие на всю жизнь будут лишь друзьями коммунистов. Вильямс относился ко вторым. Таким образом, новейшие биографы Вильямса пытаются истолковать это как поражение русских друзей Вильямса. Иначе говоря, победу они пытаются выдать за поражение. Это тоже опровергается прежде всего жизнью самого Вильямса, событиями, на которые эта жизнь опирается.

Ведь это Вильямс:

был среди солдат, штурмующих Зимний;

вместе с Лениным с трибуны Михайловского манежа напутствовал добровольцев, уходящих на фронт;

стал организатором Интернационального отряда, призванного вместе с молодой Красной Армией защитить столицу революционной России от немцев;

возвысил гневный голос против клеветников революционной России, когда пришел его черед единоборствовать с комиссией Овермена;

объехал десятки городов, неся слово правды о революционной России, — американские Север и Юг, Восток и Запад слушали Вильямса;

вернувшись в Советскую страну, он, в сущности, остался рядовым от революции; с рабочими — рабочий, с крестьянами — крестьянин; в эти годы он жил и на Украине (на Полтавщине, в гоголевской Диканьке), и на Волге, и на Кавказе, и далеко на Севере, под Архангельском;

вновь проехал по всей американской стране уже в годы войны — на его докладах о сражающейся России побывали сотни тысяч;

подарил миру много прекрасных книг, без которых сегодня нель-

зя представить себе ни литературу о Ленине, ни литературу об Октябрьской революции: «Ленин — человек и его дело», «Сквозь русскую революцию», «Советы».

Да разве мог бы человек совершить все это, если бы им не руководила любовь к новой России, ставшей для него второй родиной? Кстати, этой теме посвящена и эта последняя книга Вильямса — книга эта существенна для пути, пройденного Вильямсом.

В чем смысл ее?

Кресло пододвинуто к окну. Окно просторное, от пола до потолка, как на аэровокзале, в него видны и земля и небо. Комната полна света, и седины Вильямса, точно морозный снег, ярко-белы. Я замечаю: среди тех, кто сейчас подходит к Вильямсу, почти нет стариков, кто его знал прежде. Все молодежь, для которой Вильямс в своем роде живая история, легенда. Да и слова, что при этом произносятся, можно произнести, когда перед тобой живая история.

Эта вереница людей, желающих сказать свое слово Вильямсу, иссякает только под вечер.

Мы медленно спускаемся по каменным ступеням, и я помогаю Вильямсу сойти.

— Мне трудно писать главу за главой, да я и не считаю это нужным, — говорит Вильямс. — Человеческая память архаичнее сознания. Вот она воссоздала первоянварский эпизод восемнадцатого года, воссоздала с такой яркостью, будто сама призывает записать его. Бери карандаш и пиши, пиши, не раздумывая, опоздаешь — все погибнет, все обратится в пепел. В другой раз она выхватила из прошлого нечто такое, чему ты был свидетелем десятью годами позже, — не теряй времени и в этом случае, запиши... Да, я понимаю, что мои главки напоминают кадры будущей кинопленты Я их «отснял», не зная, в каком месте «фильма» они поместятся. Самое значительное совершится за монтажным столом. Я жду этой минуты. Это всегда увлекательно.

Я знаю, откуда у Вильямса это сравнение с кинокадрами и киномонтажом. Люсита, жена и друг Вильямса, говорит, что Альберт один факт, одну мысль записывает пять, семь, десять раз. Этот метод, по словам Люситы, подсказал Вильямсу Линкольн Стеффенс. Вот как это было. Вильямс навестил Стеффенса. В этот день у Стеффенса были и другие гости. Вильямс заметил: в течение дня хозяин вновь и вновь рассказывал одну и ту же историю. Новому гостю — по-новому. Это настолько поразило Вильямса, что он не преминул выразить хозяину свое удивление. Стеффенс ответил, что, как он полагает, каждая история имеет одну верную версию. Но прежде чем удастся нащупать твердое ядрышко этой

новой версии, необходимо повторить рассказ много раз. Иначе говоря, Стеффенс делал то, что делает кинорежиссер, снимающий фильм: каждый эпизод снимается много раз. Делаются, выражаясь киноязыком, «дубли». В фильм попадает лучший из «дублей». Видно, это объяснение показалось Вильямсу настолько убедительным, что он последовал методу Стеффенса.

— Но вот что интересно, — продолжает Вильямс, — ничего так не может встревожить память, встревожить и обновить, как встреча с местами, где события произошли... Непросто в моем возрасте собраться в дорогу, столь дальнюю и трудную, как поездка в Россию, но собираться надо, — я еду за памятью, за молодостью, за новой книгой...

Вильямс рассказывает об Америке, об Оссайнинге, где он живет, о людях разного профессионального и социального облика, которых он видит в Оссайнинге, и нет-нет да задаст вопрос: «А над чем работаете вы?.. Что это будет за книга по жанру, по манере, по колориту?..» Мне кажется, что он спрашивает тебя об этом и по соображениям такта. Он точно хочет сказать этим: «Я отнюдь не переоцениваю значение своей работы, отнюдь... и вниманием к труду товарища подтверждаю это».

— Вот вам мой совет, — произносит Вильямс, когда мы оказываемся на улице. — Не будьте рабом материала, не давайте ему взять вас в плен. Главное — сберечь дух событий... — Он останавливается и внимательно смотрит в пролет улицы. — По-моему, там стоит Люсита, — произносит он, не отрывая глаз: там действительно в кругу друзей стоит Люсита Вильямс.

Так вот она какая, Люсита Вильямс, храбрая спутница Рида в тысячекилометровом его пути по России! Она знала Поволжье, объятое голодом, и архангельские топи и гати, и украинские села где-то рядом с гоголевской Диканькой, небогатые поля и нивы неоглядной нашей страны, следуя за Вильямсом. Что заставило молодую женщину бросить родные берега и обречь себя на жизнь подвижницы? Наверно, любовь — она все может. Но мне так кажется, не только любовь, но и верность идее, которая с годами и для Люситы определила смысл жизни.

Рис протягивает руку, большую и белую, чуть-чуть расслабленную, и прощается.

Вильямс приехал в Москву через полтора года.

Мы идем с ним улицей Качалова. Иногда купы старых деревьев оказываются над нами, заслоняя августовское полуденное знойное небо, и мы невольно замедляем шаг.

— Я слыхал, что после окончания «Десяти дней» Рид задумал новую книгу... — замечаю я.

— Да, при этом написал несколько очерков, которые должны были в нее войти, — говорит Вильямс.

— Верно ли, что то была книга о Ленине?

— Да, так задумал ее Рид. Я понимаю его: не было задачи труднее и благодарнее ни вчера, ни сегодня, — произносит после некоторого раздумья Вильямс, — мне представляется, что в его последней фразе заключен ответ и на вопрос, который я поставил перед ним прежде.

— Не хотите ли вы сказать, дорогой Вильямс, что ваша новая книга призвана решить эту же задачу?

— Да, я хочу сказать именно это, — ответил Вильямс.

Прошла машина, прошла осторожно, будто опасаясь вспугнуть тишину, которая наступила вслед за последней фразой Вильямса. Значит, Вильямс пишет о Ленине — в этот раз не только о Ленине — революционном стратеге, но и государственном деятеле, строителе, кремлевском провидце, чья вера и решимость указали России ее новую дорогу. Истинно, нет задачи труднее и благодарнее.

— Не следует ли, дорогой друг, ваш ответ понимать так, что работа над рукописью близка к завершению?

— Ну что ж... можете понимать и так, — отвечает Вильямс все так же добродушно и становится строгим. — Вы сберегли мой нью-йоркский адрес?..

Вильямсы уехали. Друзья Вильямса звонят друг другу: «Вы имеете что-либо от Риса?» (И в Москве его зовут так.) Иногда эти звонки настойчиво тревожны, и это тоже понятно: семьдесят восемь лет — немало. Наконец пришло первое письмо: он здоров, набирает силы. В Оссайнинг полетели письма. Послал свое и я вместе со своей только что вышедшей книгой. Вильямс просил прислать, сказал, что нужна для работы.

Прошел месяц, второй. Говорят, Вильямс вновь заболел, он в больнице. И вот декабрь шестьдесят первого. В Москве и снега не было, а в Подмосковье белым-бело. Пришел пакет из Америки. Обратный адрес не вызывает сомнения: «Альберт Рис Вильямс, 116, Хейкес-авеню, Оссайнинг, Нью-Йорк». Медленно распечатываю. Такое впечатление, что лощеная бумага грохочет — так жестка она и крепка.

Прочел один раз, второй. Дело не в добрых словах, адресованных книге, а в неизмеримо большем.

«Я закончил чтение Вашего рассказа о встречах и беседах Ленина с американцами... Я почувствовал, что вновь шагаю по улицам и площадям революции, пересекаю мосты Невы, прохожу воротами Кремля, иду кремлевскими скверами...» — писал Вильямс. Были в этом письме и стариковская мудрость, и доброе напутствие.

«Как я уже отмечал, эти заметки с выражением благодарности

должны были быть посланы Вам несколько недель назад. В этой связи они должны были явиться и моим поздравлением с годовщиной Октября. Но мы говорим: «Время бежит». И как быстро! — могу добавить я. И вот уже теперь, когда на меня надвигается 1962 год, я приношу свои поздравления с Новым годом, и я, очевидно, первый из поздравивших Вас. Пусть наступающий год принесет мир этой земле. Примите мои поздравления с Новым годом».

Во мне еще жило волнение, вызванное этим письмом, когда пришла телеграмма из Америки, телеграмма, которой мы не ожидали: умер Альберт Рис Вильямс.

Я перечитал письмо Вильямса, и мне открылся в этом письме новый смысл: «Пусть 1962 год принесет мир этой земле». В этой фразе и великая страсть к жизни, и завещание живым, неумирающее завещание, которое хотел оставить и оставил Вильямс: «Мир — земле».

Но вот вопрос: «А закончил ли Вильямс книгу, над которой работал все эти годы?..» Вильямс говорил, что работа близка к завершению... Мне тогда казалось, что Вильямс успел «отсиять» значительный материал и готовился сесть за монтажный стол... Успел ли?

Прошли и те два года, которых недоставало Вильямсу, чтобы отметить свое восьмидесятилетие. На торжества по случаю этой даты в Москву приехала и Люсита Вильямс.

— Когда я познакомилась с Вильямсом, среди тех девяти соперниц, которые противостояли мне, была одна, которую я считала самой серьезной, — Россия... — говорит Люсита, и глаза ее радостно светлеют. — У меня было одно средство совладать с этой соперницей: поехать вместе с Вильямсом в Россию... И я это сделала.

Мы уславливаемся встретиться с Люситой Вильямс в гостинице «Советская», в которой она останавливалась прежде. Все вопросы, которые я намерен задать Люсите, собрались в одном: «Как новая книга Вильямса?.. Что он успел сделать?..» Пока я думаю над тем, каким поводом воспользоваться, чтобы подступиться к главному, Люсита протягивает мне руку помощи:

— Альберт успел... книга написана.

— Это книга о Ленине?

— Да, о Ленине и Октябрьской революции.

— Вы привезли ее?

— Две главы.

Наверно, Люсита Вильямс, глаза которой полны радости, понимает, какое волнение охватывает меня.

— Хотите прочесть? — улыбается она. — Сейчас?

Люсита склоняется над стопкой рукописных страниц, отыскивая нужные главы. Свет настольной лампы, пригашенный абажуром, обтекает ее лицо. Маленькая, с сухими добрыми руками. Сияние глаз, именно сияние, несмотря на возраст, не утратило своей силы, и улыбка, неповторимая, медленно разгорающаяся улыбка, в которой и робкое участие, и радушие, и зоркое внимание к тому, что составляет мир твоих забот и дум.

Я читаю.

Да, пожалуй, Вильямс рассказал здесь нечто такое, чего еще не знали.

Люсита Вильямс уехала. Я получаю от нее все новые письма. Увлечение, с которым работал над своей книгой о Ленине Альберт, передалось его другу — Люсите. Нет для Люситы дела важнее. Она работает много, и упорно работает.

И вот осень шестьдесят шестого. Люсита в Москве. Все та же гостиница «Советская» на Ленинградском проспекте. Те же добрые глаза, сохранившие блеск и сияние молодости, добрые руки. Только в голосе усталость — видно, дорога была нелегкой.

— А как книга?

— Книга? Здесь.

— Вся?

— Да, разумеется.

Я вижу два больших чемодана, лежащих на полу, они распахнуты, в них рукописи. Но Люсите еще нужно несколько дней, прежде чем она сможет усадить меня за стол и пододвинуть папку с рукописью. Я жду. И в укромной комнатке гостиницы ни ночью, ни днем не гасится свет — Люсита работает. Ее советские друзья помогают ей чем могут.

Из Горького приехала Ирина Киреева. Приехала и попросила Люситу принять ее, Киреева — университетский работник, литературовед. Вильямс, его наследие — специальность Киреевой. Несколько последних лет она отдала собиранию и изучению текстов Вильямса. И того, что он напечатал в СССР, и того, что в разное время опубликовал у себя на родине. В силу факта, значение которого трудно переоценить, две женщины, не знавшие друг друга, оказались союзницами в главном, что определяет их жизнь, их призвание в жизни.

«Бывает же так. Человек явился именно тогда, когда он особенно нужен, — сказала мне Люсита. — Рис обожал Волгу...»

Встреча с женщиной из Горького настраивает ее на лирический лад. Наверно, она думает о том, что память России благодарна. В далеком Оссайнинге умер друг русской революции Альберт Рис

Вильямс, а дети России продолжают разговаривать с ним как с живым.

В эти дни я смотрел с Люситой новый фильм о революции. В фильме — Альберт Рис Вильямс. Фильм показывался для Люситы, и в зале было не больше десяти человек. Быть может, Люсите было чуть-чуть страшно. Как бы талантлив и честен ни был артист, он никогда не сравнится с тем, кого она хотела бы сегодня увидеть. Не много храбрости, наверно, было и у друзей Люситы, которые пригласили ее смотреть фильм. Они понимали: как ни доброжелательна Люсита, она способна сказать «нет» — здесь она будет бескомпромиссна.

Она сказала «да». Это прежде всего относилось к сыгравшему Вильямса эстонскому актеру Оя. Он сумел убедить ее. Диалог между Вильямсом и Лениным развивался стремительно, при поощрительно живом внимании всего зала. В общем актер заставил поверить. Наверно, слова «Россия не дала умереть Вильямсу» не пустая фраза.

Велик первый день революции, но не менее велик день второй. Именно этот второй день призван обнаружить, что дала революция людям. Вильямс приехал в Россию, чтобы увидеть этот второй день, и побывать на Волге, на Украине, у Белого моря. Чтобы увидеть этот второй день нового мира, Вильямс приезжал к нам еще много раз. Ему повезло, нашему другу Альберту Рису Вильямсу. Из тех пяти американцев, кто видел русский Октябрь, — Рид, Вильямс, Робинс, Брайант, Битти — он один перешагнул предел шестидесятых годов. Это значит, что он видел и взлет нашего индустриального могущества, и великую ратную победу над фашизмом, и наши большие свершения в науке — полеты в космос. Это было счастье— дожить до тех заповедных дней, когда страна Октябрьской революции выводит на орбиту первый спутник Земли. Таким образом, в книге он использовал преимущества, позволившие ему взглянуть на Октябрь второго дня, нашу страну, приближающуюся к своему пятидесятилетию.

Есть удивительное свойство памяти: человеку, прожившему большую жизнь, стоит немалого труда вспомнить то, что было десять, пятнадцать, двадцать лет назад, но он обычно хорошо помнит то, что было на заре его жизни. Впрочем, октябрьские события Вильямс запомнил не только поэтому. Сами события были неповторимы по своей значимости. Вильямс тогда же написал множество статей, свои знаменитые книги, воссоздал эти события в многочисленных выступлениях перед Америкой.

Автор увидел Октябрь в перспективе событий, которые свершились благодаря Октябрю. Пусть Вильямс не говорит о победе над фашизмом, победе, которой мир обязан Советской стране. Пусть

в книге физически не присутствуют страны социализма, вызванные к жизни победой в войне. Пусть зримо не обозначено бытие народов, обретших независимость благодаря победе над фашизмом, а следовательно, благодаря Октябрю. Пусть всего этого нет у Вильямса, но дыхание этих событий ощутимо в книге нашего друга.

Вильямс работал над книгой все годы, прошедшие после революции. Нет, он не просто возвращался к этой книге в помыслах своих. Все годы в квартире Вильямса в Оссайнинге собиралась библиотека о русском Октябре. Складывалось досье современной прессы. Записывались главы, страницы, пассажи, строки и, разумеется, читались друзьям. Но иногда круг друзей опасно сужился, и Вильямс оставался вдвоем с человеком, которого ничто не могло от него отторгнуть. Вдвоем с Люситой. Если бы остался один, работа над книгой, пожалуй, прекратилась бы.

Известна истина: нет друга, если его нет рядом в самую трудную для человека пору. Надо понять состояние Вильямса, для которого тревожнее всех тревог была мысль: ему может не хватить жизни. И надо понять состояние Люситы: все, что можно сделать самой, надо сделать, это единственный способ облегчить труд друга. Собственно, в «дублях» книга была закончена — следовало отобрать лучшее. Но... жизни не хватило. И наверно, это было и самым большим испытанием для Люситы и, в конце концов, ее подвигом: она как бы продлила жизнь Вильямса и закончила труд, который был трудом его жизни. В конце 1966 года Люсита привезла рукопись в Москву.

Люсита Вильямс сказала: «Он остался в этой книге сражающимся».

Так и сказала: с р а ж а ю щ и м с я.

Стоит ли говорить, насколько значительно все, что рассказал в этой книге Вильямс.

СОДЕРЖАНИЕ.

ИБ № 525

Альберт Рис Вильямс
ПУТЕШЕСТВИЕ В РЕВОЛЮЦИЮ

Редактор *Е. Максакова.* Художественный редактор *К. Фадин.* Технический редактор *Е. Брауде.* Корректор *З. Харитонова*

Сдано в набор 4/I 1977 г. Подписано к печати 26/IV 1977 г. Формат 84×108 1/32. Бумага № 1. Печ. л. 10 (усл. 16,8) + 9 вкл. Уч.-изд. л. 18,8. Тираж 100 000 экз. Цена 2 р. 15 к. Т. П. 1977 г., № 228. Заказ 2217.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.